90 коп. Индекс 73293



## ДО КОНЦА ГОДА «ОКТЯБРЬ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Триумф и трагедия.** Политический портрет И. В. Сталина. Книга вторая;

Михаил ПРИШВИН. **1930 год** (дневник);

Повести: С. АБРАМОВ **«Стоп-кран»**, Н. ЕВДОКИМОВ **«Собиратель снов»**, А. КУРЧАТКИН **«Веснянка»**, Ю. МУШКЕТИК **«Летний лебедь на зимнем берегу»**, В. ПОТАНИН **«Облака бывают белые, синие, черные»**, Л. ФРОЛОВ **«Пиво для внука»**;

рассказы В. АСТАФЬЕВА, Н. БЕРБЕРОВОЙ, И. ГОФФ, С. ДОВЛАТОВА, А. САЛЫНСКОГО, Н. СУХАНОВОЙ, Д. ХОЛЕНДРО;

очерки, статьи Г. БЕЛОЙ, Л. ИВАНОВА, М. КАПУСТИНА, Вл. ОГНЕВА, Л. САРАСКИНОЙ.

Будут представлены новые рубрики **«Народная публицистика»** и **«Диалог с нашими зарубежными соотечественниками»**.

## ПРЕДЛАГАЕМ ПЛАН ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ «ОКТЯБРЯ» В 1990 ГОДУ:

Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс.** Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая;

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Лев Троцкий.** Политический портрет;

романы и повести: М. ГАНИНА **«Зимородок — синяя птица»**, С. ДОВЛАТОВ **«Иностранка»**, Ф. КОЛУНЦЕВ **«Свет зимы»**, И. ПОЛЯК **«Хроника задрипанного ДПР»**;

из литературного наследия: В. КОРМЕР **«Наследство»** (роман);

записки народной артистки СССР Нонны МОРДЮКОВОЙ **«Вот так и живем»** (часть вторая);

стихи Е. ВИНОКУРОВА, Г. ГОРБОВСКОГО, И. КАШЕЖЕВОЙ, Ю. МОРИЦ, И. САВЕЛЬЕВА, Д. САМОЙЛОВА и других известных и молодых поэтов.

Более полную рекламу читайте в следующих номерах.

**Подписка на журнал «Октябрь» принимается без ограничений всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи. Подписная цена на год — 10 р. 80 к.**

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1989. № 6. 1—208.

ISSN 0132-0637




# 6

# 1989



# ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6

1989

ИЮНЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

## В НОМЕРЕ:

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА



К 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой



ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ





Г. ВОДОЛАЗОВ

# Ленин и Сталин

## ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ПОВЕСТИ В. ГРОССМАНА «ВСЕ ТЕЧЕТ»

### *Зачем понадобился этот комментарий?*

Не ручаюсь за детали (никто меня в них не посвящал), но общий ход размышлений редакции (заказавшей мне эту статью) могу предположить — доводилось не раз сталкиваться с подобными ситуациями.

Перед редактором на столе повесть В. Гроссмана. Великолепная. Правдивая, беспощадная — написанная о том и так, о чем и как у нас еще мало писалось. Она должна прийти к читателю, ее надо печатать.

Но вот одна закавыка: автор так широко и так свободно размышляет, что некоторые речи его звучат непривычно даже для перестроечных ушей. Он выходит за границы — даже за те достаточно широкие границы,— которые завоеваны эпохой перестройки. Ну, в самом деле, вписываются ли, например, в наш социалистический плюрализм острокритические рассуждения Гроссмана о роли Ленина в истории? Или его трактовка корней сталинизма?

Как же тут быть?

Повыкидывать эти дьявольские страницы и печатать без них (достаточно апробированный в прошлом вариант)? Но сегодня это уже неприемлемо. Есть в этом что-то недостойное и для журнала, и для нынешней эпохи. Ведь этого не поймет и, что называется, демократическая общественность (много наслышанная об этих страницах), и, с другой стороны, будет брошена тень на провозглашенную и проводимую ныне линию демократической терпимости к инакомыслию.

Есть еще вариант, тоже иногда выручавший в прошлом. Печатать как оно есть. Но где-нибудь в примечании, петитом, как-то так коротенько заметить «от редакции» что, дескать, она «не во всем согласна с автором». Или так: «Отдавая должное художественности произведения, редакция не может согласиться с рядом содержащихся в нем философско-социологических обобщений». Или еще «гибче»: «Было бы неверно отождествлять позицию автора повести со взглядами одного из ее героев». Тоже — плохо, тоже какое-то неуважение и к автору, и к читателям — ведь очевидно же для всех, что главный герой, Иван Григорьевич, высказывает задушевные мысли автора.

А может быть, все это было и не так. Просто редакция не хотела, чтобы остались без ответа несправедливые слова, сказанные в адрес Ленина даже столь уважаемым и талантливым художником, как В. Гроссман, и она решила сопроводить повесть комментарием историка или философа. Может, и так. Не знаю.

Но как бы там ни было, редакция не ошиблась: я, действительно, приветствуя все основные художественные идеи повести В. Гроссмана, буду решительно возражать против понимания автором (и его героем) причин, корней, истоков сталинизма, против отождествления Ленина со Сталиным, а ленинизма со сталинизмом. И в этом смысле я действительно буду защищать Ленина.

Но прежде (и для меня сегодня э т о главное) я хотел бы защитить В. Гроссмана, защитить его право сказать, что он думает и как он думает, его право дове-

сти содержание своих размышлений до читателя (и при этом без всяких сопроводительных комментариев). Это, конечно, несколько запоздалая защита (25 лет спустя после смерти писателя!). Но, с одной стороны, далеко не все, сказанное им, пришло к читателю, а с другой,— речь ведь идет об общем принципе, о праве, в котором нуждаются многие из живущих — те, кто, подобно лирическому герою А. Твардовского, способен сказать о себе: «Не могу передоверить даже Льву Толстому сказать, что я хочу, и так, как я хочу».

### *«Социалистический плюрализм» — есть ли в нем место В. Гроссману*

Все зависит от того, как толковать «социалистический плюрализм». Если так, как это сегодня нередко делается,— как многообразие мнений «в рамках ленинской идеологической традиции», то В. Гроссману вроде бы тут места нет, ибо он эту традицию как будто бы открыто и остро критикует, и получается в силу этого, что его критика вроде бы не «служит делу укрепления социализма» (еще один признак «соцплюрализма»!). Однако попробуем более основательно разобраться во всем этом.

Вначале— о толковании «социалистического плюрализма». Мы не будем затрагивать сейчас вопрос о словах, о терминах, о том, хорошо или плохо это название. Пусть будут э т и слова; главное ведь — что́ за ними стоит, какое содержание в них вкладывается. Так вот, обратим прежде всего внимание на одну довольно странную вещь. Как-то так обычно получается, что добавление определения «социалистический» к какому-либо понятию ведет не к расширению, не к обогащению его содержания, а к резкому его сужению и обеднению.

Вспомним: социалистический реализм, социалистический гуманизм, социалистический интернационализм, социалистическая демократия.

Так, социалистический реализм — это не какой-то более богатый и глубокий реализм, чем все его прежние разновидности, не тот реализм, который в максимальной степени отражает всю правду жизни, а тот, который отражает требования из пяти — семи пунктов, сформулированных разными там Ждановыми и Ермиловыми. Скажем, в 70-е годы просто реализм требовал бы отражения жизненного застоя, а «социалистический» реализм — жизни «в ее революционном развитии» (то есть добродетельного вранья). просто реализм должен был бы показать низведение основной массы людей до участи «винтиков» и «гаечек», а «социалистический» — «решающую роль народных масс в истории», просто реализм требовал бы отражения всех сторон и всех цветов жизни, «социалистический» — лишь «примерных» сторон и розово-голубых красок.

Прежний интернационализм предусматривал добровольную солидарность полностью самостоятельных прогрессивных политических и социальных сил мира. «Более высокая» — «социалистическая» — форма интернационализма на практике нередко означала жесткое ограничение суверенитета «дружественных» стран, народов, политических партий и движений — вплоть до самого беспардонного вмешательства одних во внутренние дела других.

«Социалистический» гуманизм не какое-то там «абстрактное» («трухлявое» или как там еще?) человеколюбие, ставящее превыше всего жизнь и счастье человечества и отдельного человека, но «гуманизм», на знамени которого написано: «Кто не с нами, тот против нас», и если этот, который «против», «не сдается, его уничтожают».

«Социалистическая» демократия часто означала не ту, которая выше, шире, глубже не-социалистической и до-социалистической («буржуазной», «рабовладельческой» и т. п.), а ту, которая у́же, которая «не для всех» и которая приводила в итоге к ситуации «человека-винтика», которая прекрасно уживалась с уничтожением крестьянства, травлей интеллигенции, обожествлением всевластного Вождя.

Действительное же содержание марксистских установок связано с громадным расширением участия людей в освободительной борьбе и общественной жизни. Лозунг марксизма: рабочий класс, освобождая себя, освобождает в с е х. Освобождение ч е л о в е ч е с т в а — вот высший императив марксизма. И это понимание общечеловеческого смысла освободительной борьбы ныне все более широко распространяется в среде марксистов. Очень удачен и очень точен, на мой взгляд, популярный сегодня лозунг: «Больше демократии — больше социализма». То есть «больше демократии» о з н а ч а е т «больше социализма». Заметим: «больше» не «социалистической демократии» — «больше социализма» (это было бы, в лучшем случае, бессодержательной тавтологией, а в худшем — сталинистско-брежневской формулой), а именно больше просто «демократии». Социализм — это ведь и есть «до конца» доводимая демократия. «До конца» — то есть до действительного равенства людей не только в политико-правовой области (начало чему было положено Великой французской революцией XVIII века), но и в экономической, культурной, научной сферах, то есть до равенства по отношению к средствам производства материальных благ и управления, культурному богатству, к средствам производства научного знания.



Иначе говоря, реализм становится социалистическим, когда он схватывает с наибольшей глубиной логику развития жизни, гуманизм — социалистическим, когда поднимается до общечеловеческого гуманизма и общечеловеческих ценностей, а демократия — социалистической, когда она становится делом и полем деятельности всех и каждого. Вот почему «больше социализма» и означает, в частности, «больше демократии, больше гуманизма, больше интернационализма, больше реализма».

В этом контексте после приведенных разъяснений попробуем поосновательнее разобраться с п о н я т и е м «социалистический плюрализм». Это важно не только для ответа на сравнительно частный вопрос, вынесенный в подзаголовок данного раздела статьи, но и для более ясного представления о том, в каком направлении в сфере гласности следует держать нам курс в дальнейшем.

Итак, весьма авторитетные деятели информируют нас, что в рамках «социалистического плюрализма» могут получить место только те мысли и позиции, которые «продолжают ленинскую идеологическую традицию» и которые тем самым «служат социализму». Такая трактовка вызывает ряд вопросов. Например, означает ли это, что мыслители, принадлежащие к другим идеологическим традициям,— ну, скажем, поклонники Л. Толстого, последователи М. Ганди, Дж. Неру или такие деятели, как Дж. Гэлбрейт, В. Брандт и т. д. и т. п.,— должны оказаться за пределами нашего плюрализма и нашей гласности?

С другой стороны, что конкретно имеется в виду, когда говорится о «ленинской идейной традиции». Например, сталинский «Краткий курс» с его высокоположительными оценками Ленина — это «ленинская традиция»? А авторы, официальные интерпретаторы и проводники в жизнь идей «Краткого курса»,— Молотов, Берия, Вышинский, Каганович и др.,— влезают они в обозначенные рамки? А та «традиция», которая в годы застоя именовалась «Ленинским курсом» (по названию сочинений Л. И. Брежнева)? А Нина Андреева и ее покровители (которые, между прочим, клянутся Лениным, впрочем, вкупе со Сталиным), — их куда отнести? А их антиподы — критики сталинизма и брежневщины Рой Медведев, Лен Карпинский, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев,— они умещаются в означенное русло?

Вопрос-то сегодня вот ведь какой стороной поворачивается: что значит «ленинская традиция»? что такое социализм и что ему «служит»? (Коллективизация и индустриализация «по-сталински» — «служат»? А «классовый подход» в области права, культуры и искусства с его апофеозом в 1937-м и 1946—1948 годах — «служит»? Кто больше служит социализму — расстрелянный в 1938 году Бухарин или положенный в 1953 году рядом с Лениным в Мавзолей Сталин?). Черта под всеми этими вопросами не подведена, наука только приступает к серьезному выяснению всего этого. Еще только-только приоткрылись двери спецхранов, еще продолжают оставаться в тайне главные документы архивов. Только еще едва-едва прозвучали первые, робкие, слабо документированные вступительные речи к серьезным научным дискуссиям, а администраторы уже начинают отмерять допустимые пределы дебатов, чертить для них рамки и границы. Требуют «нового прочтения Ленина» — и тут же грозное предостережение: но только

в таких-то вот рамках. Требуют новой, углубленной разработки критериев социализма — и тут же: но, знаете ли, только вот в таких-то пределах.

Но ведь рамки действительно научной дискуссии, границы содержания выносимых на теоретическое обсуждение понятий может определить только сама дискуссия, только сам ее ход. Мы же встречаемся с попыткой определения всего этого д о дискуссии. Словно кто-то уж превосходно знает, как надо по-новому читать Ленина, в чем глубинная суть оставленного им наследия, каковы искомые критерии социализма и т. д. Но если это так, если кому-то это все хорошо известно, то зачем этот призыв к дискуссиям, к «многообразию мнений» (и зачем, простите, вообще какой-то «плюрализм»)? Так не таите же, не скромничайте, сообщите нам побыстрее ваше понимание, обозначьте поотчетливей желательные для вас «рамки». Правда, отдайте себе ясный отчет в том, что выполнение этой задачи с необходимостью потребует от вас написания нового Курса истории (и, конечно,— краткого, ибо так оно яснее и проще запоминается, да и легче будет сличать формулы Нового курса с дискуссионными высказываниями).

Да, в этом важном вопросе должна быть полная ясность, тут надо следовать ленинскому методологическому принципу, не однажды уже повторявшемуся с самых высоких трибун: пора перестать морочить самих себя. Да, пора. Либо — либо: либо действительный плюрализм (ограниченный только «рамками» стремления к объективной истине да высшими нравственными и правовыми критериями, до которых доработалась наиболее цивилизованная, наиболее развитая часть современного человечества), либо — плюрализм «в рамках» (определение которых находится в монопольном владении тех или иных администраторов). И тогда, в последнем случае, действительно не следует морочить ни себя, ни других, не следует говорить о какой-либо принципиальной новизне ситуации — ибо такой-то — «управляемый» плюрализм «в рамках»,— пожалуй, и в 1937 году существовал (разве не позволялось тогда многообразие мнений «в рамках» традиций «Краткого курса»?). А если на это кто-то заметит, что в отличие от прошлого сейчас рамки предлагаются более широкие, я отвечу: да, конечно, это так, и недооценивать это нельзя, но принцип, увы, остается прежний — монополия администрации на истину, стремление превратить науку в угодливого комментатора и беспрекословную служанку политики. Речь пока может идти лишь о количественных различиях в рамках одного и того же качества. А количественные характеристики (шире — уже, больше — меньше) в условиях неразрушенной монополии на истину, могут легко и быстро изменяться. Легкость, с которой Нина Андреева и К° в первые недели после публикации в «Советской России» начала расширять свои позиции, ясно свидетельствует о непрочности количественных изменений. Должно меняться **качество** отношений между политикой и наукой, качество плюрализма. Если мы действительно хотим способствовать формированию максимально демократической (то есть социалистической, ибо это синонимы) атмосферы в нашем обществе, если мы действительно хотим построить привлекательное для трудящихся всей земли общество — свободных, равноправных, всесторонне развитых людей (то есть социалистическое общество),— то наше понимание «социалистического плюрализма» (если уж мы пользуемся этим словосочетанием) должно быть принципиально иным. Плюрализм при социализме своим богатством и многообразием должен превосходить любые другие типы плюрализма. Он должен быть самым свободным и самым широким во всей человеческой истории — в соответствии с уже известной матрицей: «больше плюрализма» означает «больше социализма». Социализму «служат» прежде всего не какие-то определенные, «правильные» (идущие в «нужных» рамках) мнения, а само многообразие мнений, сама возможность каждому высказаться и быть услышанным. «Правильно» — «неправильно» — это не министерствами, не главками, не комитетами определяется, а ходом дискуссии, общественным мнением, практикой.

Только в такой — свободной, ничем не ограниченной (кроме разве лишь статей демократического правового законодательства) — атмосфере дискуссии и могут формироваться (хотя и не сразу, не без борьбы) истинные (то есть соответствующие объективной логике истории и интересам подавляющего большинства людей) суждения. Только в такой атмосфере победа той или другой «традиции» будет убедительной, полновесной, будет выражением политического, научного и социального прогресса. Впрочем, в такой атмосфере будет обогащаться и само представление о «традициях» — уйдут в прошлое узкие, сектантские представления о монопольной истинности «наших» традиций, которые-де во всем, во всех отношениях выше всех других, на их место придет иное представление о традиции, которая не только способна быть верной своему первоисточнику, но и умеет переплетаться с другими «традициями», обогащаться их мыслями, их идеями, развиваться вместе (и параллельно) с ними, обеспечивая взаимное обогащение друг друга. Путь жестких ограничений, идейного монополизма, административного устранения конкурентов и оппонентов ведет (и в этом надо отдавать себе ясный отчет!) не к победе защищаемой традиции, а, как и всякая монополия, к загниванию, к застою, к кризису. Бюрократические ограничения научной жизни — это лучший способ погубить самую лучшую традицию.



Отсюда вполне понятен наш вывод: в рамках **так** понимаемого «социалистического плюрализма» В. Гроссман и его единомышленники имеют вполне законное место, не менее законное, чем представители любых других «традиций». Более того, само присутствие их мнений, их могучая побуждающая сила — бесстрашно искать ответы на «проклятые вопросы» наших дней, дабы построить мир нелицемерного уважения к человеку — служат самым высоким и прекрасным целям (совокупность которых основоположники марксизма и называли социализмом).

Но признание их абсолютного права, не спрашивая ничьего разрешения, присутствовать на общественной дискуссионной арене не означает с моей стороны признания правоты их точки зрения на причины, приведшие нас к тупиковым ситуациям, на пути и способы их преодоления. Последующие страницы и будут посвящены полемике с этими достойными уважения людьми.

## *Ошибки «Дневника» и художественное открытие В. Гроссмана*

Будем откровенны: серьезной научной экспертизы гроссмановские страницы о Ленине выдержать не смогут. Их научная слабость просто бросается в глаза. Здесь и неточные факты. (Ну, например, не давал Ленин указаний провести обыск у умирающего Плеханова. Там местные «социалистические» держиморды, будущие сталинисты, поусердствовали. Ленин же, напротив, узнав об этом, страшно и яростно возмутился.) А если и приводится эпизод, действительно имевший место, то он как-то странно, как-то весьма неубедительно толкуется. Какая грубая, внушают нам строки дневника Ивана Григорьевича, какая примитивная натура у этого вождя: поднимается с друзьями на гору в Швейцарии и, достигнув вершины, вместо того чтобы сказать несколько возвышенных слов о красоте природы (как, по мнению автора, должен был бы поступить человек тонкой, интеллигентной организации), он бросает какую-то гневную политическую фразу, являвшуюся, по-видимому, итогом его молчаливых размышлений во время прогулки. Политическая суета заслонила-де ему всю «поэзию Божиего мира». Узость ума, бедность чувства, ограниченность натуры — автору кажется, что именно об этом говорит приведенный им факт. Но просто, ведь очевидно, что факт этот говорит совсем, совсем о другом — о прямо противоположном: пока Россия живет так, как она живет,— с распутиными и романовыми, бросая миллионы людей на гибель в бессмысленную мировую бойню (приводимый эпизод относится к годам первой мировой войны),— он, Ленин, не может любоваться «Божиим миром»: совесть не позволяет. Да вот ведь и автор дневника, сам-то Иван Григорьевич, возвращающийся после многолетней сталинской каторги,— разве он любуется «Божиим миром», бегущим за окном железнодорожного вагона, разве занимают его маленькие радости этого Божиего (а в действительности безбожного) мира, которыми живут его попутчики по купе? Какой он угрюмый, «односторонний», думающий все об одном и том же, этот Иван Григорьевич! И в дневнике-то ни про ручейки, ни про птичек — ни слова; все—про Ульянова и Джугашвили. «Чудовище» настоящее, а не человек!...

Неверны в повести и многие обобщения, касающиеся существенных сторон личности Ленина, его моральных и политических принципов. «Ленин в споре не

стремился убедить противника,— читаем мы в дневнике Ивана Григорьевича.— Ленин в споре вообще не обращался к своему оппоненту, он обращался к свидетелям спора. Его цель была — перед лицом свидетелей спора высмеять, скомпрометировать своего противника». Ну, неверно же, совершенно неверно все это. Прежде чем вступить в открытый, публичный спор с А. Богдановым (в книге «Материализм и эмпириокритицизм», 1909 г.), Ленин писал ему несколько лет философские письма — целые «тетрадки» исписывал. Г. Пятакову, Е. Бош и другим молодым «левым» социал-демократам в 1915—1916 годах снова в письмах-тетрадях выяснял для них сложную диалектику межнациональных отношений. А знаменитые, известные сегодня в деталях дискуссии вокруг «Апрельских тезисов» в 1917 году, Брестского мира в 1918-м — эти образцы ленинской демократической манеры полемики! А сила (соединенная с мягкостью и деликатностью) убеждения в его речи «О задачах союзов молодежи» и в работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»!

И разговоры о нетерпимости Ленина по отношению к оппонентам — они не основаны на серьезных фактах. Все было как раз наоборот. Уж чего-чего не наговорил в его адрес саркастический и ядовитый Плеханов — и с Собакевичем его сравнивал, и с гоголевским Осипом (слугой Хлестакова), называл его «Апрельские тезисы» «бредом», указывал на их сходство с дневниковыми записями Поприщина, вообще его мировоззрение оценивал как «дубоватый марксизм». (Кстати, как деликатны, как изысканно вежливы были его оппоненты, не правда ли?) А Ленин?

Он, этот «необъективный» человек, думавший только о том, как «скомпрометировать своих оппонентов», давая после смерти Плеханова итоговую оценку его взглядов, писал: нельзя стать сознательным коммунистом, не изучив всего, что написано Плехановым по философии. Вот вам и «нетерпимость»! Или: как блистательно сработался Ленин с Троцким в 1917—1923 годах. А ведь какие перья целое десятилетие перед этим летели в их схватках; и Лев Давидович, как известно, подобно Плеханову, в полемике тоже не слишком церемонился. А вот поди же ты — смогли вместе работать. И те трогательные венки воспоминаний, полных преклонения перед Владимиром Ильичем, которые положил Л. Д. Троцкий к подножию памяти о Ленине,— еще одно убедительное свидетельство нравственной и политической высоты Ильича. А ставший уже хрестоматийным эпизод, когда Каменев и Зиновьев, так разошедшиеся с Лениным в Октябре, смогли вернуться в его «ближайшее окружение» и приложить свои крупные по тем временам силы к укреплению и развитию первых шагов послеоктябрьского строительства. Ленин умел убеждать, умел объединять, умел быть терпеливым, умел ждать, умел делать десять шагов навстречу тому, кто готов был сделать первый встречный шаг. Нет, нет, он — полная противоположность тому характеру, что обрисован в повести.

Или: «Он (Ленин) никогда не допускал возможность хотя бы частичной правоты своих противников, хотя бы частичной своей неправоты». И снова — мимо. Вот только один пример. И для большей убедительности — снова связанный с Троцким (долгие годы одним из главных оппонентов Ильича). Речь шла об очень серьезном вопросе — о тактике по отношению к предпарламенту, к Демократическому совещанию (это был сентябрь 1917 года, острейший момент — когда тщательно выверялись политические шаги, способные приблизить и обеспечить победу грядущей революции). «Надо было бойкотировать Демократическое совещание,— пишет Владимир Ильич и с полнейшей определенностью заключает: — Мы все ошиблись, не сделав этого». И тут же знаменательные слова: «Троцкий был за бойкот. Браво, товарищ Троцкий!» [1].

Найдите мне у Мартова, Аксельрода, Плеханова, Потресова, Чернова и т. д. и т. д.— после 1903 года — подобные слова: «Мы ошибались. Ленин прав. Браво, товарищ Ленин!». Не найдете, уверяю вас!

Об ошибках, когда они случались, Ильич писал прямо — и относительно бойкота 1-й Государственной Думы в 1906 году и небойкота Демократического совещания, об ошибочности политики военного коммунизма (как стратегической

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 262.



линии строительства общества), о необходимости внесения принципиальных коррективов в страстно защищавшиеся им накануне Октября принципы Парижской коммуны и т. д. и т. п. Им даже общий принцип сформулирован: открытое признание ошибок, правильное отношение к ним, связанное с умением извлечь из них урок,— есть первый признак серьезной партии.

Конечно, такие признания — ошибок — далеко не на каждой странице произведений Ленина. Но лишь по той простой причине, что ошибочных страниц в них бесконечно меньше, чем страниц, подтвержденных практикой жизни и борьбы. Ну, а за это нельзя быть в претензии к человеку.

В общем, строгой научной экспертизы указанные места повести не выдержат. Это всем ясно! Знающему человеку не только из числа блюстителей и охранителей с докторскими степенями и профессорскими дипломами несложно одержать легкую победу. И то, что это попытаются сделать,— не сомневаюсь. Но это не будет действительной победой. Потому что повесть Гроссмана и все ее страницы — это не научный трактат, а художественное произведение. И должна восприниматься и оцениваться по законам художественности. И как художник Гроссман не только не ошибся, но тонко подметил и верно отразил возникновение одной из важнейших тенденций интеллектуальной жизни общества: мучительно размышляя над причинами нескладицы нашей жизни, все большее число людей обращается — с сомнениями, подозрениями, вопросами — к исходному проекту построения нового общества — к проекту, созданному Марксом, Энгельсом и Лениным, к программам и замыслам Октября. Очень верно схвачена специфика этого феномена: речь идет не о каких-то там дворянах-эмигрантах, вздыхающих в Стамбулах и Парижах по своим, оставшимся в России «вишневым садам», не о белогвардейцах, не о «буржуазных интеллигентах» — вообще не о тех, кто не приемлет самой идеи социального равноправия, а о выходцах из рабочих и беднейших крестьянских семей, о первых поколениях той новой народной интеллигенции, которую породил Октябрь. Речь идет о тех людях, для которых идея социализма, дело Октябрьской революции и имя Ленина были сердечной святыней. И вот мысль, раздумья именно этих людей под страшным давлением громады жизненных фактов, не укладывавшихся в русло их ожиданий, под влиянием немыслимых, невероятных бед, обрушившихся на их головы, мысль этих людей все более активно и все более массово стала двигаться в направлении, которое самим этим людям еще недавно представлялось совершенно невозможным и совершенно немыслимым: а не в исходном ли «проекте» заложены были все те страшные деформации, которые так изломали послеоктябрьские поколения? Речь шла о в высшей степени драматическом интеллектуальном переломе — подобном тому, который происходит в головах верующих, когда жизнь вдруг заставляет их поставить перед собой страшный (для них) вопрос: а есть ли, а существует ли это высшее, милосердное, всемогущее и всезнающее Существо — Бог? Вот какой значимости явление было уловлено Гроссманом — и поразительно, что это было сделано в период (на рубеже 50—60-х годов), когда явление это было еще только-только возникшей, слабой и неясной тенденцией.

В. Гроссман и был одним из первооткрывателей этого феномена — будем же благодарны ему за это. А этот духовный перелом, надлом, сдвиг, поиск ответов на мучительные, страшные вопросы, глубина и основательность размышлений у разных людей происходили по-разному — все зависело от жизненного опыта, силы ума, темперамента. Да и просто от элементарной возможности ознакомиться с историческими фактами. Разве можно быть в большой претензии, например, к Ивану Григорьевичу, что в его дневнике маловато фактов и что те, которые есть, не вполне точны,— его жизнь проходила вдали от архивов и библиотечных спецхранов.

Поэтому, я думаю, задача теоретического анализа повести состоит не столько в том, чтобы, вступив в научный спор, «опровергнуть» Ивана Григорьевича, сколько в том, чтобы попытаться объяснить само возникновение отмеченного феномена (что отразилось в нем?) и высказать свое отношение к самой логике подобных (обращенных к «исходному проекту») размышлений.

Эта задача тем более важна, что сегодня речь идет уже не о зародыше названной тенденции, а о ясно обозначившемся крупном явлении духовной жизни.

Речь идет о феномене, который будет играть возрастающую роль во всех интеллектуальных процессах, происходящих в нашем обществе. Уже не скромные дневниковые записи Ивана Григорьевича, а фундированные цитатами и хорошо проверенными фактами научные статьи появляются на страницах журналов, близится время книг и монографических исследований на эти темы.

Следует иметь в виду, что это не случайность, не какой-то временный зигзаг массового и научного сознания. Это будет долгой и устойчивой тенденцией, с которой нужно будет всерьез считаться. Возникновение ее естественно и закономерно. Все упирается в невыясненность, в необъясненность сталинского феномена, его существенных сторон, его корней и причин. Что он такое, откуда он? Легкими ответами тут не отделаешься. Припомните еще раз все события, все ситуации повести — ведь это что-то за пределами человеческой логики, даже за пределами человеческой цивилизации, невообразимое, немыслимое, невозможное,— и все же это было, было, это оказалось возможным. Почему? Как?

Просто нельзя жить, не ответив более или менее убедительно на эти вопросы. И когда говорят: «Хватит копаться в прошлом, давайте строить будущее — время не ждет», я знаю: это говорят или мертвые душой люди, или те, кто чувством и мыслью из одного мира с «вершителями» нашей истории 30—40-х годов. Таких людей надо бы подальше держать от «проектирования» будущего. Нормальный человек не может строить будущее, пока не поймет, как стало возможным т а к о е прошлое. Я бы даже сказал так: все наши обновительские процессы не будут иметь стойкого успеха до тех пор, пока не будет п о л н о й информации о прошлом, пока не явятся более или менее серьезные ответы относительно сталинистского феномена, ибо мы должны предельно ясно представлять, что́ именно перестраиваем. Нельзя просто сложить в исторический саркофаг все смертельно-радиационные элементы истории и закопать его где-то подальше от человеческого разума и человеческой совести. Не получится,— мы, все наши мысли, чувства, все наши общественные организмы подключены к тем корням, которые породили прошлое и которые отравляют нашу кровь, наше общественное кровообращение и сегодня. Продолжение поисков корней сталинизма, обращение в этой связи к «исходным проектам» — насущнейшая и неодолимая общественная необходимость, с ней ничего не поделаешь — не запретишь, не перекроешь. С нею придется считаться, и она может стать разрушительной, если вместо стремления направлять ее возникнут попытки заглушить ее.

Следует помнить и о том, что в этом неизбежном процессе обращения с капитальной проверкой к «исходным проектам», «теоретическим основам нашей доктрины» примут участие люди разного уровня подготовки да и просто разной культуры. Будут перекосы, гам, шум, много будет поднято пыли. Важно не затеряться во всем этом. Важно изначально придать всем этим дискуссиям культурные, цивилизованные формы, отличающиеся демократичностью, нравственным тактом, подлинной, неформальной гласностью. Но и не паниковать и не слишком нервничать в связи с будущими неизбежными перекосами, односторонностями, преувеличениями и т. д. Помнить о том, что мы (теоретические и политические работники) несем свою долю ответственности за то, что не дали удовлетворительных объяснений феномену сталинизма.

Поскольку же этот процесс генеральной перепроверки уже начался, то, думаю, есть смысл и нам высказать несколько соображений о корнях сталинизма и о том, обосновано ли отождествление Сталина с Лениным.

### *Вопрос о Ленине должен быть поставлен и решен заново*

Что значит «заново»? И почему «заново»?

«Заново» не означает простого переворачивания прошлых оценок: где был плюс, ставить минус — и дело с концом. «Заново» означает генеральную п е р е п р о в е р к у всех прежних оценок, всех постановок вопросов, всех идей и цитат, всех выводов. Никаких аксиом, никаких «истин, не требующих доказательства», никаких принимаемых на веру положений!



Речь, конечно, вовсе не идет о том, чтобы напрочь игнорировать все, что писалось на эти темы в прошлом — там наряду с хламом и ложью встречались и плодотворные подходы, интересные оценки, а подчас (в редких, конечно, случаях) и просто прозрения. И их надо, разумеется, учесть. Но сводить сегодня дело лишь к «уточнению» и развитию прежних оценок путем скрупулезного отделения «верного» в них от «неверного» значило бы обрекать себя на неудачу. Правда и вымысел, ложь и истина переплелись в общественном сознании как змеи весной: голова истины переходит в хвост лжи — попробуй раздели их. Да и потом, истина — это же не сумма отдельных верных утверждений, а система идей (определенным образом взаимосвязанных и развивающихся). А ведь даже сравнительно верные идеи укладывались общественным (и в особенности массовым, обыденным) сознанием в ложную в своей основе канву: «Сталин — это Ленин сегодня», или что то же самое: «Ленин — это Сталин вчера». (Брежневский «Ленинский курс» был в целом наследником сталинской методологии.) «Заново» и означает порушить эту привычную канву, сломать эти (и любые другие априорные) рамки.

В прежнем общественном сознании Ленин представал как мыслитель неразвивающийся, неизменяющийся, непогрешимый, как единственный, кто вносил новые крупные идеи в марксистскую теорию, как деятель, который не имел ни достойных соратников (ну, кроме, конечно, Иосифа Виссарионовича), ни серьезных и умных оппонентов. «Заново» означает сломать и эту методологическую традицию. Короче, «заново» означает — произвести перепроверку, руководствуясь коротким, простым и прекрасным девизом Маркса: «Все подвергай сомнению!»

И такая перепроверка уже началась. Вслед за первыми ее робкими попытками (в конце 50-х годов), убитыми цензурой, теперь пришла пора серьезных научных статей. И уже не в скромных дневниковых заметках героя повести Гроссмана, а в солидных журналах с многомиллионными тиражами зазвучало:

Неверно видеть главную причину наших социальных деформаций в каких-то с п е ц и ф и ч е с к и х взглядах, с п е ц и ф и ч е с к и х теоретических построениях Сталина. Зачем обманывать себя, мифологизируя Сталина и его дело? Копать надо глубже. Критический анализ должен обратиться к «нашим теоретическим основам», «исходным проектам», дабы выяснить «доктринальные причины деформации». Там, в «основах», «доктринах» мы найдем истоки страшной болезни. Ведь то, что писал Сталин, в общем «никогда не противоречило марксизму», в его «работах и лозунгах» «трудно найти несогласованность с привычными хрестоматийными представлениями о марксизме, да и текстами Маркса». Он «строил социализм в соответствии с предначертанными теории, пытался, как мог, ускорить движение России к коммунизму, начатое (Лениным) в Октябре 1917 года». А «отклонения» Сталина от марксизма носили второстепенный характер и сводились, по сути, к трем следующим моментам: 1) низведение простых людей до «функции винтиков»; 2) представление о партии как «ордене меченосцев»; 3) идея, что по мере продвижения к высотам социализма нас ждет обострение классовой борьбы (то есть возрастание остронасильственных методов решения социально-политических задач).

Многим такая постановка вопроса показалась чрезвычайно смелой (не спорю!) и удивительно глубокой (оспариваю категорически!). Давайте разбираться.

Прежде всего — об этих «малозначащих», «второстепенных» «отклонениях». «Человек-винтик» — да какая же это «второстепенность», это же целая социальная концепция, прямо, контрастно, антагонистически противоположная пониманию социализма Марксом, Энгельсом и Лениным. Для классиков марксизма суть, смысл, главные цели социализма как раз были связаны с тем, чтобы человек перестал быть безмолвным и беспомощным винтиком экономической и политической машины и превратился в суверенное, свободное, универсально и всесторонне развитое существо; социализм, по их представлениям,— это результат творчества, исторической самодеятельности масс и каждого человека. Разрешите не цитировать? Об этом можно ведь прочитать едва ли не на каждой странице сочинений Маркса, Энгельса, Ленина.

Партия — «орден меченосцев». Да разве это второстепенная деталь теории: кто такие коммунисты — закрытый, замкнутый средневековый «орден», приви-

легированная каста, господствующая над народом и втайне решающая все вопросы его судьбы, или это открытая, демократическая организация, добровольно взявшая на себя обязанность выполнять волю народа, быть подотчетной и подконтрольной народу в каждом своем шаге?

А идея обострения классовой борьбы? Это же, по сути, апологетика насилия, переходящего в открытый террор против своего народа.

Вот ведь какая суть сталинского политического режима вырисовывается из этих характеристик: замкнутый, закрытый, привилегированный «орден» (во главе, разумеется, со всемогущим Магистром) самодержавно, опираясь на самое грубое, самое жестокое насилие, управляет «винтико-человеками». Это, извините, не второстепенные отклонения от Маркса и Ленина, это вообще не «отклонения» от «исходного проекта». Это просто другой, принципиально другой проект.

Таково, по моему мнению, действительное содержание «отклонений», таково их действительное значение для понимания сути сталинизма и его отличия от «первоначальных проектов».

Теперь два слова о «совпадениях» — о том «основном», что, по мнению некоторых авторов, «роднит» Сталина с Марксом и Лениным, делая их представителями «единой теоретической традиции», которая, «воплотившись» в практику сталинской политики, принесла столько бед. Роднит их, оказывается, ошибочное отрицание товарности и рынка при социализме, идея прямого продуктообмена. «Представьте себе, говорят нам, во что превратится наша страна, если мы предпримем еще одну, теперь уже третью (после военного коммунизма и сталинского наступления на рынок) попытку построить нашу экономику по модели Маркса, то есть на основе прямого продуктообмена и абсолютного директивного планирования сверху».

Да, если будет предпринята такая попытка, стране действительно придется очень плохо. Но при чем здесь «модель Маркса»? Откуда вычитано, что Маркс советовал в условиях, подобных условиям российской действительности после Октября 1917 года, игнорировать рыночно-стоимостные механизмы, вводить прямой продуктообмен и директивное планирование?

Разрешите невеселую аналогию. Человек ныряет в бассейн в точном соответствии с рекомендуемой «моделью прыжка» и разбивается — он упустил из виду одну деталь: бассейн должен быть наполнен водой. Ну, скажите, можно ли винить тут «модель прыжка», рассчитанную на нормальные условия?

Маркс и Энгельс (как, добавим, и Ленин) связывали преодоление товарно-стоимостных отношений с общественным строем, который возникнет на основе высокоразвитого капитализма (который будет близок к исчерпанию своих возможностей, обобществит процесс производства, создаст высокоразвитого работника, способного управлять социально-экономическими процессами, сохранять и преумножать «плоды цивилизации» и т. д.). И эту-то альтернативу высокоразвитому капитализму Маркс с Энгельсом и назвали «социализмом». Только на этом, чрезвычайно высоком этапе культурного, экономического и политического развития и становится возможным и прогрессивным прямой продуктообмен, разработка планов, ориентированных не на стоимостные характеристики, а на потребности людей. Только *к этим условиям* и относится «модель Маркса».

Ситуация же, сложившаяся после Октября 1917 года, была совершенно непригодна для реализации этих марксовых «моделей». Здесь речь шла о поиске альтернативы не высокоразвитому, близкому к исчерпанию своих возможностей капитализму, а об альтернативе российской экономике — многоукладной, с доминированием мелкобуржуазного уклада, с существованием даже полуфеодальных отношений. Разваливалась *эта* экономика — и, конечно, условий для строительства того социализма, о котором писали Маркс и Энгельс (а это, думается, и есть единственно научное понимание социализма) не было. Пытаться в этих условиях применять «модель Маркса» и означало нырять в ненаполненный бассейн. О каком же «совпадении» сталинизма с марксизмом может идти речь?

А с ленинизмом? Может быть, с Ленина начались попытки применения «модели Маркса» в «не-марксовых» условиях? Может быть, Ленин был первым, кто



выдвинул после Октября 1917 года «введение социализма» в России, а Сталин лишь продолжил эту линию, начатую в Октябре 1917 года?

Нет, и с ленинизмом у сталинизма нет ни совпадений, ни отношения преемственности. Ленин, оценивая послеоктябрьскую ситуацию, с определенностью, не допускающей никакой двусмысленности, подчеркивал: для «введения», для непосредственного строительства социализма нет условий — «кирпичи еще не созданы, из которых социализм сложится»[1]. И центральная, на мой взгляд, формула, выражающая самую глубинную суть ленинских оценок послеоктябрьской реальности: «выражение социалистическая Советская республика означает решимость Советской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание новых экономических порядков социалистическими»[2]. Более того, «в *материальном*, экономическом, производственном смысле мы еще в «преддверии» социализма не находимся»[3].

Вот как: даже в «преддверии» социализма не находимся! Поэтому-то и не выдвигал Ленин задачу реализации в этих условиях «модели Маркса», поэтому-то и разрабатывал он специфическую «модель» развития, которая была бы альтернативной не крупному капиталистическому хозяйству, а именно социально-экономическим отношениям, которые сложились в ту пору в России. Не крупный, развитый, государственный капитализм борется здесь с социализмом, отмечал Владимир Ильич, «а мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный капитализм борются вместе, заодно, и против государственного капитализма, и против социализма»[4]. Вот почему с такой иронией Ленин писал о «левом ребячестве» тех, кто предлагал тогда сразу переходить к социализму. Нет, возражал он, чтобы победить мелкобуржуазность, нам нужно суметь использовать механизмы крупнокапиталистического, государственно-капиталистического производства. «Наша задача — учиться государственному капитализму немцев, *всеми силами* перенимать его»[5]. И писал все это Ленин в начале 1918 года — по сути, сразу же после Октябрьской революции. А нас пытаются уверить, что Сталин воплощал его идеи перехода к социалистическому непосредственному продуктообмену.

Сталин и его окружение действовали не по «моделям» классиков марксизма, а в прямом противоречии с их «моделями». Для Сталина и его окружения в их реальной практике на первом месте стояли политическая воля, политическое насилие (переходящее в жестокий террор), с помощью которых они стремились решать все проблемы экономического и культурного развития, не справляясь о том, достаточно ли зрелы условия для реализации тех или других задач. Не помышляя о том, чтобы находить пути и методы действия, способствующие их созреванию. Это и должно было кончиться большой бедой — как то, кстати, анализируя подобный образ действия, и предсказывали основоположники марксизма.

Я думаю, все изложенное дает нам право сделать вывод: «отклонения» Сталина — не отклонения, а «совпадения» — не совпадения. «Отклонения» на самом деле составляют суть его собственной социально-политической концепции, принципиально отличной от концепций Маркса и Ленина. «Совпадения» Сталина с «исходными проектами» напоминают «совпадение», случившееся у героя известной притчи, пожелание которого на похоронах «таскать вам — не перетаскать» совпадало с пожеланием, обращенным к людям, убирающим свой урожай.

Можно (и нужно) критически анализировать «исходные проекты» — и там мы действительно обнаружим и ряд односторонностей, и чересчур абстрактные утверждения, и определенную аберрацию ви́дения, когда очень далекое представляется очень, очень близким, найдем и прямые промахи, и ошибки. Не найдем, я уверен, только одного — корней сталинизма.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 66.
[2] Там же, с. 295.
[3] Там же, с. 303.
[4] Там же, с. 296.
[5] Там же, с. 301.

Но доказать только это — недостаточно. Ибо надо ясно ответить на вопрос: если корни сталинизма не там, то где же? Несерьезно же видеть их в злоумышлении, злой воле, политических амбициях, а то и просто в психическом заболевании (появилась и такая версия!) Генерального секретаря. Несерьезно потому, что все это ничегошеньки не объясняет. Ну, скажем, примете вы диагноз Бехтерева: «сумасшедший у власти». Ну и что? Вы же ни на йоту не продвинетесь вперед в понимании сталинизма, ибо вам все равно тогда нужно будет объяснить: почему же, как же так случилось, что тысячи сумасшедших под присмотром нормальных людей, хотя и называли себя Наполеонами, но спокойно «вязали веники» и клеили спичечные коробки где-нибудь на Канатчиковой даче, а тут один сумасшедший вдруг заставил миллионы здоровых людей «вязать веники» за колючей проволокой и признать, что он — Наполеон.

Или признаете, что слишком плохими были его проекты «коллективизации», «индустриализации», «политической системы». Ну и что? Вам все равно нужно будет объяснить, почему сотни плохих проектов оказывались просто в мусорных корзинах, а Его — становились законом всей общественной жизни страны.

Железная воля? Но давайте же не будем повторять нелепо преувеличенные песнопения подхалимов и трусов. Подумаешь, «воля» — у неограниченного деспота. Какая там особая «воля» нужна была: только бровью поведи, только губу скриви — и десятки угодников бросятся исполнять. Что он, гипнотизер какой? Вольф Мессинг, что ли? Кстати, почему в таком случае Джугашвили, а не Мессинг стал генеральным Гипнотизером?

А серьезны ли те «углубления», которые ныне в большом количестве встречаются на страницах популярных изданий? Понимают: глубже копать надо. И вот копают, углубляют. Например, можно «углубляться» в исследование строения мозга всемогущего шизофреника, отыскать обрывки его электроэнцефалограмм, выйти даже на клеточный уровень изучения — и копать, копать, глубже и глубже.

Можно углублять (как это подчас и делают сегодня) популярную версию о том, какими мастерскими, интриганскими действиями добился Он победы своих замыслов. Здесь можно и записочки его на разных там заседаниях воспроизвести и воспроизвести его разговоры с каким-нибудь Кагановичем или Ворошиловым, подслушанные кем-то случайно спрятавшимся под диваном. И про жену вождя можно кое-какие детальки подбросить, и поведать пикантные подробности про сестру Кагановича и некоторых других особ, бывавших у вождя на даче. Тут можно достичь просто неимоверной глубины...

Явно недостаточны для понимания причин сталинизма и рассказы о перипетиях идейно-политической борьбы после смерти Ленина. В них тоже главный акцент делается на личных качествах Сталина, на его политическом коварстве, «макиавеллизме» и т. п. Так, указывается, что с самого начала общепартийной дискуссии с троцкистами он начал борьбу за власть, не придавая слишком большого значения теоретическому содержанию полемики, планам и программам. Мастер политической интриги, он разбивал своих соперников по очереди: вначале использовал авторитет и личные амбиции Зиновьева, Каменева и Бухарина, чтобы разбить Троцкого и тем самым устранить с дороги своего главного политического соперника. Потом-де он устранил и Зиновьева с Каменевым, опершись на яркий теоретический талант Бухарина. («Бухарчика», как ласково и сентиментально называл он его в тот период.) Потом подошла очередь и Бухарина, ставшего к 1929 году главным его «конкурентом». Вот и все причины победы административно-командной системы.

Очень простое «объяснение»! Я бы сказал, что модель мелких склок и мелочных подсиживаний, характерных для иных научных коллективов, переносится на явления всемирно-исторического масштаба — туда, где идет движение, столкновение, взрывы, рождение и гибель громадных социальных континентов и политических материков. Думать, что какая-то отдельная личность по своей воле способна передвигать эти «материки» и «континенты» в любом, желаемом ей направлении — святая наивность, в лучшем случае.



Повторяю: либо мы дадим серьезные ответы на вопрос о корнях сталинизма, либо мысль человеческая будет с неизбежностью двигаться в сторону погрома «исходных проектов» марксизма.

И такой действительно серьезный анализ должен быть, как мы полагаем, связан в первую очередь с выяснением взаимоотношений и борьбы интересов, установок и устремлений важнейших социальных групп и слоев, участвовавших в российском революционном движении.

Метод такого анализа давно разработан Марксом. Вспомним, что в течение почти полувека мыслители XIX столетия были бессильны объяснить логику развития Великой французской революции 1789—1794 годов. Тогда тоже преобладали «углубленные» попытки проанализировать черты характера революционных вождей, качество их воли (у одного — железная, у другого — стальная, у третьего — фарфоровая), их умение вести политическую интригу. Исписывались сотни страниц, чтобы доказать, что вот если бы Робеспьер не лег спать в свою последнюю ночь, а продолжал бы объединять своих сторонников, если бы Сен-Жюст в своей последней обвинительной речи успел назвать конкретные имена врагов революции, если бы немножко иначе вели себя Дантон и Камиль Демулен, если бы Шарлотта Корде была не Шарлоттой Корде... и т. д. и т. п., то не было бы этого калейдоскопа поднимающихся к власти и гибнущих затем деятелей, не было бы итоговой гильотины на Гревской площади... В общем, от таких объяснений, от мириад фактов и мелких подробностей, лежащих в их основе, чумела и пухла голова, а ясность сознания не приходила. Какая там, думалось, логика, какие закономерности — так, бессмысленный, полный случайностей кровавый клубок событий, и только.

А Маркс начал свой анализ не с «проектов» разных революционеров, не с того, что они сами о себе и о революции думали, а с рассмотрения содержания и борьбы интересов больших социальных групп, классов французского общества. И логика революции стала сразу ясной и прозрачной, на этом фоне стали предельно ясными взлеты и падения революционных вождей, стали понятными зигзаги судьбы Робеспьера и приход в конечном счете Наполеона Бонапарта.

Да, Маркс дал метод. Чтобы его выработать, надо было быть гением. Чтобы его применять — достаточно быть просто более или менее квалифицированным марксистом.

А метод этот состоит, в частности, в том, что прежде, чем рассматривать взгляды, волю, стремления отдельных личностей, следует понять логику движения и столкновения того, что мы назвали социальными материками и континентами. А отдельные личности? Ну что же, их роль, конечно, немаловажна. Но она может быть сыграна только в рамках тех мощных объективных исторических тенденций, которые не в состоянии создать чья-то индивидуальная воля. Кроме того, отдельная личность может переходить с одного «материка» на другой, с одной позиции на другую, не изменяя при этом принципиально ни противостояния «материков», ни конфронтацию позиций, ни само содержание всемирно-исторического противостояния. Поэтому-то именно содержание классовых, всемирно-исторических противостояний, а не поведение и интриги отдельных личностей должно иметь приоритетное значение в исторических исследованиях.

Если бы через Сталина не получали свою реализацию какие-то серьезные объективно исторические тенденции, интересы и настроения определенных социальных сил, никакие бы «ухищрения» с его стороны не обеспечили бы ему столь долго длившийся успех.

Какие же социальные силы, какие интересы и настроения питали сталинизм?

### *О сущности и корнях сталинизма*

Итак, сталинизм. Что же это? Откуда это? Этот кошмар в стране той революции, которая хотела навсегда покончить с эксплуатацией, насилием, унижением человеческого достоинства, хотела быть началом мирового гуманизма и человеколюбия?

В нашей публицистике сегодня много рассуждений об этом «откуда» и меньше — о том, что он такое. Считается, что последнее общеизвестно: ну, там, репрессии, культ, командные методы, повсеместная грубость, унификация, двойная мораль; остается только найти корни. Но эти перечисления — лишь отдельные части, лишь проявления более глубокой сущности. Ее-то прежде всего и надо определить. Без знания этого «что» невозможно прийти и к настоящему пониманию «откуда».

Итак, что же он такое, «сталинизм», в чем его суть как идеологии и как общественной системы?

Существующая в истории философии шкала оценок философских систем недостаточна для характеристики идеологии сталинизма. Нет в ней таких понятий, которые хотя бы отдаленно могли бы быть применимы к сталинистским взглядам. Наверное, потому, что не было в прежней истории чего-либо похожего на сталинизм. Ну, может быть, из имеющихся наименований ближе всего подошло бы «крайний, грубый, субъективный идеализм». Да, это в том направлении, но до станции «сталинизм» катить по этой идейной ветке еще очень и очень далеко. Достаточно вспомнить теоретическую культуру, гуманизм да и простое человеческое благородство таких субъективных идеалистов, как Фихте, Беркли, Богданов,— и становится ясным, что относить это наименование к сталинизму — значит незаслуженно его облагораживать. Зрелый, развитый сталинизм, каким он сложился к середине 30-х годов,— это антигуманистическая, волюнтаристская идеология бюрократической элиты, абсолютизирующая и прославляющая насилие — во всех его ипостасях. Это его идейная суть. А как система социально-политических отношений сталинизм — это диктатура бюрократии (причем в ее самых варварских, самых террористических формах).

Сталинисты (что легко устанавливается в первую очередь по их действиям) рассматривают себя («руководящие кадры») в качестве абсолютных авторов и подлинных демиургов истории («кадры решают все!» — И. Сталин). Для сталиниста социальная действительность — не органическая система взаимоотношений людей, развивающаяся по своим законам и проходящая определенные ступени зрелости, а материал, глина, из которой можно лепить что угодно, по своему усмотрению — были бы только политическая воля, крепкая (с «железной дисциплиной!») организация и мощные средства насилия, с помощью которых можно было бы поворачивать людей в любую сторону. Вам нужно получить гарантированное зерно? Создайте диктаторские отряды, вооружите их винтовками и правом беспощадно карать — и они «в два счета» загонят массы разъединенных и безоружных людей за один забор, и те в сталинских колхозах или лагерях будут работать. Куда они денутся! Законы ГПУ выше всяких там «объективных законов»!

Следует к этому еще добавить, что сталинизм — это система, построенная на самой постыдной лжи, на идейном цинизме и двойной морали. Идеологию неистового волюнтаризма и бешеного насилия здесь стремятся вырядить в благородные диалектико-материалистические одежды марксистской терминологии. Диктатуру бюрократической элиты со всемогущим деспотом и кровавыми палачами тщатся представить как самую гуманную и самую яркую демократию Земли.

Да, кажется просто немыслимым господство такой идеологии, такого политического режима в обществе, стремившемся сознательно руководствоваться материалистическим учением Маркса и развивать широкую демократизацию общественной жизни. Это выглядит действительно столь невероятным, что и причины этого обычно стараются найти тоже какие-то невероятные — у чудовищного явления должны быть и чудовищные корни. Ищут в прошлом какое-то внезапное, гигантское социальное землетрясение, которое «вдруг» резко переломило когда-то логику исторического развития.

И в результате сбиваются на ложные пути. Потому что самые страшные болезни, как правило, возникают путем постепенной деформации нормы. Раковые клетки растут поначалу тихо, незаметно, постепенно деформируя здоровую ткань. И только потом, когда перерождение с разных сторон захватывает организм, губительный процесс начинает убыстрять свой ход, обретая черты чудовищного и трагического.



Самое трудное (и самое, конечно, важное) — понять истоки этого движения от нормы к деформации.

Сталинизм начинается просто, «естественно» и тихо — отнюдь не с каких-то громких и коварных «измен», идейных и политических «переворотов». Он начинается: идейно — как бы с марксизма, а социально-политически — как бы с традиций Октября.

Непростая задача и состоит в том, чтобы установить, как, каким путем, под воздействием чего он превращается в прямую противоположность давшему ему жизнь «началу». Это не происходит вдруг.

**1924—1929 годы: формирование предпосылок сталинизма.** Между преобладанием ленинизма в первые послереволюционные годы и утверждением сталинизма (в середине 30-х годов) лежит некий «переходный период», когда формируются идейные и социально-политические предпосылки и черты сталинизма, когда все яснее выявляются противоположности казарменно-коммунистических и социалистически-демократических начал нашей общественной жизни, когда они вступают в открытую борьбу друг с другом. А происходит эта постепенная идейная и социально-политическая кристаллизация сталинистских тенденций следующим образом.

Сталинизм начинается как бы с марксизма. Начинается как несколько упрощенный, несколько вульгаризированный, как бы немного недопонятый марксизм. И это на первых порах и не слишком заметно. Тем более что все эти «упрощения» и «отступления» в той или другой, в меньшей или большей степени были присущи отнюдь не одному Сталину. Все члены большевистского руководства, кроме разве Ленина, грешили этим — и Зиновьев, и Троцкий, и Каменев, и Бухарин, и Пятаков... Причем «грех» этот у всех был одного и того же свойства: они все немного припадали на «левую ногу» — слишком большую роль в истории отводили человеческой инициативе и активности. Их революционные биографии, вся логика их прежней борьбы, боевая послеоктябрьская атмосфера толкали их к преувеличению одной идеи марксизма, изложенной в знаменитом 11-м тезисе Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»[1]. Понималось это как-то таким образом, что «объяснение» (то есть понимание) мира — это что-то маловажное, второстепенное и даже не очень нужное. Главное — «изменять» мир, «переделывать». И практика как будто подтверждала это: все гигантские «изменения» и «переделки», начатые в Октябре 17-го года, удавались прекрасно. Мир подчинялся и не сопротивлялся. Почти все получалось. Победили монархистов, кадетов, эсеров, меньшевиков, не спасовали перед немцами и Антантой, разбили белую гвардию. Варшаву, правда, взять не удалось. Но это — частности, случайная неудача; в следующий раз приложить чуть больше усилий — решится и эта задача. Главное — «изменять» мир, человек все может!

А разве не так? Разве не критиковал Маркс в «Нищете философии» Гегеля и Прудона за то, что для них человек — щепка на волнах судьбы, актер, покорно играющий по сценарию, написанному Объективным Разумом. Разве не подчеркивал Маркс, что человек — творец, «автор», что вся история не что иное, как результат деятельности человека, преследующего свои цели? Разве не так?

Не так! Да, Маркс признавал за человеком историческое авторство. Но это была лишь часть, лишь половина марксовой формулы человеческой деятельности. А вот другую ее половину в первые послереволюционные годы как-то не очень замечали. Человек, гласит полная формула Маркса, и автор, и одновременно актер, действующее лицо разыгрываемой в истории драмы[2].

Человек — автор, ибо своей борьбой он избирает и реализует одну из имеющихся объективных возможностей — по какому, скажем, пути пойдет Россия в начале XX столетия, по прусскому или американскому. Но он не может, напри-

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 3, с. 4.
[2] См. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 4, с. 138.

мер, при всем своем желании, ввести в России 1905 года коммунистическое производство и распределение. Он выбирает только в пределах того спектра возможностей, который был создан деятельностью предшествовавших поколений, за эти пределы ему не выскочить. И в этом отношении он — «исполнитель», «актер».

Эта-то диалектика марксизма («автор — актер») не вполне ухватывалась многими теоретиками и политическими руководителями начала 20-х годов. Им больше нравилась тема «авторства». С нее и начинается движение в направлении сталинизма. Но все же это лишь первые шаги, движение лишь в направлении к сталинизму, лишь некоторый вектор, направленный в его сторону. Однако стрелка, указывающая направление «на Москву» («nach Moskau»), еще не свидетельствует о том, что Москва — там, где эта стрелка, и что тот, кто движется по направлению, ей указанному, обязательно доберется до Москвы. Поэтому нам не кажется убедительным вывод, который делают иные современные публицисты из этого общего левацкого, волюнтаристского поветрия первых послереволюционных лет — дескать, все они — Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Сталин и многие, многие другие партийные лидеры той поры — одним миром мазаны. Чего их разделять, все хороши!

Я все же думаю, есть одна важная, принципиальная грань, стерев которую, мы рискуем ничего не понять в истории. Я думаю, мы сделаем большую ошибку, отождествив, например, левацкие увлечения Бухарина (особенно сильные в начале 20-х годов) со сталинистской идеологией середины 30-х годов. Это же принципиально разные вещи: добросовестные заблуждения Бухарина, склонного к преувеличению возможностей революционного народа (и его вождей) в истории,— и сознательный антинародный курс сталинистов, ставящих на исторический пьедестал бюрократическую элиту, ее «всемогущего» вождя и рассматривающих народ как совокупность «винтиков» и «гаечек».

Эту грань надо видеть. Но, постоянно видя эту грань, следует, на мой взгляд, задуматься и над тем — как так случилось, что левацкие, волюнтаристские тенденции не стушевались под воздействием практики, а получили усиление, подходя к той грани, за которой начинается собственно сталинизм, грани, где субъективные ошибки, честное революционно-романтическое заблуждение уступают место тщательно разработанной и последовательно проводимой в жизнь концепции решающей роли в истории административно-бюрократического насилия.

Переход этой грани одной логикой борьбы идей не объяснишь. Дело вовсе и не в том, что в какой-то период руководству партии показались более убедительными левацкие идеи. Усиливала левые тенденции в руководстве, гнала их к грани, за которой начинается сталинизм, в первую очередь психология довольно значительной части революционных масс (наименее развитой, уповающей во всех вопросах на универсальное средство решения — саблю и насилие).

Мощное идейно-психологическое давление этих массовых социальных слоев, их политическая поддержка руководителей ярко выраженного волюнтаристского типа играли громадную роль в передвижке всей оси политической жизни партии и страны в сторону левачества и субъективизма.

Движению политической и теоретической мысли «влево», к волюнтаризму (а в перспективе — к сталинизму) способствовали, таким образом, не только идейные установки руководителей партии, формировавшиеся под воздействием неточно понятых причин успехов революции и упрощенно истолкованного марксизма, но и давления — психологического, идейного, политического — значительной части революционного народа.

То есть — и это тоже очень важно четко зафиксировать — сталинизм получает первоначальные импульсы и в определенной части народа. Таким образом, не только идейные истоки сталинизма, но и социальные тоже не отличаются чем-то из ряда вон выходящим. Некоторые исследователи пытаются отыскать какую-то необычайную социальную базу, питавшую «чудовище» сталинизма,— называют «пауперов», «деклассированные элементы», те или другие крестьянские слои. Мне же кажется, что и первоначальная социальная база сталинизма не отличается какой-то крайней, особой экзотичностью.



Зародыши сталинистских (то есть субъективистских, волюнтаристских) идей вовсе не кажутся революционной массе чужеродными. Ибо она вся — после громких революционных побед — заражена левачеством (и даже значительно большим, чем ее вожди). Но все же в революционном народе, совершившем Октябрьскую революцию, ясно просматривается разделение на два крыла, две части, два течения. Одно — несмотря на некоторый налет левачества, естественный, повторяю, в ту пору,— можно было бы все же назвать революционно-реалистическим, революционно-демократическим, и другое — революционно-левацким, казарменно-коммунистическим. Ранний сталинизм (примерно во второй половине 20-х годов) и начинает все больше ориентироваться на вторую часть революционной массы. Но — в силу важности этого аспекта проблемы — о нем следует сказать поподробнее.

**Социальная база «раннего сталинизма».** Принципиально важным моментом для понимания происходивших после Октября процессов является признание существования внутри российского революционного движения двух социальных образований и возникающих на их основе двух идейных течений — революционно-реалистического и революционно-левацкого толка. Мы подчеркиваем: именно внутри революционного движения (о разделении реформистского и революционного крыла, большевиков и меньшевиков писалось много — это другой сюжет). Речь идет о политически развитой, культурной, цивилизованной части угнетенных трудящихся масс и об угнетенной, но темной и неразвитой, страдающей, но непросвещенной массе. Обе части были вместе, одинаково — «против»: против царизма, корниловщины, войны, капиталистического хищничества и бесправия. Но они были по-разному «за», они были за разное «за». Они по-разному представляли себе процесс ликвидации старого мира и утверждения нового.

Разделение это, различия эти имели не случайный, не временный, не второстепенный характер. О том, что речь идет о принципиальном и крупном историческом противостоянии, свидетельствует и тот факт, что эти две тенденции издавна и постоянно существовали в российском революционном движении. Это — «казарменно-коммунистическая», авторитарная (Заичневский, Нечаев, Ткачев...) и демократическая, прославляющая историческую самодеятельность народа (Радищев, Герцен, Лавров, Добролюбов, Чернышевский...). В этих двух типах жизненной ориентации, политического мышления, мировоззрения отразились различия социального и культурного бытия двух основных слоев революционной массы — развитого, культурного слоя трудящихся, способного подхватить и продолжить в истории «золотую нить прогресса», способного, говоря словами Маркса, сохранить и преумножить «плоды цивилизации», и слоя людей, отброшенных обществом на самое дно, «отверженных» в полном смысле этого слова, людей, забитых этим обществом, загнанных в угол, неразвитых, ненависть которых к данному общественному устройству получает преимущественно тотально-разрушительный характер. «Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение,— провозглашали наиболее ранние выразители указанной тенденции в России, нечаевцы.— Пусть же все здоровые, молодые люди принимаются немедленно за святое дело истребления зла, очищения и просвещения земли огнем и мечом». Формы этой деятельности «могут быть чрезвычайно многообразны: яд, нож, петля и т. п.»,— «революция все равно освящает!».

Этот отряд угнетенных требует пристального к себе внимания. Он, с одной стороны, составляет важную и очень решительную часть общей революционной армии и будет с беззаветным героизмом сражаться с угнетателями. Но, с другой стороны, существует большая опасность, что люди этого слоя свои неразвитые потребности, свою «полуазиатскую бескультурность» [1], свои нравственные установки, порожденные во многом их обесчеловечивым бытием в старом обществе, попытаются возвести во всеобщий закон нового общества. Причем попытаются сделать это с помощью привычного им средства «огня и меча», с помощью всемогущего, по их мнению, насилия — и в итоге, как писали Маркс с Энгельсом, может в новой форме произойти «возрождение старой мерзости».

Неразвитость, низкий культурный потенциал тысяч Нагульновых и Сафроно-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 364.

вых (героев из «Поднятой целины» Шолохова и «Котлована» Платонова) делали понятным им только одно: организоваться, сплотиться, напрячь все силы, непослушных поднять и заставить — и все можно сделать, все! Ошеломляющий успех в Октябре и в гражданской войне — когда по всем обычным законам соотношения сил они как будто не могли победить, но победили — укреплял их веру в свое всемогущество. То есть непонятая логика Октябрьской победы (в которой как раз опора на объективные законы, а не на насилие, обеспечила успех) и низкая культура значительной части народа и породили массовую эйфорию всемогущества и всевозможности. Ну, буквально: нет преград — ни в море, ни на суше. Или, как восклицал в состоянии политического восторга один из революционных лидеров той поры: «Если это солнце будет светить только буржуазии — мы погасим солнце!!» Вот как! Ораторский образ, конечно, большой силы. И я представляю, каким восторженным гулом откликнулась на него революционная толпа. А вдумаемся в него, умерив экзальтацию: во-первых, надо ли так чересчур-то чваниться — уж солнце-то во всяком случае нам совершенно не подвластно; и во-вторых, если даже мы и выполним это фантастическое обещание, то ведь не только же «проклятая буржуазия», но и сам всемогущий пролетариат исчезнет с лица земли.

Хотя, впрочем, что-то похожее на это обещание сталинистам удалось-таки реализовать: одно за другим, например, гасили они исторические «солнца» — в небе культуры, науки, промышленности, сельского хозяйства. Самоубийственное всемогущество!..

Разумеется, все это неоднозначно. Массовое ощущение полноты своих исторических сил, уверенности в способности к социальному творчеству — прекрасное состояние людей, сбрасывающих оковы рабства. Глядя на них, уже не скажешь, как когда-то Чернышевский о спящей России: нация рабов, сверху донизу — все рабы. В эти-то прекрасные исторические минуты пробуждения роль партий, «вождей», по-видимому, и должна состоять в выяснении тех реальных возможностей, которые способны реализовать полные энтузиазма люди. И, указывая на границы возможностей, где-то надо идти и против течения — так, как это умел делать Ленин: «коммунисты, учитесь торговать»; меньше громких фраз, больше конкретных, «малых» дел; не бойтесь идти на выучку к спецам; не чваньтесь пролетарским классовым чутьем, овладевайте всем богатством прошлой культуры; стройте будущее не на энтузиазме только, а при помощи энтузиазма на заинтересованности каждого в результатах конкретной работы; миллионы юношей и девушек, механически затвердивших коммунистические лозунги, принесут делу строительства нового общества больше вреда, чем пользы, и т. д. и т. п.— глубокие, умные, отрезвляющие слова. Они не забивали, не гасили энтузиазм, но переводили его из области мифов в мир реальностей, из области слепой и безотчетной веры в мир строгой и научно обоснованной мысли. Сталинизм же закрепляет эти ложные ценности и установки волюнтаризма и возводит их в ранг теории и партийно-государственной политики. Противоположность ленинских и сталинских установок просто бросается в глаза.

Ленин: на основе добровольности, на базе убеждения, опираясь на примеры успешной деятельности, вести постепенную и планомерную работу по развитию кооперативных начал в деревне; используя достижения мировой научной и индустриальной мысли, опыт спецов, сочетая энтузиазм и материальную заинтересованность трудящегося человека, диалектически сочетая хозяйственное единоначалие и рабочую демократию, двигать промышленность; вести культурную революцию, настойчиво, но деликатно преодолевая наследие прошлого культурного варварства.

Сталин: за пару лет ударными темпами создать социалистические отношения на селе, превратив сельских тружеников в колхозное крестьянство, а сомневающихся и «несознательных» — в «лагерную пыль»; за две-три пятилетки всех догнать и перегнать (иначе «нас сомнут»); в кратчайшие сроки покончить с религиозным опиумом, не останавливаясь, если понадобится, ни перед чем — можно и церкви взрывать, и приходы закрывать, и попов сажать; заполнить деревни атеистами и чекистами.



И попробуйте слово сказать поперек этого «энтузиазма» — в порошок сотрут: «Что, неверие в силы народа, в силы революционного, победившего, героического и всемогущего пролетариата? Конечно, вы, интеллигентские умники, можете ждать, а мы, пролетарии и беднейшие крестьяне, измучившиеся за долгие годы рабства, ждать не можем. Не перечеркнуть вам наших надежд, капитулянты, трусы, маловеры, вредители, враги» и т. д.— по восходящей.

Сталинские лозунги той поры — это их лозунги, их желания, их стремления, их надежды. И, конечно, этот хищнически эксплуатируемый государственным руководством энтузиазм — подобно допингу, принимаемому спортсменом,— что-то временно дает, на сколько-то ступеней поднимает общество, но ценой последующего разрушения организма и прихода страшного разочарования — в будущем.

Но тогда, в те исторические мгновения конца 20 — начала 30-х годов, когда последствия политического допинга для многих были еще не видны, они восклицали: «Да здравствует наш, родной, близкий Сталин!» И он действительно был их, близкий, родной и такой понятный.

Так — во второй половине 20-х годов — зарождались теория и практика сталинизма, питаемые настроениями значительных масс народа, и в этом смысле его происхождение отнюдь не было каким-либо историческим казусом или нелепой случайностью.

**Зрелый сталинизм: социальная база и идеологическая суть.** Народен ли сталинизм? Итак, сталинизм выглядел поначалу как продолжение марксизма и как выражение воли и настроений народных масс. Заметим, однако, что по мере роста ультралевацких тенденций в сталинском руководстве и кристаллизации сталинской доктрины эта связь с марксизмом становилась все более иллюзорной, а по мере развития общественной практики, все отчетливей выявлявшей подлинную социальную суть сталинизма, рушилась и его связь с народным сознанием, с массами. Последнее особенно важно, и поэтому нужно пояснить, что мы имеем в виду.

Из того несомненного факта, что первоначальной питательной идейной средой для становления и первых ростков сталинской доктрины является психология определенной части народных масс, нередко делается вывод, что сталинизм — это народная идеология, что за Сталиным — интересы широких масс народа; что, развертывается далее «логическая» цепочка, тот, кто выступает против сталинизма,— выступает против народа; то есть — кто враг сталинизма, тот враг и народа.

В подобных рассуждениях стирается еще одна существенная грань — между сталинизмом и народным сознанием, народными интересами. Стирание этой грани ведет к разного рода ложным выводам. Для одних публицистов («либерального» направления) — это веское доказательство того, что народ России ничего лучшего, как сталинизм, и не заслуживал: «Народ имел то правительство, которое он заслужил». Для других (ностальгически вздыхающих по прежним временам «порядка») — это способ защиты сталинизма: Сталин — народный вождь, а созданная им система — отражение воли, желаний и чаяний масс.

Вот против этого отождествления сталинизма и интересов народа мы хотели бы особенно решительно возразить.

Да, сталинизм в каком-то смысле вырастает на народной почве, но в нем отражаются не подлинные, не действительные, не глубинные интересы народа, а лишь поверхность его сознания, его психологии в определенный конкретно-исторический период (да и то не народа в целом, а, как мы отмечали, лишь его менее развитой, менее цивилизованной части). Надо добавить еще, что эти «верхние слои» его психологии, его настроения находились в остром противоречии с его действительными интересами. Ведь в чем состоял действительный, подлинный интерес угнетенных российских масс? В осуществлении социального равенства людей, и на этой основе — обеспечении роста их материального благосостояния и культурного развития. Однако их представления о методах и способах достижения этой цели были ложными — они не вели к ней. Существовало, таким образом, фундаментальное противоречие между действительными интересами народа и предполагаемыми способами их достижения. Возникало ложное сознание, не соот-

ветствующее исторически назревшим задачам. Сталинизм в отличие от ленинизма не стремился просветить массы, выяснить это противоречие целей и предлагаемых ими средств и предложить средства, адекватные целям; он эксплуатировал их невежество, их предрассудки. И поэтому, я думаю, нет никаких оснований говорить о сталинизме как выразителе коренных интересов и потребностей даже какой-то части народа. Сталинизм, по сути своей, антинароден.

Народ (ни в каких его частях или слоях) поэтому, строго говоря, никак не может рассматриваться в качестве социальной базы зрелых форм сталинизма (какие сложились, например, к середине 30-х годов). Да, сталинизм в пору своего возникновения питался невежеством, неразвитостью части народных масс. И в этом смысле (и только в этом смысле) определенную «народную» (может быть, точнее сказать, «псевдонародную») окраску он приобретал. Но он приходит в острое столкновение с этими же массами, как только они начинают осознавать свои подлинные задачи и адекватные способы их решения.

В итоге все яснее вырисовывалась действительная социальная база, питающая зрелые формы сталинизма. Сталинизм постепенно ее нащупывает, а затем в массовом порядке ее воспроизводит и решительно в моменты острых социальных конфликтов защищает. Что же это за база?

**Диктатура бюрократии.** Общий механизм нащупывания (и формирования) бонапартистскими режимами (а сталинский — из их числа) своей адекватной социальной базы превосходно описан Марксом в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта». Свой первоначальный исток бонапартизм, как указывал Маркс, находит в одном из массовых угнетенных слоев (тогда, в конце 40-х годов XIX века, это было крестьянство). И далее важное добавление: «Династия Бонапарта является представительницей не просвещения крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а его предрассудка, не его будущего, а его прошлого...» [1].

Подставим вместо «династии Бонапарта» — «сталинизм», вместо «крестьянства» — «пролетариат и беднейшее крестьянство», и мы получим точную характеристику нашей ситуации в конце 20-х годов. А вот что происходило в бонапартистской Франции дальше. По мере того как развитие исторических событий просвещает крестьянина, помогает ему подниматься со ступени «предрассудка» на уровень «рассудка», происходит обострение противоречий между более верно осознающим свои интересы народом и псевдонародной властью. Но к этому времени бонапартизм уже не нуждается в «братском согласии» с прежде дружественными народными слоями. Он сформировал уже свою собственную социальную базу, полностью отвечающую его зрелым формам: бюрократию, армию, репрессивный аппарат, способные жестоко расправиться со своим вчерашним «союзником». Начались «облавы, устраиваемые армией на крестьян», «массовые аресты, массовая ссылка крестьян» [2].

Сходную эволюцию претерпевал и сталинизм. Эксплуатируя «предрассудок», «ложное сознание» части трудящихся масс, он постепенно укреплял исполнительную власть и создавал соответствующую своей сути армию бюрократии, способную с помощью карательных органов дать отпор всем, кто поднимется на уровень «рассудка» и заявит свои права. *Адекватной социальной базой сталинизма и становится бюрократия.*

Вот почему сталинизм и народ, поверхностно и противоречиво соединенные на начальных этапах нашей истории, с течением времени все дальше отходят друг от друга. По мере развития экономики страны и культурности трудящихся, по мере того как искаженные, деформированные представления о целях социального движения заменяются в сознании трудящихся более точными, а ложные представления о средствах их достижения вытесняются все более истинными, сталинизм утрачивает и ту ограниченную народную опору, что он имел когда-то. Развивающиеся в ходе объективного исторического движения массы становятся поначалу стихийным, а потом и все более сознательным противником сталинизма.

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 8, с. 209.
[2] Там же, с. 208.



В этом — в невозможности опереться на поддержку масс — заключается, кстати, одна из причин затрудненности реставрации крайних форм сталинизма сегодня.

Однако, по мере того как уменьшается роль одной из опор сталинского режима, резко возрастает роль другой опоры — бюрократии, которая со временем и становится *главной* социальной базой сталинизма. На этом рубеже изменяется *качество* сталинского режима: из волюнтаристской, административно-командной системы, все еще сохраняющей определенную связь с народной основой и опирающейся среди прочего на народный энтузиазм (порожденный Октябрьской революцией), он превращается (по времени — где-то к середине 30-х годов) в антинародную (по сути своей) диктатуру бюрократии, опирающуюся на силу карательных органов, на силу страха.

Вместе с изменением качества социально-политических отношений меняется и качество идеологии. Нет, она, как и прежде, сохраняет свою субъективно-идеалистическую окраску. Ибо бюрократия, как и та, менее развитая часть трудящихся, о которой мы писали, придерживается волюнтаристских взглядов на исторический процесс,— ее социальное бытие в качестве силы, с одной стороны, бесконтрольно управляющей (точнее — заправляющей) социальным строительством, а с другой — теснимой подлинным субъектом истории — трудящимся человеком,— навязывает ей волюнтаристское сознание. Только в отличие от названных народных слоев она придерживается волюнтаризма и субъективизма не по невежеству, а сознательно. Здесь уже речь идет не о наивно-революционном сознании масс, ошибочно определивших некоторые из своих целей и средств реализации своих интересов, но о *безошибочно* точном отражении объективных интересов бюрократического слоя, о тщательно продуманной реакционно-консервативной доктрине.

Возникновение и развитие этой, второй, а с ходом времени — главной, опоры и социальной базы сталинизма — тоже вполне закономерный, естественноисторический (а не порожденный волей «злодея» или «гения», как хотите) процесс. Никаких тут исторических казусов нет. Имелись существенные причины того, почему в первые после Октября годы стала усиливаться бюрократия и почему задерживалось половодье демократизма и народоправства.

**Историческая обусловленность усиления бюрократии.** Если взять экономическую сторону дела, то в начале 20-х годов экономически страна представляла сумму не связанных между собой, разорванных звеньев; *системы* экономической не было, были лишь малосвязанные друг с другом «острова» экономики. Экономических рычагов, механизмов, способных увязать все в систему, навести мосты между «островами», дабы заставить хоть как-то функционировать эту экономику, не было. Экономические связи по необходимости надо было заменить политическими, административными. Государственное чиновничество и было связующим началом разрозненных экономических звеньев, оно было, так сказать, «административно-политическими костылями» экономики, оно худо-бедно давало возможность экономике жить и двигаться.

Если же взять социально-политический, или социально-культурный, аспект, то неизбежность усиления административно-бюрократического слоя связана с объективной невозможностью значительной части (если не большинства) трудящихся — в силу своей культурной неразвитости — принимать реальное участие в управлении, в реальном контроле за деятельностью хозяйственного и государственного аппарата. Поначалу они не потому не принимали участия в управлении и контроле, что их кто-то, по причине своей злонамеренности, не допускал, но потому, что они просто не в состоянии были это делать.

И снова возникает искушение сделать вывод (как то и происходит в статьях некоторых публицистов): поскольку усиление бюрократии по названным выше причинам — факт неизбежный (и с точки зрения развития экономики страны в какой-то степени оправданный), то, следовательно, и вырастающий на ее основе сталинизм — тоже явление неизбежное, которому нет альтернативы (и потому тоже в определенной степени оправданное).

Думаем, что снова — мимо. Думаем, что несостоятельны и эти попытки

обосновать неизбежность сталинизма и на другой, теперь уже не народный, а бюрократический лад.

**Что было действительно неизбежным в нашем послеоктябрьском развитии и что — нет?** Да, неизбежным было усиление бюрократии. Это факт. Но «усиление бюрократии» — это еще не сталинизм. Сталинизм — это диктатура (то есть тотальное и безусловное господство) бюрократии (да еще в террористических формах). И вот этот-то переход от простого «усиления бюрократии» к ее террористической диктатуре, по нашему мнению, неизбежным не был. Мы убеждены, что вполне возможен был и другой вариант развития событий — постепенное ограничение, ослабление роли бюрократии и рост демократических начал.

Была ли эта, другая, возможность **реальной** возможностью? Был ли действительный **выбор?** Думаем, что и реальная возможность, и действительный выбор **были!** И вот тому доказательства.

То, что возможности иного выбора были реальными, свидетельствует прежде всего тот факт, что «ситуация выбора» между административно-командным и демократическим началом возникала в нашей истории не раз — не только в 1929 году, но и раньше, и позже; и не всегда разрешалась она в пользу сталинского варианта. Случалось, брало верх демократическое, ленинское начало. Разве нет? Вспомните, к примеру, ситуацию в начале 20-х годов, накануне нэпа, в 1927 году — в период XV съезда партии, в 1956 году (XX съезд!), в апреле 1985 года.

Это были ситуации именно такого выбора. В начале 20-х годов, отмечая мощный рост военно-коммунистических, командно-бюрократических тенденций, Ленин с тревогой писал, что, если мы от чего и погибнем, так это от бюрократизма. Он тогда же всерьез размышлял об опасности «термидора». Иначе говоря, складывалась явно кризисная, критическая ситуация, когда от того или другого решения зависело, придет ли «термидор», «погибнем» ли мы или сумеем найти способ движения по иному, демократическому, а в перспективе — социалистическому пути развития. Этот момент выбора закончился, как известно, в пользу демократической, ленинской, альтернативы. Лениным была предложена программа по ограничению возможностей советской бюрократии, по ее ослаблению. Эта программа предусматривала блокаду, а в перспективе — и разрушение тех главных основ, на которых покоилась бюрократия. Предлагалось, во-первых, оживление экономических связей (что уменьшало бы надобность в существовании громоздких механизмов внеэкономического, административно-политического регулирования) — это программа нэпа, развитие кооперации, поощрение создания промышленных концессий и государственно-капиталистических форм производства. Делалась, во-вторых, ставка на **экономические** стимулы приобщения населения к труду (что сужало бы сферу внеэкономического, военно-коммунистического принуждения). Принимались, наконец, меры по развитию демократии, участия простых рабочих и крестьян в работе высших государственных органов страны, в контроле за деятельностью руководящих кругов партии, по ликвидации неграмотности и росту общей культуры народа.

Ну, и разве нереален, утопичен был этот план? Разве остался он в сфере мечтаний? Разве не начал он реализовываться в жизни? И разве не пошла успешно его реализация? Успехи нэпа хорошо известны. Административно-командной, бюрократической системе тогда не удалось прорваться к господству.

Потерпели поражение и попытки создания административно-командной системы на базе концепции «первоначального социалистического накопления» Троцкого — Преображенского сразу после смерти Ленина. Борьба партии против этой концепции, в которой ведущую теоретическую роль сыграл Бухарин, закончилась закреплением в целом ленинских, демократических начал развития страны XV съездом ВКП(б) (1927 г.)[1]. Вместо предлагаемого авторами концепции «первоначального социалистического накопления» плана развития экономики страны «за счет крестьянства», путем административно-насильственной перекачки средств из деревни в город, вместо их планов построения работы заводов и фабрик по военно-казарменному принципу и стимулирования интенсификации труда с помощью политического и правового насилия — вместо этого партия на XV съезде приняла программу, нацеленную на сохранение равноправия рабочих и крестьян, на добровольное кооперирование, не высокие (но реалистические) темпы индустриального развития, на расширение демократических начал в общественной жизни.

[1] О подробностях этой борьбы — см. нашу статью «Выбор истории и история альтернатив. (Бухарин против Троцкого)». «Проблемы мира и социализма», 1988, № 10.



А разве XX и XXII съезды партии, развитие событий после апреля 1985 года не являются еще одним убедительным доказательством **реальности** несталинской (антисталинской) альтернативы? Понимание этого, понимание того, что вопрос «быть сталинизму или нет», решается не в сфере каких-то «объективных», царящих над людьми предначертаний, а всеми нами, нашей борьбой, умением ее организовать и вести, понимание того, что нить истории слагается не из каких-то неизбежных, необратимых событий, а представляет собой узлы постоянно возникающих и разрешающихся людьми альтернатив, — это понимание совершенно необходимо для успешной деятельности по революционному преобразованию современной действительности.

Недорого стоит мудрость исследователей, которые, оценивая шаги и результаты конкретной исторической борьбы, глубокомысленно изрекают: все это было неизбежно, иначе и быть не могло, а разговор о возможных иных исходах — это, по их мнению, не историческая наука, а бессмысленное гадание на кофейной гуще. Для них все «неизбежно» — и победа сталинистов в 1929 году, и их поражение в 1956-м, и реванш неосталинских тенденций после 1964 года, и поворот к демократическим началам в апреле 1985 года. Правда, затрудняются они сказать, какая «неизбежность» ожидает нас, например, в 1995 году. Вот уляжется дым сегодняшних схваток, определится в отчаянной борьбе итог событий — вот тогда снова придут наши мудрые летописцы со своим глубокомысленным «иначе и быть не могло». Большой прок от этой «мудрости задним числом»!

Нет, мы не защищаем тезис о том, что в истории «все возможно» и что «от человека зависит все». Мы просто обращаем внимание на то, что соотношение основных социальных сил в нашей истории (развитых и неразвитых слоев трудящихся, бюрократической элиты и т. д.) было и есть таково, что были возможны и остаются возможными варианты как демократического, так и административно-командного развития и что исход каждого из сражений между этими силами не предопределен заранее. Результат зависит от многих конкретных факторов, в том числе и от умения борющихся сторон (и их вождей) находить правильную политическую стратегию и организационные формы борьбы. И еще одна важная сторона методологии, которой мы придерживаемся. Для понимания результатов того или другого конкретного выбора важно видеть общую историческую тенденцию, состоящую в том, что по мере экономического и культурного развития страны и трудящихся масс все более широкой становится социальная база демократических («ленинских») политических программ и сужается социальная база сталинизма. Поэтому если в первой половине нашей послеоктябрьской истории общий социально-экономический и политический фон эпохи благоприятствовал победе сталинистских установок (хотя и не делал эту победу неизбежной), то затем массовая историческая инициатива стала — объективно — переходить к подлинно ленинским, демократическим силам (хотя и не делала их победу гарантированной).

Подведем краткий итог сказанному.

Сталинизм берет начало не в каких-то необычных, экзотических идейных и социальных сферах. Он вырастает на той же самой общей почве, что и ленинизм, — почве революционного народа и марксизма, но — на тех участках этой почвы, которые порождают сорняки, паразитические растения, противостоящие цветам подлинно гуманистической культуры. По внешнему виду первые ростки ядовитых растений сталинизма не сразу можно отличить от культурных побегов.

Иначе говоря (оставим образный строй рассуждений!), сталинизм не сразу проявляется как ясно выраженный антипод марксизма-ленинизма. На первом этапе он формируется как некая, неясно выраженная **тенденция** идеологического субъективизма и политического волюнтаризма, отражающая психологию, настроение менее развитой, менее культурной части революционных масс (это,

так сказать, ранний, «народный» сталинизм). Суть второй ступени эволюции — в изменении его социальной опоры и идейной окраски: «народный» сталинизм превращается в «бюрократический» (то есть антинародный), а волюнтаристские идейные тенденции — в идеологию культа личности, которая в окружении бюрократической элиты представляется единственным творцом истории. (Заметим — в скобках, потому что это тема особого разговора,— что переход от «народного» к «бюрократическому» сталинизму в 30-е годы был непростым и страшно болезненным процессом. Объективный смысл и логика кровавых репрессий 30-х годов, думаю, пока не разгаданы нашей наукой. Пишут о расправе над «ленинской гвардией» — делегатами XVII съезда партии. Но ведь подавляющее большинство делегатов этого съезда стали заметными политическими фигурами лишь после смерти Ленина, при Сталине и «под Сталиным» (то есть, как правило, благодаря Сталину). Основные силы «ленинской гвардии» утратили свое влияние уже к концу 20-х годов. «Заметки экономиста» Бухарина (1928) и манифест Рютина (1932) были, пожалуй, последними крупными, заметными попытками повернуть партию и страну на подлинно ленинские рельсы. Иногда в репрессиях 30-х годов видят логику действий преступной политической мафии — расправляются сначала со своими противниками, конкурентами, а затем, дабы спрятать концы в воду, и с их палачами, членами своей мафии, знавшими слишком много. Это, возможно, объясняет некоторые отдельные случаи — уничтожение Ягоды, Ежова и их сообщников, но дать нить понимания, схватить логику событий всего десятилетия эта узкая точка зрения не в состоянии. Иногда поэтому говорят, что там не было никакой логики — неуправляемый процесс кровавой бойни. Не думаю. Мне представляется, что основным, не осознаваемым хорошо самими участниками содержанием борьбы и репрессий 30-х годов было противоборство «бюрократического» и «народного» сталинизма. Первый представляли деятели типа Кагановича, Молотова, Ворошилова, Жданова, Маленкова, Берии, Вышинского, Ульриха. Второй — Киров, Орджоникидзе, Куйбышев, Постышев, Косарев, Косиор. Триста голосов против Сталина на XVII съезде — это, я думаю, отражение нараставшего протеста народных масс против укрепляющейся монополии власти бюрократической элиты.)

Любопытно, что «народный» сталинизм, разгромленный в 30-е годы в высших партийных и государственных эшелонах, продолжал тем не менее жить в определенных слоях народа. Для него характерной оставалась острая антибюрократическая направленность. Мечты части простого народа в период брежневщины о сильном вожде, напоминающем Сталина,— это мечты о силе, которая смогла бы защитить простых людей от абсолютной власти бюрократии. Видеть различие двух видов сталинизма очень важно. «Народный» сталинизм в отличие от «бюрократического» преодолевается терпеливым просвещением, развитием гласности и демократических начал, в рамках которых эти люди получают возможность осознать свою собственную силу, вполне достаточную, чтобы самим ликвидировать бюрократию, не уповая на мифическую силу какой-либо могучей личности. С этими людьми ленинские, демократические силы могут и должны найти контакт и взаимопонимание.

Таковы, на наш взгляд, сущность и корни сталинизма.

А отсюда и вывод, касающийся путей его преодоления. Не диалектика, не марксистский материализм плохи, не в них семена сталинизма, не их, следовательно, надо уничтожать, беда — в их вульгаризации и искажении. Обрыв золотой нити социального прогресса произошел не тогда, когда возник диалектический материализм, не тогда, когда Ленин на его основе вычерчивал маршруты прогресса в XX столетии, не в период Октября. Не там обрыв, не там определилась дорога, бегущая в пропасть. Обрыв произошел позднее — в конце 20-х годов, там, где ленинизм стал подменяться волюнтаризмом, а идея народоправия культом Вождя. Поэтому я считаю, что люди, желающие способствовать делу человеческого прогресса, должны размышлять не над тем, как «переиграть» Октябрь и ленинизм, а над тем, как «переиграть» 1929-й и 1937-й годы, опираясь на ценности Октября и ленинизма. Разумеется, «переиграть» не буквально — историю не вернешь! «Переиграть» — сегодня, ибо ни 1929-й, ни 1937-й годы —



годы торжества бюрократии — отнюдь не невозможная вещь в конце XX столетия. Вот почему влечет нас к пониманию истории отнюдь не только и не сугубо исторический интерес.

А важнейший элемент этого понимания и состоит в том, что ленинизм — не исток сталинизма, а наиболее сильное орудие борьбы с ним. Ибо ленинизм — это учение, выдвигающее задачи, решение которых и ведет к разрушению главнейших опор, фундамента бюрократической системы. Ленинизм выступает за развитие экономических (а не административно-командных) связей в народном хозяйстве страны, за принцип распределения по труду, запрещающий создание нетрудовых, кастовых, бюрократических привилегий, за превращение работника в действительного, реального хозяина — через механизм самого широчайшего плюрализма и демократизма. И, кроме того, ленинизм не только идейно, программно противостоит сталинизму, но и способен практически, политически победить его. Да, в конце 20-х годов сталинизм взял верх над ленинизмом. Но такой исход сражения вовсе не был предопределен фатально. Ленинские (то есть демократические) силы в партии и народе не «в принципе» «не могли» победить, они не с м о г л и, они просто не сумели победить. Они не смогли выработать хорошо выверенных стратегических планов, определить верную тактику. У них не оказалось сильных и талантливых полководцев; их лидеры допускали грубейшие ошибки в борьбе, и главная среди них — попытка остановить развитие казарменно-коммунистических, бюрократических, административно-командных тенденций (выражавшихся в первые годы после смерти Ленина в планах Троцкого — Преображенского) бюрократическими же, административно-командными методами. Зиновьев, Каменев и многие другие, возглавлявшие борьбу с идеями троцкистского варианта административно-командной системы, заботились не столько о демократическом соревновании программ и идей, не столько об убедительности и развернутости аргументов, сколько о том, чтобы любыми способами скомпрометировать Троцкого как личность. Они фактически лишили Троцкого и его единомышленников возможностей открыто перед всей партией и народом излагать свои взгляды, критиковали его грубо и (за исключением разве что Бухарина), не слишком заботясь о доказательности, извлекали на свет божий ленинские характеристики Троцкого, данные давно, в частных письмах и не имеющие никакого отношения к современной полемике. При обсуждении в высоких инстанциях формировали группы лиц, которые устраивали сторонникам Троцкого обструкцию, не давали говорить, постоянно перебивали их с места грубыми выкриками, требовали «покаяний», «разоружения», «встать перед партией (читай — перед ее руководящей группой) на колени». В этой недемократически ведущейся борьбе с идеями административно-командной системы Троцкого они сами реально, на практике формировали эту систему. Бюрократические идеи нельзя победить с помощью административного, бюрократического насилия. Средства не безразличны к цели, к результату. Негодные средства, применяемые даже во имя «хорошей» цели, с необходимостью дадут негодный результат.

На этом же тридцать лет спустя споткнулся Хрущев, пытаясь покончить со сталинизмом и бюрократизмом бюрократическими же методами. Он — в особенности во второй половине своего «славного десятилетия» — не способствовал развертыванию общественных механизмов демократии, а свертывал их, он видел в с е б е, в с в о е й л и ч н о с т и гарантию против возврата к сталинизму. И не понимал, что одна личность, даже на посту руководителя партии, не в состоянии определить направление и исход исторических битв. Он не понимал, что XX съезд, демократическое половодье 1956—1961 годов не есть результат его индивидуальной деятельности (хотя, конечно, его личной политической смелости 1956 года следует воздать должное!), что он лишь помог приоткрыть клапаны накопившейся и готовой выйти наружу мощной народной антисталинской энергии. Он сам (и окружавшие его подхалимы) слишком переоценил роль, которую он играл в начавшемся процессе, он слишком переоценил себя. Более того, когда события стали опережать его личные политические возможности, его кругозор, его сложившееся в сталинские годы кредо, он не сумел способствовать тому, чтобы ход событий и демократические механизмы выявили людей — наверху и

на местах,— способных двигать перестройку 50-х годов дальше. Он стал — и объективно, и субъективно — тормозить процесс, начало которого во многом было связано с его именем. Вспомним, как заговорил он с творческой интеллигенцией — писателями, художниками, журналистами, как начал едиионличио определять, кто будет президентом, секретарем ЦК и т. д. Не случайно вновь всякие лысенки пошли при нем в гору, не случайно при нем поднимались к вершинам власти иеосталиниисты Суслов и Брежнев. Он — во многом сам того не ведая — формировал административно-командиую, иеосталинистскую («иео» — ибо без массовых кровавых репрессий) систему, которая начала глушить демократические процессы и безропотной жертвой которой он и сам стал вскоре.

Мы не должны третий раз — сегодия — споткнуться на том же самом месте. Все должны знать обо всем, все должиы принимать участие во всем — вот ленинский принцип, единственно верный метр, которым можно мерить уровень (да и само наличие) демократии в обществе.

Нет, нам ие фатально суждено жить под гнетом сталинизма и бюрократии, просто нам не всегда доставало понимания смысла нашей борьбы.

И еще одно пояснение во избежание недоразумений. Мы сказали: сталинизм — диктатура бюрократии. А как насчет социализма в нашей стране — был ли, не был?

Одни говорят: не был! Какой-де это социализм, когда крестьянство без паспортов, не распоряжается тем, что производит, когда миллионы — в лагерях, на рабском труде, когда собственность — как бы «ничейная» и бюрократия — всемогуща.

Другие, понимая серьезность этих аргументов, тем не менее ие могут принять категорически отрицательный вывод. С одной стороны, его принятие сопряжено с невероятной потерей исторических ориентиров и координат — возникает просто какой-то обвал мысли и истории. С другой стороны, все же не абсолютно темна была иаша история — и неподдельный энтузиазм масс был, и от неграмотности страну освободили, и определенный экономический потенциал создали, и войну — что там ни говори — выиграли, да и потом были ведь и не сталинские периоды в нашей истории. И потому они ищут определений, в которых нашли бы отражение и те, и другие стороны этого противоречивого явления. Предлагают называть его «социализмом» с различного рода добавлениями: «бюрократический», «государственный», «авторитарный», «деформированный» и т. п. Возникают в итоге определения, разрушающие сами себя. «Бюрократический» (то есть не демократический) социализм — это же ие социализм, это все равно, что «горячий лед» или «холодный огонь».

Где же выход? Мне не хотелось бы здесь и сегодня углубляться в эту материю. Обозначу только опорные моменты своего подхода.

Первый тезис: сталинизм — это, конечно же, не социализм.

И второй. История нашей страны ие сводится к истории сталинизма. Ее содержание — борьба двух тенденций (бюрократически-тоталитарной и демократически-социалистической), и потому реальное состояние нашего общества всегда было *результатом* их борьбы (результатом, который невозможно выразить в категориях и понятиях только одной из этих тенденций). К тому же, как уже отмечалось, сталинизм не во все периоды был господствующей тенденцией в нашей жизни. Демократически-социалистические (ленинские) начала были особенно сильны в 1917—1929 годах, 1941—1945 годах (патриотический подъем военных лет, прямое чувство ответственности каждого за судьбу страны породили и определенные процессы десталинизации социальной жизни), 1953—1964 годах, 1985 году и по сей день. Это несколько десятков лет. Немало!

Ну и все же, спросит читатель, как все-таки вы определите результаты этой борьбы двух тенденций в иашем обществе, к какому из названных выше лагерей публицистов вы ближе — к первому или ко второму. Я — сам по себе. Мне думается, мы имели дело с социальным феноменом, для точного определения которого в нашей классической теории нет подходящих терминов. Суть этого феномена по-настоящему не улавливается имеющимися теоретическими формулировками, их употреблением, будь то в позитивном или негативном смысле. Мы вступили в социальный мир несколько иного типа, чем тот, в котором жили Маркс и Ленин, разработавшие категориальную структуру нашего социального мышления. Образно говоря, из ньютоновского социального мира мы вступили в эйнштейновский. И потому я за то, чтобы изучать новые социальные реальности — и у иас, и во всех других странах мира — *по существу*, не торопясь наклеивать на них обобщающую итоговую этикетку. Давайте опишем — глубоко и правдиво — реальную картину общественных отношений в странах современного мира. А итоговые этикетки потом изобретем. Термин, дефиниция не должны предварять конкретный анализ, они должны быть его *результатом*. Не стоит ли поэтому на какое-то время ввести мораторий на употребление ряда обобщенных социально-политических понятий, дабы груз их прошлого содержания не тянул назад иашу общественную науку, не мешал непредубежденному анализу того, что есть.



И самое последнее. Да, я считаю, что учение Маркса и Ленина, творчески развиваемое применительно к сегодняшним условиям, является главным и наиболее совершенным инструментом борьбы против всех форм и разновидностей сталинизма. Эту свою позицию я буду защищать.

И все же для меня та или другая доктрина — не самоцель. Главное — отстаивание и практическая деятельность по осуществлению гуманистической и демократической альтернативы общественного развития. И если кто-то пришел к пониманию важности этой задачи через Ганди, Толстого, Бердяева, Улофа Пальме, буддизм, православие и т. п.,— это, мне кажется, не должно вызывать огорчения у ленинцев. В конце коицов, может быть, именно такое массовое, многообразное, действительно плюралистическое движение с разных сторон к одной и той же цели — может, только оно-то и способно обеспечить ее достижение. И, может быть, от умения этих многоликих демократических сил найти пути друг к другу, создать атмосферу взаимной уважительности и доверия, демократического сотрудничества и зависит, каким — неосталинистским или подлинно свободным — будет новое общество.

Да, для меня, скажу еще раз в заключение, «ленинизм» тождествен с самой широкой демократией, всечеловеческим гуманизмом и максимальной свободой. Но если я встречу человека, несогласного с этим отождествлением, но тем не менее выступающего подобно Гроссману против сталинизма и за демократическое народоправие, я скажу ему: «Название — дело десятое! Руку, товарищ!»

●

Василий ГРОССМАН

# Все течет

ПОВЕСТЬ

## 1

В Москву хабаровский поезд приходил к девяти часам утра. Молодой человек в пижаме почесал вихрастую голову и поглядел в окно на осенний утренний полусумрак. Зевая, он обратился к людям с полотенцами и мыльницами, стоявшим в проходе:

— Граждане, кто тут у нас крайний?

Ему объяснили, что за дядей, державшим искореженный тюбик зубной пасты и кусок мыла, облепленный газетной бумагой, заняла очередь полная гражданка.

— Почему только одна уборная открыта? — проговорил молодой человек. — Ведь приближаемся к конечному пункту — столице, а проводники только товарооборотом заняты, по-культурному обслужить пассажира у них времени не хватает.

Через несколько минут появилась толстая женщина в халате, и молодой человек сказал ей:

— Гражданка, я за вами, а пока пойду к себе, чтобы в проходе не болтаться.

В купе молодой человек раскрыл оранжевый чемодан и залюбовался своими вещами.

Из его соседей — один, со вздутым широким затылком, храпел, второй — румяный, лысый и молодой, разбирал бумаги в портфеле, а третий, худой старик, сидел, подперев голову коричневыми кулаками, и смотрел в окно.

Молодой человек спросил румяного спутника:

— Вы читать больше не будете? Надо книжоику уложить в чемодан.

Ему хотелось, чтобы сосед полюбовался чемоданом. Тут были вискозные сорочки, и «Краткий философский словарь», и плавки, и защитные от солнца очки в белой оправе. Прикрытые мелкокалиберной районной газетой с краю лежали серые коржики домашнего, деревенского печения.

Сосед ответил:

— Прошу, я эту книгу, «Евгения Гранде», уже читал в прошлом году в санатории.

— Сильная вещичка, ничего не скажешь, — проговорил молодой человек и уложил книгу в чемодан.

В дороге они играли в преферанс, а выпивая и закусывая, разговаривали о кинокартинах, пластинках, мебельных гарнитурах, сочинских санаториях, о социалистическом земледелии, спорили, чье нападение лучше — «Спартака» или «Динамо»...

Румяный, лысый работал в областном городе инструктором ВЦСПС, а вихрастый возвращался после отпуска, проведенного в деревне, в Москву, где он состоял экономистом в Госплане РСФСР.

Третий спутник, сибирский прораб, храпевший сейчас на нижней полке, не нравился им своею некультурностью: он матерился, рыгал после еды, а узнав, что попутчик работает в Госплане по части экономических наук, спросил:



— Политическая экономия, как же, это про то, как колхозники ездят из деревни в город хлеб у рабочих покупать.

Как-то он сильно выпил в буфете на узловой станции, куда, как он говорил, бегал отмечаться, и долго не давал своим спутникам уснуть, все шумел:

— По закону в нашем деле ничего не добьешься, а если хочешь дать план, надо работать, как жизнь требует: «Я тебе дам, и ты мне дай». При царе это называлось — частная инициатива, а по-нашему: дай человеку жить, он жить хочет; вот это экономика! У меня арматурщики целый квартал, пока новый кредит пришел, расписывались заместо нянек в яслях. Закон против жизни идет, а жизнь требует! Дал план, на тебе надбавку и премию, но, между прочим, и десять лет могут припаять. Закон против жизни, а жизнь против закона.

Молодые люди молчали, а когда прораб притих, вернее, не притих, а, наоборот, стал громко храпеть, они осудили его:

— К таким тоже следует присматриваться. Под маской братишки.

— Деляга. Беспринципный. Вроде какого-то Абраши.

Их сердило, что этот грубый, с глубинки человек относился к ним презрительно.

— У меня на стройке заключенные работают, они таких, как вы, придурками называют, а придет время и станут разбираться, кто коммунизм построил, окажется, вы пахали, — сказал им как-то прораб и пошел в соседнее купе играть в подкидного.

Четвертый спутник, видимо, нечасто ездил в плацкартном вагоне. Он большей частью сидел, положив ладони на колени, словно прикрывая заплаты на штанах. Рукава его черной сатиновой рубахи кончались где-то между локтями и кистями рук, а белые пуговки на вороте и на груди придавали ей вид детской, мальчиковой. Что-то смешное и трогательное бывает в этом соединении белых детских пуговичек на одежде с седыми висками, взглядом стариковских, измученных глаз.

Когда прораб сказал привычным к команде голосом:

— Папаша, пересядь от столика, я сейчас чай пить буду, — старик по-солдатски вскочил и вышел в коридор.

В его деревянном чемодане с облупившейся краской рядом с застиранным бельем лежала буханка крошащегося хлеба. Курил он махорку и, свернув папироску, шел дымить в тамбур, чтобы скверный дым не тревожил соседей.

Иногда спутники угощали его колбаской, а прораб как-то преподнес ему крутое яичко и стопочку московской.

Говорили ему «ты» даже те, кто был вдвое моложе его, а прораб все подшучивал, что «папаша» выдаст себя в столице за холостого и женится на молодой.

Как-то в купе зашел разговор о колхозах, и молодой экономист стал осуждать сельских лодырей.

— Я теперь убедился своими глазами, соберутся возле правления и почесываются. Пока председатель и бригадиры погонят на работу, десятью потами обольются. А колхознички жалуются, что им на трудодень при Сталине вовсе не платили и что теперь еле-еле получают.

Профсоюзный инспектор, задумчиво тасуя колоду карт, поддержал его:

— За что ж им, друзьям, платить, если они поставок не выполняют. Их надо воспитывать, вот. — И он покачал в воздухе большим крестьянским, отвыкшим от работы белым кулаком.

Прораб погладил себя по толстой груди с просаленными орденскими ленточками:

— Мы на фронте с хлебом были, накормил нас русский народ. И никто его не воспитывал.

— Вот правильно, — сказал экономист. — Все же главное в том, что мы русские люди. Шутка ли: русский человек!

Инспектор, улыбаясь, подмигнул своему дорожному приятелю: то, что называется: русский — старший брат, первый среди равных!

— Оттого и зло берет, — проговорил молодой экономист, — ведь русские же люди! Не нацмены. Ко мне один разогнался: «Липовый лист пять

лет ели, с сорок седьмого года на трудодень не получали». А работать не любят. Не хотят понять — теперь все от народа зависит.

Он оглянулся на седого мужика, молча слушавшего разговор, и сказал:

— Ты, папаша, не сердись. Не выполняете вы трудового долга, а государство к вам лицом повернулось.

— Куда им, — сказал прораб. — Сознательности никакой, каждый день кушать хотят.

Разговор этот ничем не кончился, как и большинство вагонных и невагонных разговоров. В купе заглянул, блестя золотыми зубами, майор авиации и с укором сказал молодым людям:

— Что же это вы, товарищи? А работать кто будет?

И они пошли к соседям доигрывать пульку.

Но вот и прошла огромная дорога... Пассажиры убирают в чемоданы тапочки, выкладывают на столики куски зачерствелого хлеба, обглоданные до голубизны куриные кости, куски побледневшей, окутанной шкурками колбасы.

Вот уже прошли хмурые проводницы, собиравшие мятые постельные принадлежности.

Скоро рассыплется вагонный мир. Забудутся шутки, лица, и смех, и судьба, случайно рассказанная, и случайно высказанная боль.

Все ближе огромный город, столица великого государства. И уж нет дорожных мыслей и тревог. Забыты беседы с соседкой в тамбуре, где перед глазами за мутными стеклами проносится великая русская равнина, а за спиной тяжело екает в резервуарах вода.

Тает возникший на несколько дней тесный вагонный мир, равный законами всем иным, созданным людьми мирам, прямолинейно и криволинейно движущимся в пространстве и времени.

Велика сила огромного города. Она заставляет сжиматься и беспечные сердца тех, кто едет в столицу гостить, рыскать по магазинам, сходить в зоопарк, планетарий. Всякий, попавший в силовое поле, где напряглись невидимые линии живой энергии мирового города, вдруг испытывает смятение, томление.

Экономист едва не пропустил очереди в уборную. Сейчас, причесываясь, он прошел на свое место и оглядел соседей.

Прораб дрожащими пальцами (немало было пито в дороге) перекладывал сметные листы.

Профсоюзный инспектор уже надел пиджак, притих, оробел, попав в силовое поле людского смятения, — что-то скажет ему желчная седая баба, ведающая инспекторами ВЦСПС.

Поезд проносится мимо бревенчатых деревенских домиков и кирпичных заводов, мимо оловянных капустных полей, мимо станционных платформ с серыми асфальтовыми лужами от ночного дождя.

На платформах стоят угрюмые подмосковные люди в пластмассовых плащах, надетых поверх пальто. Под серыми тучами провисают провода высоковольтных передач. На запасных путях стоят серые, зловещие вагоны: «Станция Бойня, Окружной дороги».

А поезд грохочет и мчится с какой-то злорадной, все нарастающей скоростью. Скорость эта сплющивает, раскалывает пространство и время.

Старик сидел у столика, смотрел в окно, подперев кулаками виски. Много лет назад юноша с лохматой, плохо расчесанной шевелюрой сидел вот так же у окна вагона третьего класса. И хотя исчезли люди, ехавшие вместе с ним в вагоне, забылись их лица, речи, в седой голове вновь ожило то, что, казалось, уж не существовало вовсе.

А поезд уже вошел в зеленый подмосковный пояс. Серый рваный дым цеплялся за ветви елей, прижатый токами воздуха, струился над дачными заборами. Как знакомы эти силуэты суровых северных елей, как странно выглядят рядом с ними голубой штакетничек, остроконечные дачные крыши, разноцветные стекла террас, клумбы, засаженные георгинами.

И человек, который за три долгих десятилетия ни разу не вспомнил, что на свете существуют кусты сирени, анютины глазки, садовые дорожки, посыпанные песком, тележки с газированной водой, — ахнул, убедившись еще раз, по-новому, что жизнь и без него шла, продолжалась.



## 2

Прочтя телеграмму, Николай Андреевич пожалел о чаевых, данных почтальону, — телеграмма, очевидно, предназначалась не ему, и вдруг он вспомнил, ахнул: телеграмма была от двоюродного брата Ивана.

— Маша! Маша! — позвал он жену.

Мария Павловна, взяв телеграмму, проговорила:

— Ты ведь знаешь, я без очков совершенно слепая, дай-ка мне очки. Вряд ли его пропишут в Москве, — сказала она.

— Ах, да оставь о прописке.

Он провел ладонью по бровям и сказал:

— Подумать, приедет Ваня и застанет одни могилы, одни могилы.

Мария Павловна задумчиво сказала:

— Как неудобно получается с Соколовыми. Подарок-то мы пошлем, но все равно нехорошо, ему ведь пятьдесят лет, особая дата.

— Ничего, я объясню.

— И с юбилейного обеда пойдет новость по всей Москве, что Иван вернулся и с вокзала прямо к тебе.

Николай Андреевич потряс перед ней телеграммой:

— Да ты понимаешь, кто такой Ваня для моей души?

Он сердился на жену: ерунда, с которой обращалась к нему Мария Павловна, возникла в его сознании еще до того, как жена заговорила с ним. Так не раз уж случалось. Оттого-то он вспыхивал, видя свои слабости в ней, но не понимал, что негодует не об ее несовершенствах, а о своих собственных. А отходил он в спорах с женой так легко и быстро потому, что любил себя; прощая ей, он прощал себя.

Сейчас и ему упорно лезла в голову глупая мысль о пятидесятилетии Соколова. И потому, что его потрясло известие о приезде двоюродного брата и его собственная жизнь, полная правды и неправды, встала перед ним, — ему стыдно было жалеть о парадном ужине у Соколовых, о симпатичном соколовском флаконе с водкой.

Он стыдился убогости своих соображений, — ведь и у него мелькнула мысль, что придется маяться с пропиской Ивана, мысль, что всей Москве станет известно о возвращении Ивана и событие это как-то да отзовется на его шансах при выборах в Академию...

А Мария Павловна продолжала мучить Николая Андреевича тем, что случайные и мнимые — не ставшие действительными — его мысли высказывала вслух, доводила до дневной очевидности.

— Странная ты, — проговорил он. — Мне кажется, было бы приятней получить эту телеграмму, когда тебя нет дома.

Слова эти были обидны для нее, но она знала, что Николай Андреевич сейчас обнимет ее и скажет: «Маша, Маша, вместе будем радоваться, с кем же, как не с тобой!»

И действительно так — а она стояла с выражением терпеливым и неприятным, означавшим: «От твоих ласковых слов удовольствия мне никакого нет, но я потерплю».

А уже после этого глаза их встретились, и чувство любви исправило все злое.

Двадцать восемь лет, не разлучаясь, прожили они, — трудно понять и разобраться, каковы отношения людей, проживших почти треть века вместе.

Теперь, седая, она подходила к окну, глядела, как он, седой, садился в автомобиль. А когда-то они обедали в столовке на Бронной.

— Коля, — тихо сказала Мария Павловна, — ведь Иван никогда не видел нашего Валю. Его посадили, Вали еще не было на свете, а теперь, когда он возвращается, Валя уже восемь лет в могиле.

И эта мысль поразила ее.

## 3

Николай Андреевич, ожидая двоюродного брата, думал о своей жизни и готовился покаяться в ней Ивану. Он представлял себе, как будет показывать Ивану дом. Вот в столовой текинский ковер, черт, посмотри,

красиво ведь? У Маши хороший вкус, не секрет от Ивана, кем был ее отец, а в старом Петербурге, слава богу, понимали толк в жизни.

Как говорить с Иваном? Ведь прошли десятилетия, жизнь прошла. Нет, о том и будет разговор, — не прошла жизнь! Только теперь начинается она!

Да, это будет встреча! Иван приезжает в удивительное время, сколько после смерти Сталина перемен. Они коснулись всех. И рабочих, и крестьян. Ведь хлеб появился! И вот Иван вернулся из лагеря. И не он один. И в жизни Николая Андреевича произошел многое определивший перелом.

Со студенческих лет Николай Андреевич испытывал на себе тяжесть неудачливости. Эта тяжесть была особенно мучительна тем, что казалась ему несправедливой. Он был образован, много работал, считался остроумным рассказчиком, в него влюблялись женщины.

Он гордился званием честного, принципиального человека, но вообще-то был чужд постному лицемерию, любил веселые анекдоты за ужином, отлично разбирался в сложной нумерации сухих вин и часто, пренебрегая вином, переходил на водку.

Когда знакомые хвалили характер Николая Андреевича, Мария Павловна, глядя на мужа веселыми, сердитыми глазами, говорила:

— Пожили бы с ним под одной крышей, вы бы узнали чудного Коленьку: деспот, псих, а эгоист такой, какого свет не видел.

Порой они невыносимо раздражали друг друга знанием всех слабостей, всех недостатков своих. Иногда даже казалось, что легче разойтись. Но это только казалось, видимо, жить друг без друга они не могли или, живя порознь, сильно страдали бы.

Мария Павловна влюбилась в Николая Андреевича еще школьницей, его голос, его большой лоб, большие зубы, его улыбка, — все, казавшееся тридцать лет назад удивительным и прекрасным, с годами становилось для нее все милее.

И он любил ее, но его любовь менялась, и то, что в их отношениях было когда-то главным, теперь отошло, а то, казавшееся не самым значительным, заняло главное место.

Мария Павловна была когда-то хороша — высокая, темноглазая. И теперь ее движения отличались легкостью, а глаза не теряли молодой прелести. Но и в молодости, а теперь особенно, прелесть ее лица портила улыбка, — при улыбке открывались большие, выдающиеся вперед нижние зубы.

Николай Андреевич со студенческих лет болезненно ощущал свою неудачливость. Не его тщательно подготовленные доклады, а торопливые сообщения рыжего Радионова либо пьянчужки Пыжова вызывали волнение участников студенческих семинаров...

Николай Андреевич стал старшим научным сотрудником в знаменитом научно-исследовательском институте, напечатал десятки работ, защитил докторскую диссертацию. Но только жена знала, какие терзания и унижения переживал Николай Андреевич.

Несколько человек, из которых один был академиком, двое занимали положение худшее, чем Николай Андреевич, а один даже не защитил кандидатской степени, были главной живой силой его науки. Эти люди ценили Николая Андреевича как собеседника, уважали его порядочность, но искренне, совершенно добродушно не считали его ученым.

Он постоянно ощущал атмосферу напряженности и восхищения, которая сопутствовала этим людям, особенно хромому Мандельштаму.

Однажды лондонский научный журнал написал о Мандельштаме: «Великий продолжатель дела создателей современной биологии». Когда Николай Андреевич прочел эту фразу, ему показалось: прочесть о себе такие слова и умереть от счастья.

Мандельштам вел себя нехорошо, — то он бывал угрюм и подавлен, то надменно объяснялся учительским тоном; выпив в гостях, он начинал осмеивать знакомых ученых, называл их бездарностями, а некоторых аферистами и жучками. Эта его черта очень раздражала Николая Андреевича, — ведь ругал Мандельштам тех, с кем дружил и у кого бывал дома. И Николай Андреевич думал, что, вероятно, где-нибудь в другом доме, сидя в гостях, Мандельштам именует и Николая Андреевича жучком и бездарностью.



Раздражала его и жена Мандельштама — толстая, когда-то бывшая красивой женщина, любившая, казалось, лишь азартные карточные игры да научную славу своего хромого мужа.

И в то же время он тянулся к Мандельштаму, говорил, что таким, особенным, людям нелегко бывает в жизни.

Но когда Мандельштам снисходительно поучал Николая Андреевича, тот злился, страдал и ругал, придя домой, Мандельштама выскочкой.

Мария Павловна считала своего мужа человеком большого таланта. Николай Андреевич рассказывал ей о снисходительном безразличии корифеев к его работам, и все яростней становилась ее вера в него. Ее восхищение, ее вера были необходимы ему как водка пьянице. Они считали, что есть люди, которым везет, и есть такие, которым не везет, а в общем-то все одинаковы. Вот Мандельштам отмечен особым везением, какой-то Вениамин Счастливый в биологической науке, а Радионов подобно оперному тенору окружен поклонниками, правда, сходства с оперным тенором у курносого, скуластого Радионова не было никакого. Казалось, и Исааку Хавкину везет, хотя Хавкину не утвердили кандидатской степени, в научные институты его по подозрению в витализме не брали даже в самые тихие времена, и он, уже седой человек, работал в районной санитарно-бактериологической лаборатории, ходил в порванных брюках. Но вот к нему ездят толковать академики, и он в жалкой лаборатории ведет научную работу, о которой многие говорят и спорят.

Когда началась кампания по борьбе с вейсманистами, вирховианцами, менделистами — Николай Андреевич был огорчен суровостью мер, принятых против многих его товарищей по работе. И он, и Мария Павловна расстроились, когда Радионов не пожелал признать свои ошибки. Радионова уволили, и Николай Андреевич, ругая его за бессмысленное донкихотство, устраивал ему переводы с английского.

Пыжова обвинили в низкопоклонстве перед Западом, отправили работать в опытную лабораторию в Чкаловскую область. Николай Андреевич писал ему, посылал книги, а Мария Павловна соорудила для его семьи посылку к Новому году.

В газетах стали печататься фельетоны, разоблачавшие карьеристов, жуликов, мошеннически получивших дипломы и ученые степени; врачей, преступно жестоко обращавшихся с больными детьми и роженицами; инженеров, строивших вместо больниц и школ дачи для своей родни. Почти все разоблаченные в фельетонах были евреями, и газеты с особой старательностью приводили их имена и отчества: «Сруль Нахманович... Хаим Абрамович... Израиль Менделевич...» Если в рецензии критиковалась книга, написанная евреем, носящим русский литературный псевдоним, то рядом в скобках печаталась еврейская фамилия автора. Казалось, в СССР одни лишь евреи воруют, берут взятки, преступно равнодушны к страданиям больных, пишут порочные и халтурные книги.

Николай Андреевич видел, что фельетоны эти нравятся не только дворникам и пьяным пассажирам пригородных электричек. Его эти фельетоны возмущали, но в то же время он раздражался против своих друзей евреев, относившихся к этим писулькам так, словно пришел конец света. Они жаловались, что талантливую еврейскую молодежь не принимают в аспирантуру, что евреев не принимают на физический факультет университета, не берут на работу в министерства, в тяжелую да и в легкую промышленность, что кончивших вуз евреев засылают на особо далекую периферию. Говорили, что под сокращения попадали почти всегда одни лишь евреи.

Конечно, все это действительно было, но евреям мерещился какой-то грандиозный государственный план, обрекавший их на голод, вырождение, гибель. А Николай Андреевич считал, что суть дела просто в неприязненном отношении к евреям части партийных и советских работников и что отделы кадров и вузовские приемочные комиссии никаких инструкций по поводу евреев не получают. Сталин не был антисемитом и, вероятно, не знал об этих делах.

Да и не одни только евреи пострадали, досталось и старцу Чурковскому, и Пыжову, и Радионову.

Мандельштама, возглавлявшего научную часть института, сделали сотрудником в том же отделе, где работал Николай Андреевич. Он все же

мог продолжать работу, а докторская степень давала ему возможность получать большое жалованье.

Но после того, как в «Правде» появилась редакционная без подписи статья о театральных критиках-космополитах — Гурвиче, Юзовском и других, издевавшихся над русским театром, началась широкая кампания по разоблачению космополитов во всех областях искусства и науки, и Мандельштама объявили антипатриотом. Кандидат наук Братова написала в стенной газете статью: «Иван, не помнящий родства»; она начиналась словами: «Из дальних странствий возвратясь, Марк Самуилович Мандельштам предал забвению принципы русской советской науки...»

Николай Андреевич поехал к Мандельштаму домой, тот был тронут, печален, и его надменная жена уж не казалась такой надменной. Они пили водку, Мандельштам ругал матерными словами Братову — свою ученицу, запустив руки в волосы, горевал, почему его учеников, талантливых мальчиков евреев, гонят из науки.

— Что ж, им в палатках галантереей торговать? — спрашивал он.

— Да не нужно волноваться, будет работа у всех, и у вас, и у Хавкина, и даже у лаборантки Анечки Зильберман, — шутливо сказал Николай Андреевич. — образуется, у всех будет хлеб, да еще с икоркой.

— Боже мой, — сказал Мандельштам, — разве речь об икорке, речь о человеческом достоинстве.

Но насчет Хавкина Николай Андреевич ошибся, с Хавкиным дело повернулось в плохую сторону. Вскоре после того, как в газетах появилось сообщение о врачах-убийцах, Хавкина арестовали.

Сообщение о том, что ученые медики, артист Михоэлс совершили чудовищные преступления, потрясло всех. Казалось, черный туман стоит над Москвой и заползает в дома, в школы, заползает в человеческие сердца.

В заметке «Хроника» на четвертой газетной полосе было сказано, что все обвиняемые врачи признали на следствии свою вину, — значит, нет сомнения — они преступники.

И все же это казалось немыслимым, трудно было дышать, заниматься своим делом, зная о том, что профессора, академики стали убийцами Жданова и Щербакова, отравителями.

Николай Андреевич вспоминал милого Вовси, замечательного актера Михоэлса, и казалось невероятным, немыслимым преступление, в котором их обвиняли.

Но ведь они признались! Если они не виновны, а признали себя виновными, надо предполагать другое преступление, еще более ужасное, чем то, в котором их обвиняли, — преступление против них.

Даже думать об этом было страшно. Надо было обладать отвагой, чтобы усомниться в их вине, — ведь тогда преступники — руководители социалистического государства, тогда преступник Сталин.

Знакомые врачи рассказывали, что работать в больницах и поликлиниках стало мучительно тяжело. Больные под влиянием ужасных официальных сообщений сделались подозрительными, многие отказывались лечиться у врачей евреев. Лечащие врачи рассказывали, что от населения поступает масса жалоб и доносов на умышленно недобросовестное лечение. В аптеках покупатели подозревали фармацевтов в попытках подсунуть им ядовитые лекарства; в трамваях, на базарах, в учреждениях рассказывали, что в Москве закрыто несколько аптек, в которых аптекари евреи — агенты Америки — продавали пилюли с высушенными вшами; рассказывали, что в родильных домах заражают новорожденных и рожениц сифилисом, а в зубоврачебных амбулаториях прививают больным рак челюсти и языка. Рассказывали о спичечных коробках со смертельно ядовитыми спичками. Некоторые люди вспоминали обстоятельства смерти давно умерших родственников, писали заявления в органы безопасности с требованием расследований и привлечения к ответственности евреев врачей. Особенно печально было, что всем этим слухам верили не только дворники, полуграмотные и полупьяные грузчики и шоферы, но и некоторые доктора наук, писатели, инженеры, студенты.

Эта всеобщая подозрительность казалась Николаю Андреевичу невыносимой. Лаборантка — большеносая Анна Наумовна — приходила на работу бледная, с сумасшедшими, расширенными глазами; однажды она рассказала, что ее квартирная соседка, работавшая в аптеке, по рассеянности отпустила больному не то лекарство, и когда ее вызвали для объяснений, охваченная ужасом, покончила самоубийством, оставив двух сирот — дочь, студентку музыкального техникума, и сына школьника. Анна Наумовна теперь ходила на работу пешком — в трамваях пьяные затевали с ней разговоры о евреях врачах, убивших Жданова и Щербакова.



Николай Андреевич испытывал гадливое чувство к новому директору института Рыськову. Рыськов говорил, что пора очистить русскую науку от нерусских имен, однажды сказал: «Пришел конец жидовской синагоге, если бы вы только знали, как я их ненавижу».

И в то же время Николай Андреевич не мог преодолеть невольной радости, когда Рыськов сказал ему: «Ценят вашу работу товарищи в Цека, работу большого русского ученого».

Мандельштам уж не работал в институте, а устроился методистом в учебном комбинате. Николай Андреевич приглашал его к себе, заставлял жену звонить Мандельштаму по телефону; Мандельштам стал нервен, подозрителен, и Николай Андреевич был рад, что Марк Самуилович оттягивал их встречи, они становились все тягостней. В такое время приятней встречаться с жизнерадостными людьми.

Когда Николай Андреевич узнал об аресте Хавкина, он, оглянувшись на телефон, шепотом сказал жене:

— Я убежден в невиновности Исаака, знаю его тридцать лет.

Она вдруг обняла его, погладила по голове.

— Горжусь я тобой, — сказала она, — сколько души ты тратишь на Хавкина и Мандельштама, и только я знаю, сколько обиды они тебе причинили.

А время было трудное. Николаю Андреевичу пришлось выступить на митинге о врачах-убийцах, говорить о бдительности, о ротозействе и благодушии.

После митинга Николай Андреевич разговорился с сотрудником сектора физической химии профессором Марголиным, тоже выступившим с большой речью. Марголин требовал смертной казни для преступников врачей, огласил текст приветствия Лидии Тимашук, разоблачившей врачей-убийц и награжденной орденом Ленина. Этот Марголин был силен в марксистской философии, он руководил занятиями по изучению четвертой главы «Краткого курса».

— Да, Самсон Абрамович, — сказал Николай Андреевич, — трудное времечко. И мне нелегко, но каково вам выступать на эти темы?

Марголин поднял тонкие брови и, вытянув тонкую, бледную нижнюю губу, спросил:

— Простите, я не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду?

— Да так, вообще, — сказал Николай Андреевич. — Ну, знаете, Вовси, Этингер, Коган, кто бы мог предположить, я лежал у Вовси в клинике, персонал его любил, а больные верили, как Магомету.

Марголин поднял худое плечо, пошевелил бескровной бледной ноздрей, сказал:

— А, понял, вы считаете, что мне, еврею, неприятно клеймить этих извергов? Наоборот, именно мне особенно омерзителен еврейский национализм. А если евреи, тяготея к Америке, становятся препятствием в движении к коммунизму, то мне не только себя, родной дочери не жалко.

Николай Андреевич понял, что зря заговорил о любви ротозеев больных к Вовси, — уж если человек родной дочери не жалеет, то с ним следует говорить чеканными формулировками.

И Николай Андреевич сказал:

— Еще бы, обреченность врага — в нашем морально-политическом единстве.

Да, это было тяжелое время, и лишь одно утешало Николая Андреевича — работа его шла хорошо.

Он словно впервые вырвался из узкого цехового пространства и вторгся в живые области, куда его раньше не допускали. Люди стали тянуться к нему, искали его советов, радовались его отзывам. Обычно равнодушные редакции научных журналов начали проявлять интерес к его статьям; как-то ему звонили из ВОКСа — учреждения, которое никогда не обращалось к Николаю Андреевичу, и попросили прислать рукопись еще

не оконченной книги,— ВОКСу хотелось заранее поставить вопрос об издании ее в странах народной демократии.

Николай Андреевич по-особому, глубоко, волнуясь, воспринимал приход успеха. Мария Павловна была спокойней его. С Коленькой случилось лишь то, что не могло, по мнению Марии Павловны, не случиться.

А перемен в жизни Николая Андреевича становилось все больше. Новые люди, возглавлявшие институт и выдвигавшие Николая Андреевича, все же не нравились ему, кое-что отталкивало его от них: их грубость и необычайная самоуверенность, их манера обзывать научных противников низкопоклонниками, космополитами, агентами капитала, наймитами империализма. Но он умел видеть в новых людях главное — дерзость, силу.

Неправ был, кстати, Мандельштам, назвавший их безграмотными идиотами, «догматическими жеребцами». В них не узость была, а страсть, целеустремленность, идущая к жизни и рожденная жизнью. Потому они и ненавидели талмудистов, абстрактных теоретиков.

И они, новые начальники в институте, чувствуя в Николае Андреевиче человека с иными взглядами, привычками, все же относились к нему хорошо, доверяли ему, русскому человеку! Он получил теплое письмо от Лысенко, тот высоко оценивал его рукопись, предлагал ему сотрудничать.

Николай Андреевич плохо относился к лысенковским теориям, но письмо от знаменитого академика-агронома было ему приятно. Да и работы Лысенко не следовало огульно отрицать. Да и слухи о том, что он очень опасен для своих научных противников и любит прибегать к полицейским аргументам и доносам в научных спорах, видимо, были преувеличены.

Рыськов предлагал Николаю Андреевичу выступить с научным развенчанием изгнанных из биологической науки космополитов. Николай Андреевич отказывался, хотя видел недовольство директора,— тому хотелось, чтобы общественность услышала гневный голос беспартийного русского ученого.

А в это время ходили слухи, что в Восточной Сибири спешно строится огромный барачный город. Говорили, что эти бараки строятся для евреев. Их вышлют так же, как уже выселили калмыков, крымских татар, болгар, греков, немцев Поволжья, балкарцев и чеченцев.

Николай Андреевич понял, что зря сулил Мандельштаму бутерброды с икрой.

Он волновался, ожидая процесса врачей-убийц. Утром он оглядывал газетные листы — не началось ли? Так же, как и все, он гадал, будет ли процесс открытым, и часто спрашивал жену:

— Как ты думаешь, процесс будут публиковать изо дня в день, с прокурорской речью, с допросами, с последним словом подсудимых, или дадут только сообщение о приговоре Военной коллегии?

Под страшным секретом Николаю Андреевичу однажды рассказали, что врачей казнят всенародно на Красной площади, после чего по стране, видимо, прокатится волна еврейских погромов и что к этому времени приурочивается высылка евреев в тайгу и в Каракумы на строительство Туркменского канала. Эта высылка будет предпринята в защиту евреев от справедливого, но беспощадного народного гнева.

В этой высылке скажется вечно живой дух интернационализма, который, понимая гнев народа, все же не может допустить массовых самосудов и расправ.

Как и все, что совершалось в стране, и это стихийное возмущение против кровавых преступлений евреев было заранее задумано, запланировано.

Вот так же задумывались Сталиным выборы в Верховный Совет — заранее собирались объективки, назначались депутаты, а затем уж планово шло стихийное выдвижение кандидатов, агитация за них, и наконец наступали всенародные выборы. Вот так же назначались бурные митинги протеста, взрывы народного гнева и проявления братской дружбы, вот так же за много недель до праздничных парадов утверждались репортажи с Красной площади: «В эту минуту я гляжу на мчащиеся танки...» Вот так же заранее назначалась личная инициатива Изотова, Стаханова, Дуси Виноградовой, массовые вступления в колхозы, назначались и отменялись легендарные герои гражданской войны, назначались требования рабочих



выпускать займы, требования работать без выходных, вот так же назначалась всенародная любовь к вождю, заранее назначались тайные агенты заграницы, диверсанты, шпионы, а затем уж в процессе сложных перекрестных допросов подписывались протоколы, в которых еще недавно не подозревавшие о своей принадлежности к контрреволюционному охвостью бухгалтеры, инженеры, юрисконсульты признавались в многогранной террористической шпионской деятельности. Вот так же назначались великие писатели, любимые народом, вот так же назначались тексты писем, которые матери деревянными голосами зачитывали перед микрофоном, обращаясь к своим сыновьям солдатам; вот так же планировался заранее патриотический порыв Ферапонта Головатого; вот так же назначались участники свободных дискуссий, если почему-либо нужны были свободные дискуссии, заранее составлялись и согласовывались речи участников этих свободных дискуссий.

И вдруг пятого марта умер Сталин. Эта смерть вторглась в гигантскую систему механизированного энтузиазма, назначенных по указанию райкома народного гнева и народной любви.

Сталин умер беспланово, без указаний директивных органов. Сталин умер без личного указания самого товарища Сталина. В этой свободе, своенравии смерти было нечто динамитное, противоречащее самой сокровенной сути государства. Смятение охватило умы и сердца.

Сталин умер! Одних объяло чувство горя — в некоторых школах педагоги заставляли школьников становиться на колени и сами, стоя на коленях, обливаясь слезами, зачитывали правительственное сообщение о кончине вождя. На траурных собраниях в учреждениях и на заводах многих охватывало истерическое состояние, слышались безумные женские выкрики, рыдания, некоторые падали в обморок. Умер великий бог, идол двадцатого века, и женщины рыдали.

Других объяло чувство счастья. Деревня, изнывающая под чугунной тяжестью сталинской руки, вздохнула с облегчением.

Ликование охватило многомиллионное население лагерей.

...Колонны заключенных в глубоком мраке шли на работу. Рев океана заглушал лай служебных собак. И вдруг словно свет полярного сияния замерцал по рядам: Сталин умер! Десятки тысяч законвоированных шепотом передавали друг другу: «Подох... подох...» и этот шепот тысяч и тысяч загудел, как ветер. Черная ночь стояла над полярной землей. Но лед на Ледовитом океане был взломан, и океан ревел.

Немало было ученых людей и рабочих людей, соединивших при этом известии горе и желание плясать от счастья.

Смятение пришло в тот миг, когда радио передало бюллетень о здоровье Сталина: «Дыхание Чейн-Стокса... моча... пульс... кровяное давление...» Обожествленный владыка вдруг обнаружил свою старческую немощную плоть.

Сталин умер! В этой смерти был элемент свободной внезапности, бесконечно чуждой природе сталинского государства.

Эта внезапность заставила содрогнуться государство, как содрогнулось оно после внезапности, обрушившейся на него 22 июня 1941 года.

Миллионы людей хотели видеть усопшего. В день похорон Сталина не только Москва, но и области, районы устремились к Дому союзов. Очередь периферийных грузовиков вытянулась на многие километры.

Затор движения достиг Серпухова, затем паралич сковал шоссе между Серпуховом и Тулой.

Миллионные пешие толпы шли к центру Москвы. Потоки людей, подобно черным хрустким рекам, сталкивались, расплющивались о камень, корежили, кромсали машины, срывали с петель чугунные ворота.

В этот день погибли тысячи. День коронации царя на Ходынке померк по сравнению с днем смерти земного русского бога — рябого сына сапожника из городка Гори.

Казалось, люди шли на гибель в состоянии очарованности, в христианской, буддийской, мистической обреченности. Словно бы Сталин — великий чабан — добирал недобранных овечек, посмертно выбрасывал элемент случайности из своего грозного генерального плана.

Собравшись на заседание, соратники Сталина читали чудовищные сводки московской милиции, моргов и переглядывались. Их растерянность

была связана с новым для них чувством — отсутствием ужаса перед неминуемым гневом великого Сталина. Хозяин был мертв.

Пятого апреля Николай Андреевич разбудил утром жену, отчаянно крикнул:

— Маша! Врачи не виноваты! Маша, их пытали!

Государство признало свою страшную вину — признало, что к заключенным врачам применялись недозволенные методы на допросах.

После первых минут счастья, светлой душевной легкости Николай Андреевич неожиданно ощутил какое-то незнакомое, впервые в жизни пришедшее мутное, томящее чувство.

Это было новое, странное и особое чувство вины за свою душевную слабость, за свое выступление на митинге, за свою подпись под коллективным письмом, клеймящим врачей извергов, за свою готовность согласиться с заведомой неправдой, за то, что это согласие рождалось в нем добровольно, искренне, из глубины души.

Правильно ли он жил? Действительно, как все вокруг считают, был он честен?

В душе все силилось, росло покаянное, томящее чувство.

В тот час, как божественно непогрешимое государство покаялось в своем преступлении, Николай Андреевич почувствовал его смертную земную плоть, — у государства, как и у Сталина, были сердечные перебои, белок в моче.

Божественность, непогрешимость бессмертного государства, оказывается, не только подавляли человека, они и защищали его, утешали его немощь, оправдывали ничтожество; государство перекладывало на свои железные плечи весь груз ответственности, освобождало людей от химеры совести.

И Николай Андреевич почувствовал себя словно бы раздетым, словно бы тысячи чужих глаз смотрели на его голое тело.

И самое неприятное, что и он стоял в толпе, смотрел на себя голого, вместе со всеми разглядывал свои по-бабьи свисающие цицьки, мятый, раздавшийся от большой еды живот, жирные ливерные складки на боках.

Да, у Сталина оказались перебои и нитевидный пульс, государство, оказывается, выделяло мочу, и Николай Андреевич оказался голым под своим коверкотовым костюмом.

Ох, и неприятным оказалось это саморазглядывание: неимоверно паскудным был мерзостный список.

В него вписались и общие собрания, и заседания Ученого совета, и торжественные праздничные заседания, и лабораторные летучки, и статейки, и две книги, и банкеты, и хождения в гости к плохим и важным, и голосования, и застольные шутки, и разговоры с завотделами кадров, и подписи под письмами, и прием у министра.

Но в свитке его жизни было немало и иных писем: тех, что не были написаны, хотя бог велел их написать. Было молчание там, где бог велел сказать слово, был телефон, по которому обязательно надо было позвонить и не было позвонено, имелись посещения, которые грех было не совершить и которые не были совершены, были непосланные деньги, телеграммы. Многого, многого не было в списке его жизни.

И нелепо было теперь, голому, гордиться тем, чем он всегда гордился, — что никогда не донес, что, вызванный на Лубянку, отказался давать компрометирующие сведения об арестованном сослуживце, что, столкнувшись на улице с женой высланного товарища, он не отвернулся, а пожал ей руку, спросил о здоровье детей.

Чем уж гордиться...

Вся его жизнь состояла из великого послушания, и не было в ней непослушания.

Вот и с Иваном — три десятилетия Иван скитался по тюрьмам и лагерям, и Николай Андреевич, всегда гордившийся тем, что не отрекся от Ивана, ни разу за эти десятилетия не написал ему письма. Когда Иван написал Николаю Андреевичу, Николай Андреевич попросил ответить на его письмо старуху тетку.

Все это раньше казалось естественным и вдруг затревожило, заскребло.



Вспомнилось ему, что на митинге, созванном в связи с процессами 1937 года, он голосовал за смертную казнь для Рыкова, Бухарина.

17 лет он не вспоминал об этих митингах и вдруг вспомнил о них.

Странным, безумным казалось в то время, что профессор горного института, фамилию которого он забыл, и поэт Пастернак отказались голосовать за смертную казнь Бухарину. Ведь сами злодеи признались на процессе. Ведь их публично допрашивал образованный, университетский человек Андрей Януарьевич Вышинский. Ведь не было сомнения в их вине, ни тени сомнения!

Но вот теперь-то Николай Андреевич вспомнил, что сомнение было. Он лишь делал вид, что не было сомнения. Ведь даже будь он в душе уверен в невиновности Бухарина, он все равно бы голосовал за смертную казнь. Ему было легче не сомневаться и голосовать, вот он и притворился перед самим собой, что не сомневался. А не голосовать он не мог, он ведь верил в великие цели партии Ленина-Сталина.

Он ведь верил, что впервые в истории построено социалистическое общество без частной собственности, что социализму необходима диктатура государства. Усомниться в виновности Бухарина, отказаться голосовать значило усомниться в могучем государстве, в его великих целях.

Но ведь и в этой святой вере, где-то в глубине души, жило сомнение.

Социализм ли это — вот с Колымой, с людоедством во время коллективизации, с гибелью миллионов людей? Ведь бывало, что совсем другое лезло в тайную глубину сознания, — уж очень бесчеловечен был террор, уж очень велики страдания рабочих и крестьян.

Да, да, в преклонении, в великом послушании прошла его жизнь, в страхе перед голодом, пыткой, сибирской каторгой. Но был и особенно подлый страх — вместо зернистой икры получить кетовую. И этому икорному, подлому страху служили юношеские мечты времен военного коммунизма, — лишь бы не сомневаться, лишь бы без оглядки голосовать, подписывать. Да, да, страх за свою шкуру, как бы не содрали с живого ее, и страх потерять зернистую икорку питал его идейную силу.

И вдруг государство дрогнуло, пробормотало, что врачей пытали. А завтра государство признает, что пыткам подвергли Бухарина, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Пятакова, что Максима Горького не убили враги народа. А послезавтра государство признает, что миллионы крестьян были зря погублены.

И окажется, что не всесильное, непогрешимое государство берет на себя все содеянное, а отвечать приходится Николаю Андреевичу, а он-то уж не сомневался, он за все голосовал, подо всем подписывался. Он научился так хорошо, ловко притворяться перед самим собой, что никто, никто и он сам не замечали этого притворства. Он искренне гордился своей верой и своей чистотой.

Мучительное чувство, презрение к самому себе — минутами бывали так велики, что у него возникал горький, пронзительный упрек к государству — зачем, зачем оно призналось! Лучше бы молчало! Оно не имело права признаться, пусть все остается по-прежнему.

Каково-то было профессору Марголину, который заявил, что не только врачей-убийц, но и собственных детей-жиденят он готов умертвить ради великого дела интернационализма.

Невыносимо брать на свою совесть многолетнюю покорную подлость.

Но постепенно тяжелое чувство стало успокаиваться. Все, казалось, изменилось и в то же время, оказывается, не изменилось.

Работать в Институте стало несравненно легче, спокойнее. Особенно это почувствовалось, когда Рыськов вызвал недовольство высших инстанций своей грубостью и был снят с поста директора.

Успех, о котором Николай Андреевич мечтал, наконец, пришел, — это был не ведомственный, не министерский, а настоящий, большой успех. Он чувствовался во многом — в журнальных статьях, в высказываниях участников научных конференций, в восхищенных взглядах научных сотрудниц и лаборанток, в письмах, которые стал он получать.

Николай Андреевич был выдвинут в Высший Ученый совет, а вскоре президиум Академии утвердил его научным руководителем Института.

Николай Андреевич хотел вновь привлечь изгнанных космополитов и идеалистов, но оказалось невозможным переспорить начальника отдела

кадров, милую и хорошенькую, но чрезвычайно упрямую женщину. Единственно, что удалось сделать,— это предоставить уволенным нештатную работу.

И теперь, глядя на Мандельштама, Николай Андреевич думал,— неужели об этом жалком и беспомощном человеке, приносящем в Институт пачки переводов и аннотаций, несколько лет назад писали за границей как о крупнейшем, чуть ли не великом ученом? Неужели его одобрения так страстно жаждал Николай Андреевич?

Раньше Мандельштам одевался неряшливо, а теперь приходил в Институт в своем лучшем костюме.

Николай Андреевич пошутил по этому поводу, и Мандельштам сказал: «Актер без ангажемента должен быть всегда хорошо одет».

И вот теперь, вспоминая прошлую жизнь, странно, горько и радостно было думать ему о встрече с Иваном.

В семье когда-то установился взгляд, что Ваня превосходит всех своих сверстников и по уму, и в талантах,— и сам Николай Андреевич уверился в этом, собственно, не уверился, в глубине души совсем не уверился, но покорствовал.

Ваня с легкой быстротой прочитывал математические и физические книжищи, разбирался в них, не по-ученически покорно, а всегда по-своему, странно. С детских лет он обнаруживал способности к лепке, умел довольно живо передать в глине подмеченные в жизни выражение лица, странный жест, особенность движения. Рядом с интересом к математике, и это было уж совсем необычайно, в нем жила тяга к Древнему Востоку, он хорошо знал литературу о парфянских рукописях и памятниках.

С детства в характере его странно сочетались, казалось, никогда не объединявшиеся в одном человеке черты.

Маленьким реалистиком он в драке разбил в кровь своему противнику голову, и его двое суток продержали в участке. А вместе с тем он был робок, застенчив, чувствителен и у него имелась в закуте под домом больница, где жили убогие животные,— собака с отрубленной лапой, слепой кот, печальная галка с выдернутым крылом.

Студентом Иван так же странно соединял в себе деликатность, доброту, застенчивость с безжалостной резкостью, заставлявшей даже близких людей таить на него обиду.

Возможно, эти особенности характера и привели к тому, что не оправдал Иван надежд,— жизнь его сломалась, а уж он сам доломал ее до конца.

В двадцатые годы многие способные молодые люди не смогли учиться из-за своего социального происхождения,— детей дворян, царских военных, священников, фабрикантов и торговцев не принимали в вузы.

Ивана приняли в университет,— он происходил из трудовой интеллигентной семьи. Легко прошел он жестокую университетскую чистку по классовому признаку.

И случись Ивану сейчас начать жизнь, нынешние трудности, связанные с пятым пунктом анкеты, с национальностью, никак бы не коснулись его.

Но начни свою жизнь Иван теперь, он, вероятно, бы снова пошел путем неудач.

Значит, дело было не во внешних обстоятельствах. Неудачная, горькая судьба Ивана зависела от Ивана.

В университете он в кружке по изучению философии вел жестокие споры с преподавателем диамата. Споры продолжались, пока кружок не прикрыли.

Тогда Иван выступил в аудитории против диктатуры — объявил, что свобода есть благо, равное жизни, и что ограничение свободы калечит людей подобно ударам топора, обрубающим пальцы, уши, а уничтожение свободы равносильно убийству. После этой речи его исключили из университета и выслали на три года в Семипалатинскую область.

С тех пор прошло около 30 лет, и за эти десятилетия Иван, пожалуй, не больше года был на свободе. В последний раз Николай Андреевич видел его в 1936 году, незадолго до нового ареста, после которого он уж без перерывов провел 19 лет в лагерях.

Долго помнили его товарищи детства и студенческих лет, говорили:



«Быть бы Ивану теперь академиком», «Да, был он все же особый человек, но, конечно, не повезло ему». А некоторые говорили: «Все же он сумасшедший».

Аня Замковская, любовь Ивана, помнила о нем, пожалуй, дольше других.

Но время сделало свое дело, и Аня, теперь уж болезненная, седеющая Анна Владимировна, не спрашивала при встречах об Иване.

Из сознания людей, из их горячих и холодных сердец он ушел, существовал скрытно, все трудней появлялся в памяти знавших его.

А время работало не торопясь, добросовестно,— человек сперва выписался из жизни, перекочевал в память к людям, потом и в памяти потерял прописку, ушел в подсознание и теперь возникал редко, как ванька-встанька, пугал неожиданностью своего внезапного, секундного появления.

А время все работало да работало свою на редкость простую земляную работу, и Иван уж занес ногу, чтобы перебраться из темного погребка подсознания своих друзей на постоянное жительство в небытие, в вечное забвение.

Но пришло новое, послесталинское время, и судьба судила Ивану шагнуть вновь в ту самую жизнь, которая уж утратила и мысль о нем, и зрительный его образ.

## 4

Он пришел лишь к вечеру.

В этой встрече смешались и досада о перестоявшемся богатом обеде, и тревога, и восклицания о седой голове, морщинах, о прожитой жизни. И увлажнились глаза Николая Андреевича — так в глинистых сухих оврагах вдруг зашумит послегрозовая вода, и заплакала Мария Павловна, вновь хороня сына.

Не сходны были с миром паркетных полов, книжных шкафов, картин, люстр — темное морщинистое лицо, ватник, неловко ступавшие солдатские ботинки человека из лагерного царства.

Подавляя волнение, глядя затуманенными слезами глазами на двоюродного брата, Иван Григорьевич сказал:

— Николай, прежде всего вот что: у меня к тебе не будет никаких просьб — ни о прописке, ни о деньгах и обо всем прочем. Кстати, я уже в бане побывал, зверья не занесу.

Николай Андреевич, утирая слезы, стал смеяться.

— Седой, в морщинах, и тот же, тот же, наш Ваня.

И он сделал в воздухе округлый жест, а затем проткнул этот воображаемый круг пальцем.

— Невыносимый, прямой, как оглобля, и вместе с тем, черт тебя знает, добрый.

Мария Павловна посмотрела на Николая Андреевича,— она утром доказывала мужу, что Ивану Григорьевичу лучше помыться в бане, в ванне никогда так не помоешься, да и после мытья Ивана ванну не отмоешь ни кислотой, ни щелоком.

В пустом разговоре была не только пустота,— улыбки, взгляды, движения рук, покашливание, все это помогало раскрывать, объяснять, понимать наново.

Николаю Андреевичу очень хотелось рассказать о себе, хотелось больше, чем вспоминать детство и перечислять умерших родных, больше, чем расспрашивать Ивана. Но так как он был воспитан, то есть умел делать и говорить не то, что хотелось, он сказал:

— Надо бы нам поехать куда-нибудь на дачу, где нет телефонов, и слушать тебя неделю, месяц, два.

Иван Григорьевич представил себе, как, сидя в дачном кресле и попивая винцо, он стал бы рассказывать о людях, ушедших в вечную тьму. Судьба многих из них казалась так пронзительно печальна, и даже самое нежное, самое тихое и доброе слово о них было бы как прикосновение шершавой, тупой руки к обнажившемуся растерзанному сердцу. Нельзя было касаться их.

И, качая головой, он сказал:

— Да, да, да — сказки тысячи и одной полярной ночи.

Он был взволнован. Где же он, Коля: тот ли, в потертой сатиновой рубахе, с английской книжкой под мышкой, веселый, остроумный и услужливый, или этот — с большими мягкими щеками, с восковой лысиной?

Всю жизнь был Иван сильным. Всегда к нему обращались с просьбой объяснить, успокоить. Иногда даже обитатели уголовной лагерной «Индии» просили его слова. Однажды ему удалось приостановить поножовщину между ворами и «суками». Его уважали разные люди — и инженеры-вредители, и оборванный старик кавалергард, и деникинский подполковник — мастер лучковой пилы, и минский врач-гинеколог, обвиненный в еврейском буржуазном национализме, и крымский татарин, роптавший, что его народ с берегов теплого моря изгнан в тайгу, и колхозник, смыливший в колхозе мешок картошки, с расчетом не вернуться после отбытия срока в колхоз, получить по лагерной справке шестимесячный городской паспорт.

Но в этот день ему хотелось, чтобы чьи-то добрые руки сняли с его плеч тяжесть. И он знал, что была одна лишь сила, перед которой и чудно и хорошо ощутить себя малым и слабым, — сила матери. Но давно не было у него матери, и некому было снять с него тяжесть.

Николай Андреевич испытывал странное чувство, совершенно невольно возникшее.

В ожидании Ивана он с умилением думал о том, что будет с ним до конца искренен, как ни с кем в жизни. Ему хотелось исповедаться перед Иваном во всех страданиях совести, со смирением рассказать о горькой и подлой слабости своей.

Пусть Ваня судит его, если может, поймет, если может — простит, а не поймет, не простит, что ж, бог с ним. Он волновался, слезы застилали глаза, когда он повторял про себя некрасовские строки:

Сын пред отцом преклонился,
Ноги омыл старику...

Ему хотелось сказать двоюродному брату: «Ваня, Ванечка, дико, странно, но я завидую тебе, завидую тому, что в страшном лагере ты не должен был подписывать подлых писем, не голосовал за смертную казнь невинным, не выступал с подлыми речами...»

И вдруг, неожиданно возникло совершенно противоположное чувство, едва увидел он Ивана. Человек в ватнике, в солдатских ботинках, с лицом, изъеденным морозами и барачной махорочной духотой, показался ему чужим, недобрым, враждебным.

Такое чувство возникало у него во время заграничных поездок. За границей ему казалось немыслимым, невозможным говорить с холеными иностранцами о своих сомнениях, делиться с ними горечью пережитого.

Иностранцам он говорил не о тревогах своих, а лишь о главном и бесспорном, об исторических достижениях Советского государства. Он защищал от них себя, свою родину.

Мог ли он предполагать, что подобное чувство вызовет у него Иван? Почему? Отчего? Но именно так оно было.

Ему теперь казалось, что Иван пришел, чтобы перечеркнуть его жизнь. Вот Иван унизит его, заговорит с ним снисходительно, надменно.

И ему страстно захотелось втолковать, объяснить Ивану, что все изменилось и стало по-новому, что все старые оценки перечеркнуты и Иван повержен, разбит, что горькая судьба его не есть случайность. Да, да, седой неудачливый студент... Что за плечами его, что ждет его впереди?

И, должно быть, именно потому, что так страстно, упорно захотелось Николаю Андреевичу сказать все это Ивану, он сказал прямо противоположное:

— Удивительно, как это хорошо. В главном, Ваня, мы с тобой равны. И я хочу сказать тебе, — если у тебя появляется ощущение потерянных десятилетий, пропавшей жизни, теперь, когда ты встретишься с людьми, прожившими эти годы не в труде дровосека и землекопа, а писавших книги и прочее, — гони это ощущение! В главном, Ванечка, ты равен тем, кто двигал науку, успел в жизни и труде.

И он почувствовал, как задрожал от волнения его голос и сладко защемило сердце.



Он увидел смущение Ивана, увидел, как вновь затуманились слезами волнения глаза жены.

Ведь он любил Ивана, любил, всю жизнь любил его.

Мария Павловна никогда, казалось, так полно не ощущала душевную силу мужа, как в эти минуты, когда он хотел ободрить несчастного Ивана. Она-то ведь знала, кто победитель и кто побежденный.

Действительно странно, но даже в тот час, когда зисовская машина повезла Николая на Внуковский аэродром для полета в Индию, где он должен был представить премьеру Неру делегацию советских ученых, она не испытывала с такой глубиной своего жизненного торжества. Здесь оно было совсем особым — соединенным со слезами о погибшем сыне, с жалостью, с любовью к седому человеку в грубой обуви.

— Ваня, — сказала она, — я для вас приготовила целый гардероб, ведь вы с Колей одного роста.

Разговор о старых костюмах Мария Павловна затеяла не совсем вовремя, и Николай Андреевич сказал:

— Господи, да нужно ли говорить о таких пустяках. Конечно, Ваня, от всей души.

— Тут дело не в душе, — сказал Иван Григорьевич, — ты ведь раза в три обширнее меня.

Марию Павловну кольнул внимательный и как будто бы немного участливый взгляд Ивана. Видимо, то, что муж держался с особой скромностью, мешало Ване отделаться от старого снисходительного отношения к Николаю Андреевичу.

Иван Григорьевич выпил водки, и на лице его проступил темно-коричневый румянец.

Он спросил о старых знакомых.

Большинство его прежних друзей не встречались Николаю Андреевичу в течение десятилетий, многих уже не было в живых. Все, что связывало, — общие волнения, дела — ушло; разошлись дороги, отлетели сожаления и печаль, связанные с теми, кто ушел без права переписки и без возврата. Вспоминать о них Николаю Андреевичу не хотелось, как не хочется приближаться к одинокому засохшему стволу, вокруг которого одна лишь пыльная мертвая земля.

Ему хотелось говорить о тех, которых Иван Григорьевич не знал, — с ними были связаны события его жизни. Рассказывая о них, он как бы приступал к главному: рассказу о себе.

Да, именно в эти минуты надо избавиться от интеллигентского червячка, от ощущения виновности, незаконности того чудесного, что произошло с ним. Не каяться захотелось ему, а утверждать.

И он стал рассказывать о людях, добродушно презиравших его, не понимавших и не ценивших его, — о людях, которым он сегодня готов всей душой помочь.

— Коленька, — вдруг проговорила Мария Павловна, — ты скажи об Ане Замковской.

И муж и жена сразу же ощутили волнение Ивана Григорьевича.

Николай Андреевич сказал:

— Она ведь писала тебе?

— Последнее письмо было восемнадцать лет назад.

— Да, да, она замужем. Муж ее физико-химик, в общем, по этим самым атомным делам. Живут в Ленинграде, представь, в той же квартире, где она когда-то жила у родных. Мы ее встречаем обычно на отдыхе, осенью... Раньше она всегда спрашивала о тебе, а после войны, по правде говоря, перестала.

Иван Григорьевич покашлял, сипло проговорил:

— А я думал, что она умерла: перестала писать.

— Да, так о Мандельштаме, — сказал Николай Андреевич. — Ты помнишь старика Заозерского? Мандельштам был его любимым учеником. Заозерский рухнул в тридцать седьмом году, ездил человек за границу, широко, вольно встречался с эмигрантами и невозвращенцами, Ипатьевым, Чичибабиным... Да, так вот о Мандельштаме — он сразу пошел в гору, ну я уж рассказывал тебе финал, как его объявили космополитом и прочее... Все это чепуха, конечно, по правде говоря, с легкой руки Заозерско-

го он действительно весь был в своих европейских и американских научных связях.

Николай Андреевич подумал, что рассказывает обо всем этом не ради себя, а ради Ивана,— ведь Иван живет отжившими детскими представлениями, надо же его ввести в сегодняшний день. И тут же мелькнула мысль: «Господи, до чего же въелись в меня елей и лицемерие».

Он посмотрел на смирные, коричневые руки Ивана и начал объяснять:

— Ты, вероятно, неясно понимаешь эту терминологию — космополитизм, буржуазный национализм, значение пятого пункта в анкете. Космополитизм примерно соответствует участию в монархическом заговоре в эпоху первого конгресса Коминтерна. Хотя ведь ты видел в лагерях всех. Те, что приходили на смену снятым, тоже ведь снимались и становились твоими соседями по нарам. Но, думаю, теперь нам это не грозит — процесс замены завершен. Национальное из области формы в нашей жизни за эти десятилетия перешло в область содержания — грандиозно и просто. Но эту простоту не могут понять многие люди. Знаешь, если человека вышибают, он это не хочет воспринять как закономерность истории, а видит лишь нелепость, ошибку. Но факт остается фактом. Наши ученые, техники создали русские советские самолеты, русские урановые котлы и электронные машины, и этой суверенности должна соответствовать суверенность политическая — русское вошло в область содержания, в базис, в фундамент...

Он заговорил о том, как ненавидит черносотенцев. И одновременно он видит, что Мандельштам и Хавкин, люди, бесспорно, одаренные, способные, были ослеплены, им казалось, что все происходящее лишь юдофобство и ничего более. И также Пыжов, Радионов и другие не понимали, что тут дело не только в грубости и нетерпимости Лысенко, тут дело в национальной науке, которую эти новые люди утверждают.

На него смотрели внимательные глаза Ивана Григорьевича, и в душе Николая Андреевича шевельнулась тревога, такая, какая бывала в детстве, когда чувствуешь на себе грустный взгляд материнских глаз и неясно ощущаешь, что не так, как надо, не по-хорошему говоришь. Желая успокоить это неясное чувство, он рассуждал особенно веско, сердечно.

— Я прошел многие испытания, — печально и искренне сказал Николай Андреевич, — прошел в трудное, суровое время! Конечно, я не гудел, как герценовский колокол, не разоблачал Берию и сталинские ошибки; но бессмысленно даже говорить о подобном.

Иван Григорьевич опустил голову, и нельзя было понять, дремлет ли он, грезит о чем-то далеком или задумался над словами Николая Андреевича. Его руки дремали, его голова ушла в плечи. Вот так же сидел он вчера в поезде, слушая своих попутчиков.

Николай Андреевич сказал:

— Было мне худо и при Ягоде, и при Ежове, а теперь, когда нет Берии, и Абакумова, и Рюмина, и Меркулова, и Кобулова, — я встал по-настоящему на ноги. Я прежде всего сплю спокойно, не жду ночных гостей. Да и не я один. И невольно думаешь — не зря все же мы перенесли жестокое время. Родилась новая жизнь, и мы все посильные участники ее.

— Коля, Коля, — негромко сказал Иван Григорьевич.

Слова эти рассердили Марию Павловну. Она вместе с мужем заметила сострадательное и мрачное выражение лица гостя.

Она с упреком сказала мужу:

— Почему ты боишься сказать, что Мандельштам и Пыжов самовлюбленные люди? И нечего охать, что жизнь поставила их на место. Поставила — и слава богу.

Она упрекала мужа, но упрек ее был обращен к гостю. И, тревожась о своих резких словах, она сказала:

— Я сейчас приготовлю постель. Ваня очень устал, а мы не подумали об этом.

А Иван Григорьевич, уже зная, что не облегчение, а новую тяжесть принес ему приход к брату, хмуро спросил:

— Скажи-ка, ты-то подписал письмо, осуждающее врачей-убийц? Я об этом письме слышал в лагере от тех, кого все же успели сменить.

— Милый, чудак ты наш... — сказал Николай Андреевич и запнулся, замолчал.



Внутри у него все похолодело от тоски, и одновременно он чувствовал, что вспотел, покраснел, щеки его горели.

Но он не упал на колени, он сказал:

— Дружочек ты мой, дружочек ты мой, ведь и нам нелегко жилось, не только вам там, в лагерях.

— Да боже избави, — поспешно сказал Иван Григорьевич, — я не судья тебе да и всем. Какой уж судья, что ты, что ты... Наоборот даже...

— Нет, нет, я не об этом, — сказал Николай Андреевич, — я о том, как важно в противоречиях, в дыму, пыли, не быть слепым, видеть, видеть огромность дороги, ведь, став слепым, можно с ума сойти.

Иван Григорьевич виновато произнес:

— Да, понимаешь, беда моя, я, видно, путаю, зрение за слепоту принимаю.

— Где же мы Ваню положим, — спросила Мария Павловна, — где удобней ему будет?

Иван Григорьевич сказал:

— Нет, нет, спасибо, я не смогу у вас ночевать.

— Почему же? Где же еще? Маша, давай свяжем его!

Иван Григорьевич проговорил:

— Не надо меня связывать.

Николай Андреевич замолчал, нахмурился.

— Да вы простите, но совсем не то, вот не могу просто, совсем по-другому, — сказал Иван Григорьевич.

— Вот что, Ваня... — сказал Николай Андреевич и замолчал.

Когда Иван Григорьевич ушел, Мария Павловна оглядела стол, заставленный закусками, отодвинутые стулья.

— Приняли мы его по-царски, — сказала она. — Несмеяновых мы не лучше принимали.

И, правда, Мария Павловна, это изредка случается с людьми скупыми, на этот раз с широтой, превосходящей щедрость размашистых натур, приготовила богатый обед.

Николай Андреевич подошел к столу.

— Да, если человек безумен, то это на всю жизнь, — сказал он.

Она приложила ладони к его вискам и, целуя его в лоб, проговорила:

— Не огорчайся, не надо, неисправимый мой идеалист.

## 5

Иван Григорьевич проснулся на рассвете, лежа на полке бесплацкартного вагона, и прислушался к шуму колес, приоткрыл глаза, стал всматриваться в предутренний сумрак, стоявший за окном...

Несколько раз за двадцать девять лет заключения он видел во сне свое детство. Однажды ему приснилась маленькая бухта, — в спокойной воде, по мелким камешкам, устилавшим дно, боком пробежали подводной бесшумной походкой несколько крабиков и скрылись в водорослях... Он медленно ступал по округлым камням, ощущая ступней нежный подводный лен, и ртутной струйкой брызнули, рассыпались десятки удлиненных капелек — мальков скумбрии, ставридки... Солнце осветило зеленые подводные лужки, ельнички; казалось, не соленой водой, соленым светом была заполнена милая бухточка...

Этот сон приснился ему в эшелонной теплушке, и, хотя с той поры прошла четверть века, он помнил горе, охватившее его, когда увидел серый зимний свет и серые лица заключенных, услышал за стеной вагона скрип сапог по снегу, гулкое постукивание молотков охраны по днищу вагона.

Иногда он представлял себе дом, стоявший над морем, ветви старой черешни над крышей, колодец...

Он доводил свою память до мучительной остроты, и ему вспоминались блеск толстого листа магнолии, плоский камень посреди ручья. Он вспоминал тишину и прохладу комнат, обмазанных белой крейдой, рисунок скатерти. Он вспоминал, как читал, взобравшись с ногами на диван, — клеенка, покрывавшая диван, приятно холодила в жаркие летние дни. Иногда он пытался вспомнить лицо матери, и сердце его томилось, и он

хмурился, и на зажмуренных глазах выступали слезы, как бывало в детстве, когда пытаешься посмотреть на солнце.

Горы он вспоминал подробно и легко, точно листал знакомую книгу,— она сама открывается на нужной странице.

Продравшись среди кустов ежевики и кривушек карагачей, скользя по каменистой желто-серой, потрескавшейся земле, он добирался до перевала и, оглянувшись на море, входил в прохладную полутьму леса... Мощные дубы легко поднимали на своих толстых ветвях к самому небу холмы резной листвы, важная тишина стояла вокруг.

В середине прошлого века прибрежные места были населены черкесами.

Старичок грек, отец огородника Мефодия, мальчиком видел многолюдные черкесские аулы, сады.

После завоевания побережья русскими черкесы ушли, и жизнь в прибрежных горах заглохла. Среди дубов кое-где росли сгорбившиеся, вернувшиеся в лес сливовые деревья, груши и черешни, а персиков и абрикосов уже не было,— их короткий век прошел.

В лесу лежали закопченные хмурые камни, остатки разрушенных очагов, а на заброшенных кладбищах темнели могильные плиты, на половину своего роста погруженные в землю.

Все неживое—камни, железо—с годами всасывалось землей, растворялось в ней, а зеленая жизнь, наоборот, рвалась из земли. Томящей казалась мальчику тишина над холодными очагами. Как-то особенно мило, возвращаясь к дому, ощущал он запах кухонного дыма, лай собак, кудахтанье кур.

Однажды он подошел к матери, сидевшей с книжкой у стола, и обнял ее, прижался головой к ее коленям.

— Ты нездоров?—спросила она.

— Нет, я здоров, я так рад,—бормотал он, целуя платье матери, ее руки, и расплакался.

Он не мог объяснить маме свое чувство,—ему казалось, в лесном сумраке кто-то жалуется, ищет исчезнувших людей, заглядывает за деревья, прислушивается к голосам черкесских пастухов, плачу младенцев, потягивает носом—не пахнет ли дымком, горячими лепешками...

И почему-то не только радостно, но и стыдно было ему ощущать прелесть родного дома, вернувшись из леса...

Из его объяснений, казалось ему, мать ничего не поняла, она проговорила:

— Глупый ты мой, как тебе будет трудно жить с таким чувствительным, ранимым сердцем...

За ужином отец переглянулся с матерью, сказал:

— Ваня, ты, вероятно, знаешь, что раньше наше Сочи называлось Пост Даховский, а поселки в горах именовались — Первая Рота, Вторая Рота...

— Знаю,—сказал он и капризно засопел.

— Это стоянки русских войск, они шли не только с ружьями, но и с топорами, лопатами, прорубали дорогу сквозь заросли, где жили дикие, жестокие горцы.

Отец почесал себе бороду и добавил:

— Прости за высокопарность—прорубали дорогу для России, вот и мы здесь поселились... Я вот способствовал устройству школ, а, скажем, Яков Яковлевич насаждал виноградники, сады, а другие строили тут больницы, прокладывали шоссе. Прогресс требует жертв, а о неминуемом плакать нечего. Ты понял, к чему я?

— Понял,—ответил Ваня,—но сады тут были и до нас, они теперь одичали.

— Да, да, друг мой,—сказал отец,—когда лес рубят, щепки летят. И, кстати, черкесов не гнали отсюда, они сами ушли в Турцию. Они могли остаться и приобщиться к русской культуре. А в Турции они бедствовали и многие из них погибли...

Прожитое вспоминалось ему,— ему снилась родная земля, слышались знакомые голоса, и дворовая собака с глазами, красными от старческих слез, поднималась к нему навстречу.



Он просыпался под гул таежного океана, над которым катила зимняя вьюга.

И вот теперь шли дни его вольной жизни, и он все ждал возвращения чего-то хорошего, молодого.

В это утро он проснулся в поезде с чувством безысходного одиночества. Вчерашняя встреча с двоюродным братом наполнила его горечью, а Москва оглушила и подавила его. Громады высотных зданий, потоки машин, светофоры, толпы, идущие по тротуарам, все это было чужим, странным. Город казался ему огромным дрессированным механизмом,— то замиравшим по красному сигналу, то вновь двигающимся по зеленому... Россия много видела великого за тысячу лет своей истории. А за советские годы страна увидела и всемирные военные победы, и огромные стройки, и новые города, и плотины, преграждающие течение Днепра и Волги, и каналы, соединяющие моря, и мощь тракторов, и небоскребы... Лишь одного не видела Россия за тысячу лет—свободы.

Он поехал троллейбусом на московский Юго-Запад. Там, среди деревенской грязи, непросохших сельских прудов, выросли огромные восьми- и десятиэтажные корпуса. Деревенские избы, огородики, сараюшки доживали свой век, сжатые огромным наступлением камня и асфальта.

В хаосе, среди рева пятитонок, угадывались будущие улицы новой Москвы. Иван Григорьевич бродил в возникающем городе, где не было еще мостовых и тротуаров, где люди добирались к своим домам по тропинкам, юлящим среди груд мусора. Повсюду на домах имелись одни и те же вывески: «Мясо» и «Парикмахерская». В сумерках вертикальные вывески «Мясо» горели красным огнем, вывески «Парикмахерская» светились пронзительной зеленью.

Эти вывески, возникшие вместе с первыми жильцами, как бы раскрывали плотоядную суть человека.

Мясо, мясо, мясо... Человек жрал мясо. Без мяса человек не мог. Здесь не было еще библиотек, театров, кино, пошивочных, не было даже больниц, аптек, школ, но сразу, тотчас же, среди камня красным огнем светилось: мясо, мясо, мясо...

И тут же изумруд парикмахерских вывесок. Человек ел мясо и обрастал шерстью.

Ночью он пришел на вокзал и узнал, что в два часа отходит последний поезд на Ленинград, купил билет, взял вещи из камеры хранения.

Он удивился чувству покоя, когда очутился в холодном, пустом вагоне.

Поезд шел по московским предместьям, мелькали в окне темные осенние рощицы и поляны, и Ивану Григорьевичу стало легче оттого, что он ускользает из московской электрической, каменной и автомобильной громады и не слушает рассказа двоюродного брата о разумном ходе истории, расчистившей место для Николая Андреевича.

На полированной скамейке, как на воде, блеснул блик фонаря проводницы.

— Папаша, билет есть?

— Есть, я предъявлял.

Годами думал он о часе, когда, выйдя на свободу, встретится с двоюродным братом, единственным в мире человеком, знавшим его детство, его мать и отца. Но он не удивился покою и легкости в вагоне ночного поезда.

Утром он проснулся с таким полным ощущением одиночества, какого, казалось ему, не может пережить дышащее земным воздухом существо.

Он ехал в город, где прошли его студенческие годы, где жила его любовь.

Когда много лет назад она перестала писать ему, он оплакивал ее,— он не сомневался, что только смерть могла прервать их переписку. Но она жила, она была жива...

## 6

Иван Григорьевич провел в Ленинграде три дня. Он дважды подходил к университету, ездил на Охту, в Политехнический, разыскивал улицы, где жили его знакомые, и не находил этих улиц, домов, разрушенных

во время блокады, а иногда находил и улицы, и дома, но на черных досках, висевших в подворотнях, не было знакомых фамилий.

Идя знакомыми местами, он иногда был спокоен, рассеян, окруженный тюремными лицами, лагерными разговорами, а иногда, пронзенный юношескими воспоминаниями, стоял перед знакомым домом, на знакомом перекрестке. Он был в Эрмитаже и ушел из него со скукой и холодом. Неужели картины были так хороши все те годы, пока он превращался в лагерного старика? Почему не менялись они, почему не постарели лица дивных мадонн, не ослепли от слез их глаза? Может быть, в вечности и неизменности не могущество их, а слабость? Может быть, в этом измена искусства человеку, породившему его?

Однажды сила внезапного воспоминания была особенно пронзительна. А воспоминание казалось случайным и незначительным: как-то он помог пожилой хромой женщине внести корзину на четвертый этаж и, сбежав вниз по темной лестнице, вдруг ахнул от счастья, — весна, лужи, мартовское солнце. Он подошел к дому, где жила Аня Замковская, и ему казалось немыслимым вновь увидеть высокие окна и гранитную облицовку стен, белеющий в полутьме мрамор ступеней, металлическую сетку вокруг лифта. Сколько раз вспоминал он этот дом. Он провожал Аню после ночных прогулок, стоял и ждал, пока в ее окне зажжется свет. Она говорила ему: «Если ты слепым обрубком вернешься с войны, я буду счастлива в своей любви».

Иван Григорьевич увидел цветы на полуоткрытом окне. Он постоял у подъезда и пошел дальше. Сердце его билось ровно — там, за проволокой, женщина, казавшаяся ему умершей, была ближе его душе, чем сегодня, когда он стоял под ее окном.

Он узнавал и не узнавал город, многое казалось таким неизменным, словно несколько часов назад Иван Григорьевич проходил этими улицами, а многое возникло вновь — дома и улицы, а многое исчезло, а вместо исчезнувшего не появилось ничего.

Но Иван Григорьевич не понимал, что не только город изменился, изменился и сам Иван Григорьевич, его интерес, его ищущий взгляд стал иным.

Он теперь видел в городе то, чего раньше не видел; он словно переселился с одного этажа жизни на другой. Перед ним теперь открылись барахолки, отделения милиции, паспортные столы, забегаловки, отделы найма, объявления о вербовке рабочей силы, больницы, комнаты для транзитных пассажиров... А мир театральных афиш, филармоний, букинистических магазинов, стадионов, университетских аудиторий, читальных и выставочных залов исчез для него, ушел в четвертое измерение.

Ведь для хронического больного существуют в городе одни лишь аптеки да больницы, диспансеры да ВТЭКи. А для выпивающего город построен из полулитра на троих. А для влюбленного город состоит из стрелок городских часов, определяющих сроки свиданий, скамеек на бульварах, двухкопеечных монет для телефона-автомата.

Когда-то на этих улицах всюду были знакомые лица, окна товарищей светились по вечерам. А ныне с тюремной койки ему улыбались знакомые глаза и бледные губы шепотом говорили:

— Иван Григорьевич, привет!

Здесь, в этом городе, он когда-то знал в лицо продавцов книжных и продуктовых магазинов, и газетчиков в киосках, и папиросниц.

На Воркуте к нему подошел вертух-надзиратель и сказал:

— А я тебя знаю, ты был на пересылке в Омске.

Сегодня в многотысячной ленинградской толпе он не видел знакомых и не было у него знакомства с незнакомыми. В широком общем облике лиц произошло большое изменение.

Видимые и невидимые связи исчезли, порвались — их рвало время, массовые высылки после убийства Кирова, их рвали бури, их засыпало снегом и пылью Казахстана, блокадным мором, и их не стало — он шел один, чужой...

Движение миллионов масс привело к тому, что светлоглазые и скуластые районные люди заполнили улицы Ленинграда, а в лагерных бараках то и дело встречались Ивану Григорьевичу картавые печальные петербуржцы.



Невский и деревянная бревенчатая районная житуха пошли навстречу друг другу, смешались не только в автобусах и квартирах, но и на страницах книг и журналов, в конференц-залах научных институтов.

Дух лагерной казармы ощутил Иван Григорьевич, глядя в окна ленинградской милиции, слушая за роскошным столом речи своего двоюродного брата, рассматривая вывеску паспортного отдела... Ему мерещилось, что колючая проволока уже не нужна и запроволочная жизнь уравнена в сокровенной сути своей с лагерным бараком.

Хаотически бурлил, булькал, кряхтел огромный котел, охваченный пламенем, дымом, паром, и каждому из многих казалось, что именно он понимает закон кипения большого котла, знает, как заварили кашу и кому ее есть.

Вновь стоял Иван Григорьевич в своих солдатских ботинках перед божественно босым, увенчанным венком всадником. Тридцать лет назад юношей он проходил здесь, и полон мощи был бронзовый Петр. Вот, наконец, и встретил Иван Григорьевич знакомого.

Казалось, ни тридцать лет назад и ни сто тридцать лет назад, когда Пушкин привел на эту площадь своего героя, не был дивный Петр так велик, как сегодня. Уж не было в мире силы огромней, чем та, которую он вобрал в себя и выразил, — величественной силы дивного государства. Она росла, поднималась, царила над полями, над фабриками, над письменными столами поэтов и ученых, над стройками каналов и плотин, над каменоломнями, над лесозаводами и лесосеками, в своем могуществе способная овладеть и громадой пространств, и сокровенными глубинами сердца зачарованного человека, несущего ей в дар свою свободу, само желание свободы.

— Санкт-Петербург, санпропускник, Санкт-Петербург, санпропускник, — повторял Иван Григорьевич.

Эти два слова нелепо сошлись, выражая связь между великим всадником и лагерным оборванцем.

Ночевал Иван Григорьевич на вокзале, в комнате для транзитных пассажиров. Он тратил в день не больше полутора — двух рублей и не торопился уезжать из Ленинграда.

На третий день он столкнулся со знакомым человеком, которого часто вспоминал во время своей лагерной жизни.

Они сразу узнали друг друга, хотя нынешний Иван Григорьевич ничем не походил на университетского третьекурсника, а встретившийся ему Виталий Антонович Пинегин в сером плаще и фетровой шляпе не был схож с молодым человеком в заношенном студенческом кительке.

Увидев лицо остолбеневшего Пинегина, Иван Григорьевич проговорил:

— Ты, видно, меня числил в мертвецах?

Пинегин развел руками.

— Да уж лет десять назад говорили, что будто ты того...

Он смотрел живыми и умными глазами в самую глубину взора Ивана Григорьевича.

— Ты не беспокойся, — сказал Иван Григорьевич, — я не с того света и не беглый, что еще гаже. Я, как ты, с паспортом и прочим.

Слова эти возмутили Пинегина.

— Встречая старого товарища, я не интересуюсь его паспортом.

Он достиг высоких степеней, но остался в душе славным малым.

О чем бы ни говорил он, о своих сыновьях, о том, «как ты здорово переменился, а я все же сразу тебя узнал», глаза его зачарованно и жадно следили за Иваном Григорьевичем.

— Да вот, в общих словах... — проговорил Пинегин. — Что же тебе еще рассказать?

«А ты бы лучше рассказал...» — и на мгновение Пинегин замер, но Иван Григорьевич, конечно, ничего такого не сказал.

— А о тебе я ведь ничего не знаю, — проговорил Пинегин.

И снова ожидание, не ответит ли Иван Григорьевич:

«Ты ведь сам, когда надо было, умел обо мне рассказывать, что уж мне о себе рассказывать».

Но Иван Григорьевич помолчал и махнул рукой.

И Пинегин вдруг понял: ничего Ванька не знает и знать не мог.

Нервы, нервы... И надо же было именно сегодня послать машину на техосмотр. Как-то недавно он вспомнил об Иване и подумал, — вдруг кто-либо из родственников добьется его посмертной реабилитации. Перевод из мертвых душ в живые! И вот среди бела дня Иван, Ванечка. И тридцать лет отбыл, и в кармане, наверное, бумага: «За отсутствием состава преступления».

Он снова посмотрел в глаза Ивану Григорьевичу и окончательно понял, что тот ничего не знал. Ему стало стыдно за свои сердечные перебои, за холодный пот, ведь вот, вот, готов был занюнить, заголосить.

И чувство уверенности, что Иван не плюнет ему в лицо, не спросит с него, наполнило Пинегина светом. С какой-то не совсем ясной ему самому благодарностью он проговорил:

— Слушай, Иван, по-простому, по-рабочему, мой батька ведь кузнецом был, — может быть, тебе деньги нужны? Уж, поверь, по-товарищески, от всей души.

Иван Григорьевич без упрека, с живым и печальным любопытством посмотрел в глаза Пинегину, и Пинегину на одну секунду, только на одну секунду, даже не на две, показалось: и ордена, и дачу, и власть, и силу, и красавицу жену, и удачных сыновей, изучающих ядро атома, — все, все можно отдать, лишь бы не чувствовать на себе этого взгляда.

— Что ж, будь здоров, Пинегин, — сказал Иван Григорьевич и пошел в сторону вокзала.

## 7

Кто виноват, кто ответит...

Надо подумать, не надо спешить с ответом.

Вот они — фальшивые инженерские и литературные экспертизы, речи, разоблачающие врагов народа, вот они — задушевные разговоры и дружеские признания, переложенные в донесения и рапорты сексотов-стукачей, информаторов.

Доносы предшествовали ордеру на арест, сопутствовали следствию, отражались в приговоре. Эти мегатонны доносной лжи, казалось, определяли имена людей в списках раскулаченных, лишаемых голоса, паспорта, ссылаемых, расстреливаемых.

На одном конце цепи два человека беседовали за столом и отхлебывали чай, затем при свете лампы под уютным абажуром писалось интеллигентное признание либо на колхозном собрании по-простому говорил речь активист; а на другом конце цепи были безумные глаза, отбитые почки, расколотый пулей череп, цинготные мертвецы в лагерном бревенчато-земляном морге, отмороженные в тайге гнойные и гангренозные пальцы на ногах.

Вначале было слово... Воистину так.

Как быть с погубителями — доносчиками?

Вот вернулся после двенадцатилетнего лагеря человек с трясущимися руками, с запавшими глазами мученика: Иуда-первый. И среди друзей его прошел шепоток — говорят, он в свое время плохо вел себя на допросах. Некоторые с ним перестали раскланиваться. Те, кто поумней, при встречах с ним вежливы, но в дом к себе не зовут. Те, что еще умней, шире, глубже, и в дом к себе зовут, но в душу не пускают, закрыли ее перед ним.

Все они с дачами, со сберкнижками, с орденами, машинами. Конечно, он худой, а они толстые, но они действительно не вели себя плохо на допросах. Собственно, они и не могли подличать на допросах — их не допрашивали. Им повезло: их не арестовывали. В чем же действительное, истинное, душевное превосходство этих толстых перед этим худым? Ведь и он мог быть толстым, и они могли быть худыми. Случай или закон определил их судьбу?

Он был обыкновенным человеком. Он пил чай, ел яичницу, любил беседовать с друзьями о прочитанных книгах, ходил во МХАТ, иногда проявлял доброту. Был он, правда, очень впечатлителен, нервен, не было в нем самоуверенности.

А на человека крепко нажали. На него не только кричали, его и били, и спать не давали, и пить не давали, а кормили селедочкой и стращали смертной казнью. И все же, что ни говори, он совершил страшное дело — оклеветал невинного. Правда, тот, оклеветанный, посажен не был, а он, которого принудили клеветать, отбыл безвинно 12 лет лагерной каторги, вернулся чуть живым, сломленным, нищим, доходягой. Но ведь оклеветал!



Не будем спешить, подумаем всерьез об этом доносчике.

Но вот Иуда-второй. Этот и дня не провел в заключении. Он слыл умницей и златоустом, и вот вернувшиеся из лагеря чуть живые люди рассказали, что он сексот. Он способствовал гибели многих людей. Он годами вел задушевные разговоры со своими друзьями, а затем составлял письменные заметы и сдавал их по начальству. Из него пыткой показаний не выколачивали, он сам проявлял находчивость, незаметно подводил собеседников к опасным темам. Двое оклеветанных им не вернулись из лагеря, один был расстрелян по приговору военной коллегии. Те, что вернулись, привезли список болезней, по каждой из которых жестокий ВТЭК дает инвалидность первой группы.

А он-то нажил брюшко, славился как гастроном и знаток грузинских вин. И работал он в области изящного, был, между прочим, собирателем уникальных изданий старинной поэзии.

Но не будем спешить, подумаем, прежде чем выносить приговор.

Он ведь с детских лет без памяти испугался, — отец его, богатый человек, умер в 1919 году в концлагере от сыпного тифа, тетка эмигрировала с мужем генералом в Париж, старший брат воевал на стороне добровольцев. С детства в нем жил ужас. Мать до дрожи боялась милиции, управдома, старшего по квартире, делопроизводителей из горсовета. Каждый день и каждый час он и родня его чувствовали свою классовую ограниченность и классовую порочность. Учась в школе, он трепетал перед секретарем ячейки; миловидная пионервожатая Галя, казалось, смотрела на него с гадливостью, как на неприкасаемого червя. Его ужасало, что она заметит его влюбленный взгляд.

И кое-что становится понятным. Его зачаровала сила нового мира, он, словно пташка, всматривался славными своими глазенками в сияющие очи всесветной нови. Ему так хотелось приобщиться, сподобиться. Вот новь и приобщила его к себе. Воробушек и не пикнул, не трепыхнул крылышками, когда грозному миру понадобились ум его и присущий ему шарм. Он все принес на алтарь отечества.

Все это верно, конечно. Но ведь подлец, какой оказался подлец! И ведь, стуча, себя не забывал — сладко ел, нежился. И все же очень уж он был незащищенный, такому с нянечкой, с женушкой. Ну где ему было справиться с силищей, которая полмира согнула, всю империю вывернула наизнанку. А он со своей трепетной тонкостью был как кружевцо, чуть к нему не так прикоснешься — он весь терялся, в глазах жалобное выражение.

И вот, оказалось, смертельная болотная гадючка подкатывалась кольчиком, и много муки от нее досталось людям.

И ведь губил таких же, как сам, — многодавних своих друзей, милых, скрытных, умных, робких. Он один имел к ним ключик. Он ведь все понимал — плакал, читая чеховского «Архиерея».

И все же подождем, подумаем, не подумавши, не станем казнить его.

А вот и новый товарищ — Иуда-третий. У него отрывистый голос, с хрипотцой, боцманский. Взгляд испытующий, спокойный. В нем уверенность хозяина жизни. То бросят его на идеологическую работу, то в плодоовощ. Анкетные данные его снежной белизны, сами светятся. Родня — станковые рабочие и беднейшее столбовое крестьянство.

В 1937 году человек этот с лета, с маху написал больше двухсот доносов. Многообразен его кровавый список. Комиссары времен гражданской войны, поэт-песенник, директор чугунолитейного завода, два секретаря райкома, старый беспартийный инженер, три редактора — один газетный, два издательских, заведующий закрытой столовой, преподаватель философии, зав. парткабинетом, профессор ботаники, слесарь из домоуправления, два сотрудника облземотдела... Всех не перечислишь.

Все его доносы сочинены на советских людей, а не на бывших, жертвы его — члены партии, участники гражданской войны, активисты. Он осо-

бо специализировался на партийцах фанатического склада — резво сек их смертельной бритвой по глазам.

Мало кто вернулся из двухсот — одни расстреляны, другие накрылись деревянбушлатом, погибли от дистрофии, расстреляны при лагерных чистках; вернувшиеся, душевно и физически искалеченные, кое-как дотягивают свое вольное существование.

А для него 1937 год стал порой виктории. Он ведь был не шибко грамотным, востроглазым парнюгой, все вокруг оказались сильнее его и по образованности, и по героическому прошлому. Ни очка не причиталось ему с тех, кто затеял и совершил революцию. Но с какой-то фантастической легкостью от одного его прикосновения валились десятки людей, овеянных революционной славой.

С тридцать седьмого года он и пошел круто вверх. В нем-то и оказалась благодать, драгоценнейшая суть нови.

Вот с ним уж, кажется, все ясно — на костях, на страшных муках, стало быть, этот депутат и член бюро.

Но нет, нет, не следует спешить, надо разобраться, подумать, прежде чем произносить приговор. Ибо не ведал и он, что творил.

Старшие наставники именем партии однажды сказали ему:

«Беда! Мы окружены врагами! Они прикидываются испытанными партийцами, подпольщиками, участниками гражданской войны, но они враги народа, резиденты разведок, провокаторы...» Партия говорила ему: «Ты молод и чист, я верю тебе, парнишка, помоги мне, иначе погибну, помоги мне одолеть эту нечисть...»

Партия кричала на него, топала на него сталинскими сапогами: «Если ты проявишь нерешительность, то поставишь себя в один ряд с выродками, и я сотру тебя в порошок! Помни, сукин сын, ту черную избу, в которой ты родился, а я веду тебя к свету; чти послушание, великий Сталин, отец твой, приказывает тебе: «Ату их».

Нет, нет, он не сводил личных счетов... Он, сельский комсомолец, не верил в бога.

Но в нем жила другая вера — вера в беспощадность карающей руки великого Сталина. В нем жило безоглядное послушание верующего. В нем жила благодатная робость перед могучей силой, ее гениальными вождями Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным. Он, солдатик великого Сталина, поступал по велению его.

Но, конечно, в нем жила и биологическая неприязнь, инстинктивная, подспудная гадливость к людям интеллигентного, фанатичного революционного поколения, на которых его натравливали.

Он выполнял свой долг, он не сводил счетов, но он писал доносы и из чувства самосохранения. Он зарабатывал капитал, более драгоценный, чем золото и земельные угодья, — доверие партии. Он знал, что в советской жизни доверие партии — это все: сила, почести, власть. И он верил, что его неправда служит высшей правде, он прозревал в доносе истину.

Да можно ли винить его, когда и не такие головы не смогли разобраться — в чем же ложь, а в чем правда, когда и чистые сердца в бессилии недоумевали, что есть добро, а что есть зло.

Он ведь верил, точнее — хотел верить, точнее — не мог не верить. Чем-то это темное дело было ему неприятно, но ведь долг! Да и чем-то нравилось страшное дело ему, пьянило, затягивало. «Помни, — говорили ему наставники, — нет у тебя ни отца, ни матери, ни братьев и сестер, есть у тебя лишь партия».

И силилось странное, томящее чувство: в своем бездумье, в своем послушании он обретал не бессилие, а грозную мощь.

А в недобрых, генеральских глазах его, в его властном, отрывистом голосе нет-нет да мелькали тени совсем иной, тайно жившей в нем натуры — ошарашенной, обалделой, вскормленной и вспоенной веками русского рабства, азиатского бесправия...

Да-да, и здесь придется подумать. Ведь страшно казнить и страшного человека.

Но вот новый товарищ — Иуда-четвертый.

Он жилец коммунальных квартир, он мелко-средний служащий, он колхозный активист. Но кем бы он ни был, лицо его всегда одно: молод ли он, стар, безобразен, либо он статный и румяный русский богатырь — его тотчас можно узнать. Он мещанин, жадный до предметов, накопитель-фанатик материального интереса. Его фанатизм в добывании дивана-кровати, крупы гречки, серванта польского, стройматериалов дефицитных, мануфактуры импортной по силе своей равен фанатизму Джордано Бруно и Андрея Желябова.



Он создатель категорического императива, противоположного кантовскому, — человек, человечество всегда выступает для него в качестве средства при его охоте за предметами. В глазах его, светлых и темных, постоянно напряженное, обиженное и раздраженное выражение. Всегда ему кто-то наступил на ногу, и ему неизменно нужно с кем-то посчитаться.

Страсть государства к разоблачению врагов народа благодатна для него. Она словно широкий пассат, дующий над океаном. Его маленький желтый парус наполнен широким попутным ветром. И ценой страданий, выпадающих тем, кого он губит, он добывает нужное ему: дополнительную жилую площадь, повышение оклада, соседскую избу, польский гарнитур, утепленный гараж для своего «Москвича», садик...

Он презирает книги, музыку, красоту природы, любовь, материнскую нежность. Только предметы, одни лишь предметы.

Но и им не всегда руководят лишь материальные соображения. Он легко оскорбляется, его жгут душевные обиды.

Он пишет донос на сослуживца, танцевавшего с его супругой и вызвавшего в нем ревность, на высмеявшего его за столом остроумца и даже на случайно толкнувшего его в кухне соседа по квартире.

Две особенности отличают его: он доброволец, волонтер, его не пугали, не заставляли, он сам по себе доносит, стращать его не надо. Второе: он видит в доносе свою прямую, ясную выгоду.

И все же задержим поднятый для удара кулак!

Ведь его страсть к предметам рождена его нищетой. О, он может рассказать о комнате в восемь квадратных метров, где спят одиннадцать человек, где похрапывает паралитик, а рядом шуршат и стонут молодожены, бормочет молитву старуха, заходится плачем описавшийся младенец.

Он может рассказать о деревенском зелено-коричневом хлебе с толченым листом, о едином трехразовом московском супе из уцененной промерзшей картошки.

Он может рассказать о доме, где нет ни одного красивого предмета, о стульях с фанерками вместо сидений, о стаканах из мутного толстого стекла, об оловянных ложках и двузубых вилках, о латаном и перелатанном белье, о грязном резиновом плаще, под который в декабре надевают рваную стеганку.

Он расскажет об ожидании автобуса в утреннем зимнем мраке, о немыслимой трамвайной давке после страшной домашней тесноты...

Не звериная ли его жизнь породила в нем звериную страсть к предметам, к просторной берлоге? Не от звериной ли жизни озверел он?

Да, да, все это так. Но замечено, что ему-то жилось не хуже, чем другим, что хоть и плохо жилось ему, но лучше, чем многим и многим.

А вот эти многие и многие не сотворили того, что сотворил он. Подумаем, не торопясь, потом уж приговор.

---

ОБВИНИТЕЛЬ. Вы подтверждаете, что писали доносы на советских граждан?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ. Да, в некотором роде.

ОБВИНИТЕЛЬ. Вы признаете себя виновными в гибели невинных советских людей?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ. Нет. Категорически отрицаем. Государство заранее обрекло этих людей гибели, мы работали, так сказать, для внешнего обрамления. По существу, что бы мы ни писали, как бы мы ни писали, обвиняли или оправдывали, люди эти были обречены государством.

ОБВИНИТЕЛЬ. Но ведь иногда вы писали по своему свободному выбору. В таких случаях вы сами намечали жертву.

ДОНОСЧИКИ И СЕКСОТЫ. Эта наша свобода выбора кажущаяся. Люди уничтожались методом статистическим,— к истреблению готовились люди, принадлежащие к определенным социальным и идейным слоям. Мы знали эти параметры, ведь вы их тоже знали. Мы никогда не стучали на людей, принадлежащих к здоровому слою, не подлежащему уничтожению.

ОБВИНИТЕЛЬ. Так сказать, по-евангельски: падающего толкни. Однако же были случаи, даже в то суровое время, когда государство оправдывало оклеветанных вами.

ЗАЩИТНИК. Да, такие случаи действительно были — они следствие ошибки. Но ведь только бог не ошибается. Да и вспомните, как редки были случаи оправдания, значит, и редки были ошибки.

ОБВИНИТЕЛЬ. Да, доносчики и сексоты знали свое дело. Но все же ответьте мне, для чего вы стучали?

ДОНОСЧИКИ И СЕКСОТЫ (хором). Меня заставили... били... А меня загипнотизировал страх, мощь беспредельного насилия... Что касается меня, я выполнял свой партийный долг, как его в ту пору понимал.

ОБВИНИТЕЛЬ. А вы, четвертый товарищ, почему молчите?

ИУДА-ЧЕТВЕРТЫЙ. Я-то что, зачем вы ко мне придираетесь, я человек темный, меня легче, чем образованных, сознательных обидеть.

ЗАЩИТНИК (перебивая). Разрешите, я поясню. Мой клиент действительно доносил, преследуя личные цели. Однако учтите, в данном случае личный интерес не противоречит государственному. Государство не отклоняло доносов моего подзащитного, следовательно, он выполнял государственно полезное дело, хотя при первом, поверхностном взгляде может показаться, что он действовал лишь из эгоистических, личных побуждений. Теперь же вот что. В сталинские времена вас, обвинитель, самого обвинили бы в недооценке роли государства. Знаете ли вы, что силовые поля, созданные нашим государством, тяжелая, в триллионы тонн, масса его, сверхужас и сверхпокорность, которые оно вызывает в человеческой пушинке, таковы, что делают бессмысленными любые обвинения, направленные против слабого, незащищенного человека. Смешно винить пушинку в том, что она падала на землю.

ОБВИНИТЕЛЬ. Ваш взгляд мне ясен: вы не склонны, чтобы ваши подзащитные приняли на себя хотя бы самую малую долю вины. Только государство. Но скажите, сексоты и доносчики, неужели вы не признаете себя хотя бы в какой-либо мере виновными?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ (переглядываются, шепчутся, затем слово берет ученый сексот). Разрешите ответить. Ваш вопрос при внешней своей простоте не так уж прост. Прежде всего он лишен смысла, но это как раз не имеет значения. Действительно, к чему ныне искать виновных за преступления, совершенные в сталинскую эпоху? Это все равно, что, переселившись с Земли на Луну, возбудить тяжбу о земных приусадебных участках. С другой стороны, если считать, что эпохи не так уж далеки друг от друга и, как сказал поэт, в веках стоят почти что рядом,— возникает немало иных сложностей. Почему вам обязательно хочется обличить именно нас, слабеньких? Начните с государства, судите его. Ведь наш грех — это его грех, судите же его, бесстрашно, вслух. Вам иначе нельзя, как бесстрашно, вы ведь выступаете во имя правды. Ну, давайте же, действуйте.

Затем ответьте, пожалуйста, почему вы спохватились именно теперь? Всех нас вы знали при жизни Сталина. Отлично с нами встречались, ждали приема у дверей наших кабинетов, иногда что-то там воробьиными голосами шептали по нашему поводу. Так и мы ведь шептали воробьиным шепотом. Вы, как и мы, соучастники сталинской эпохи. Почему же вы, соучастники, должны судить нас, соучастников, определять нашу вину? Понимаете, в чем сложность? Может быть, мы и виноваты, но нет судьи, имеющего моральное право поставить вопрос о нашей виновности. Помните, у Льва Николаевича: нет в мире виноватых! А в нашем государстве новая формула — все, миром, виноваты, и нет в мире ни одного невиновного. Речь идет о мере, о степени вины. Пристало ли вам, товарищ прокурор, обвинять нас? Одни лишь мертвые, те, что не выжили, вправе судить нас. Но мертвые не задают вопросов, мертвые молчат. И вот разрешите на ваш вопрос ответить вопросом. По-человечески, просто, от души, по-русски. В чем причина этой пошлой всеобщей, вашей и нашей, поголовной слабости, податливости?



ОБВИНИТЕЛЬ. Вы отклонились от ответа.

(Входит секретарь, протягивает ученому сексоту пакет, говорит: «Правительственный».)

УЧЕНЫЙ СЕКСОТ (прочитав бумагу, протягивает ее обвинителю). Прошу вас: в связи с шестидесятилетием отмечены мои более чем скромные заслуги в отечественной науке.

ОБВИНИТЕЛЬ (прочтя бумагу). Не могу не порадоваться за вас, невольно как бы, ведь все мы — советские люди.

УЧЕНЫЙ СЕКСОТ. Да, да, естественно, спасибо. (Бормочет про себя.) Разрешите через вашу газету поблагодарить... учреждения, организации, а также товарищей и друзей...

ЗАЩИТНИК (становится в позу и произносит речь). Товарищ обвинитель и вы, господа присяжные заседатели! Товарищ прокурор сказал моему подзащитному, что он отклонился от ответа — признает ли он себя хоть в какой-либо мере виновным. Но и вы ведь ему не ответили — в чем причина нашей общей, поголовной податливости? Может быть, сама природа человека породила доносчиков, сексотов, информаторов, стукачей? Может быть, их порождают железы внутренней секреции, хлюпающая кашица в кишечнике, грохот желудочных газов, слизистые оболочки, деятельность почек, они рождаются из безглазых и безносых инстинктов питания, самосохранения, размножения?

Ах, не все ли равно — виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, растительная, минеральная, физико-химическая сторона человека. Вот из этой-то слизистой, обросшей шерстью, низменной стороны человеческой сути и рождаются стукачи. Государство людей не рождает. Стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки взбухли, ожили. Государство — земля. Если в земле не затаились зерна, не вырастут из земли ни пшеница, ни бурьян. Человек обязан лично себе за мразь человеческую.

Но знаете ли вы, что самое гадкое в стукачах и доносителях? Вы думаете, то плохое, что есть в них?

Нет! Самое страшное то хорошее, что есть в них, самое печальное то, что они полны достоинств, добродетели.

Они любящие, ласковые сыновья, отцы, мужья... На подвиги добра, труда способны они.

Они любят науку, великую русскую литературу, прекрасную музыку, смело и умно некоторые из них судят о самых сложных явлениях современной философии, искусства...

А какие среди них встречаются преданные, добрые друзья! Как трогательно навещают они попавшего в больницу товарища!

Какие среди них терпеливые, отважные солдаты, они делились с товарищем последним сухарем, щепоткой махорки, они выносили на руках из боя истекающего кровью бойца!

А какие среди них есть даровитые поэты, музыканты, физики, врачи, какие среди них умельцы — слесари, плотники, те, о которых народ с восхищением говорит: золотые руки.

Вот это-то и страшно: много, много хорошего в них, в их человеческой сути.

Кого же судить? Природу человека! Она, она рождает эти вороха лжи, подлости, трусости, слабости. Но она ведь рождает и хорошее, чистое, доброе. Доносчики и стукачи полны добродетели, отпустите их по домам, но до чего мерзки они: мерзки со всеми добродетелями, со всем отпущением грехов... Да кто же это так нехорошо пошутил, сказав: человек — это звучит гордо?

Да, да, они не виноваты, их толкали угрюмые, свинцовые силы. На них давили триллионы пудов, нет среди живых невиновных... Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и судье.

Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?

## 8

«Черт меня толкнул пешком ходить»,— повторял Пинегин. Ему не хотелось думать о том темном, плохом, что спало десятилетия и вдруг проснулось. Не в плохом поступке была суть, суть была в глупой случайности, что столкнула его с погубленным им человеком. Не столкнись они на улице, спящий бы не просыпался.

Спящий проснулся, и Пинегин, сам того не заметив, все меньше думал о глупой случайности, все больше тревожился и сокрушался: «Что ж, а ведь факт, ведь именно я на Ванечку стукнул, а можно было и обойтись, и сломал человеку позвоночник, черт бы его драл. Сейчас бы встретились — и все в порядке было. Эх, собака, такая дрянь в душе поднялась, словно я залез какой-то даме в сумочку, а она меня поймала за руку, а вокруг все мои референты, секретари, водитель; ох, ох, беда, прямо хоть не живи после такой дряни на свете.

Может быть, и вся моя жизнь одна сплошная подлость. Жить надо было совсем «по другому манеру».

И в нешуточном смятении Пинегин зашел в интуристский ресторан, где его давно знали и метр, и официанты, и швейцар.

Завидя его, два раздевальщика выбежали из-за барьера, пришептывая: «Пожалте, пожалте»,— и, похрапывая как жеребцы, в нетерпении тянулись к богатым пинегинским доспехам. Глаза у них были зоркие, хорошие глаза рысистых умных русских ребят из раздевалки интуристского ресторана, умевших точно запомнить, кто был да как одет, что сказал невзначай. Но уж к Пинегину с его депутатским значком они относились всей душой, открыто, почти как к непосредственному начальнику.

Пинегин не спеша, ощущая ногами податливую и одновременно упругую мягкость ковра, прошел в ресторанный зал. Торжественный сумрак стоял в высоком и просторном зале. Пинегин медленно вдохнул спокойный, одновременно прохладный и теплый воздух, оглядел столы, покрытые крахмальными скатертями; неярко поблескивали граненые вазочки с цветами, бокалы и рюмки. Он прошел в знакомый ему уютный угол под резную листву филодендрона.

Он шел между столиками с флажками многих держав мира, и казалось, что это линкоры и крейсеры, а он флагман — адмирал, принимающий парад.

И с этим помогающим жить чувством адмиральства он сел за столик, неторопливо потянулся к оливково-синей, добротной, как лауреатский диплом, обеденной карте и, раскрыв ее, углубил взор в раздел «Холодные закуски».

Просматривая названия, напечатанные на его родном языке и на прочих главнейших языках мира, он перелистнул звенящую картонную страницу, окинул взглядом раздел «Супы», пожевал губами и скосил взор на подотделы: «Блюда из мяса... Блюда из дичи».

И в тот миг, когда он затомился между мясом и дичью, официант, разгадав его раздвоение, произнес:

— Филе, вырезка, сегодня исключительное.

Пинегин долго молчал.

— Что ж, филе так филе,— сказал он.

Он сидел в полутьме и тишине с полузакрытыми глазами, и полновесная правота его жизни спорила со смятением и ужасом, вдруг воскресшими в нем, с огнем и льдом раскаяния.

Но вот тяжелый бархат, драпировавший дверь на кухне, зашевелился, и Пинегин определил по лысой голове официанта: «Мой».

Поднос плыл из полутьмы на Пинегина, и он видел розовато-пепельную лососину среди лимонных солнышек, смуглость икры, тепличную зелень огурцов, крутые бока водочного графинчика и боржомной бутылки.

Да и не был он уж таким гастрономом, и не так уж хотелось ему есть, но именно в эту минуту старый человек в ватнике вновь перестал тревожить его правоту.



## 9

Придя на вокзал, Иван Григорьевич почувствовал, что больше ни к чему бродить по ленинградским улицам. Он стоял в холодном высоком вокзальном здании и думал.

И, может быть, кое-кто из людей, проходивших мимо угрюмого старика, глядевшего на черную доску-расписание, подумал: вот он стоит, лагерный русский человек на распутье, гадает, выбирает дорогу.

Нет, он не выбирал дороги.

Десятки следователей на протяжении его жизни понимали, что он не был ни монархистом, ни эсером, ни эсдеком, не участвовал ни в троцкистской, ни в бухаринско-рыковской оппозиции. Он не принадлежал ни к новой, ни к старой церкви, ни к адвентистам седьмого дня.

На вокзале, думая о тяжелых днях в Москве и Ленинграде, он вспомнил разговор с лежавшим рядом с ним на лагерных нарах царским артиллерийским генералом. Старик говорил: «Никуда я из лагеря не пойду — тепло, люди знакомые, кто даст сахару кусок, кто из посылки пирожка».

Такие старики не раз встречались ему,— они уже не хотели уходить из лагеря, тут был их дом, еда в заведенный час, подачки добрых соседей, тепло печурки.

Правда же, куда им было уходить,— одни хранили в обызвествленных глубинах своих сердец воспоминание о сиянии царскосельских люстр, о зимнем солнце Ниццы; другие помнили Менделеева, приходившего по-соседски пить чай в их семью, молодого Блока, вспоминали Скрябина и Репина; третьи хранили во все еще теплом пепле память о Плеханове, Гершуни, Тригони, о друзьях великого Желябова. Бывали случаи, когда отпущенные на свободу старики просились обратно в лагерь, жизненный вихрь сбивал их с дрожащих, слабых ног, огромные города пугали их безлюдием, холодом.

Ивану Григорьевичу хотелось вновь прийти за проволоку, разыскать всех, кто привык к теплому тряпью, к миске с баландой, к барачной печке. Ему хотелось сказать им: «Действительно, страшно на воле!»

И он рассказал бы потерявшим силу старикам, как пришел к родному человеку, как подошел к дому, где жила любимая им женщина, как столкнулся с университетским товарищем, предложившим ему помощь. И он сказал бы лагерным старым людям, что нет выше счастья, чем слепым, безногим выползти на брюхе из лагеря и умереть на воле, хотя бы в десяти метрах от проклятой проволоки.

## 10

Чувство покоя и печали возникло у Ивана Григорьевича, когда хлопоты с подысканием жилья и работы закончились, и у него, слесаря в инвалидной, метизовской артели, появился в паспорте заветный штамп о прописке и он стал жить в снятом за сорок старых рублей углу у вдовы погибшего на фронте сержанта Михалева.

У Анны Сергеевны, худой, полуседой и все же молодой женщины, жил двенадцатилетний племянник, сын покойной сестры, бледный, в латаной, штопаной курточке, такой удивительно застенчивый, тихий, любознательный, какой может только появиться в нищенски бедной семье.

На стене висела фотография Михалева — человека с невеселым лицом, он словно уже в ту пору, когда снимался, предвидел свою судьбу. Сын Анны Сергеевны служил срочную службу в конвойных войсках. Его фотография — толстощекий, стриженный под машинку — висела рядом с фотографией отца.

Михалев пропал без вести в первые дни войны, а часть, в которой служил, была искромсана недалеко от границы немецкими танками, и некому было свидетельствовать, остался ли Михалев лежать непохороненным, пристреленным немецким автоматчиком или сдался в плен,— поэтому военкомат не оформлял вдове пенсии.

Михалева работала поваром в столовой. Но жилось ей все же плохо. Старшая сестра ее, колхозница, однажды прислала из деревни посылку

для сироты-племянника — коржи из черной с отрубями муки, мутного с воском меду.

Но и Михалева, едва была возможность, посылала сестре в деревню продовольствие: муку, подсолнечное масло, а при случае белый хлеб и сахар.

Ивана Григорьевича удивляло: почему, работая на кухне, Анна Сергеевна такая худенькая и бледная. В лагере сразу можно было узнать пухлолицего повара в толпе заключенных.

Михалева не расспрашивала Ивана Григорьевича о его прошлой лагерной жизни. Расспросил его обстоятельно кадровик в артели. Но Анна Сергеевна, не спрашивая ни о чем, глазами, привыкшими понимать жизнь, многое увидела, наблюдая Ивана Григорьевича.

Он мог спать на досках, пил горячую воду без заварки и сахара, жевал сухой хлеб, вместо носков носил в ботинках портянки, не имел постельного белья, но она замечала, что рубашка на нем, хотя и застиранная до желтизны, была с чистым воротничком и что по утрам он доставал облупленную и мятую коробку из-под монпансье — чистил щеточкой зубы, тщательно мылил лицо и шею, руки до локтя.

Странной была ему ночная тишина. Он за десятилетия привык к многоголосому храпу, сопению, бормотаниям, стонам сотен спящих в бараках людей, к стуку колотушек, к скрежету колес. Одному приходилось ему быть лишь в карцере, да однажды во время следствия его продержали три с половиной месяца в одиночке. Но нынешняя тишина не была напряженной тишиной одиночки.

В артель он попал по счастливому случаю: в городском саду разговорился с согнутым, похожим на стоящий полоз от саней, чахоточным человеком, и тот рассказал ему, что бросает счетоводство в инвалидной артели и уезжает; уезжает, потому что не хочет быть похороненным в городе, где кладбище расположено в болотной местности и гробы в могилах плавают в воде. А счетовод хотел после смерти полежать с удобствами, он накопил денег на дубовый гроб, купил хорошего красного материала для обивки, запас медных гвоздей, которыми обивали кожаные диваны на вокзале. Не мокнуть же ему со всем своим добром в воде.

Говорил он обо всем этом голосом человека, собравшегося переехать на новую, более удобную квартиру.

По рекомендации этого «новосела», как прозвал его про себя Иван Григорьевич, и удалось ему устроиться слесарем в артель, производившую замки, подбор ключей, лужение и пайку посуды. Пригодилась тут специальность Ивана Григорьевича, одно время слесарившего в лагерной ремонтной мастерской.

Среди рабочих были инвалиды Отечественной войны; были покалеченные на производстве либо на транспорте, имелись три старика, покалеченных еще в войну 1914 года. Оказался в артели и лагерный старожил, рабочий Путиловского завода Мордань — он был осужден по 58-й статье в 1936 году и освобожден после окончания войны. Мордань не захотел возвращаться в Ленинград, где во время блокады умерли его жена и дочь, и поселился у сестры в южном городе, стал работать в артели.

Инвалиды в артели были по большей части люди веселые, склонные юмористически относиться к жизни; но иногда с кем-нибудь из них приключался припадок, и к грохоту молотков, визгу напильников примешивался крик припадочного, начинавшего биться на полу.

У седоусого лудильщика Пташковского, военнопленного 1914 года (говорили, что он австриец, но выдает себя за поляка), вдруг цепенели руки, и он застывал на своем табуретике с поднятым молотком, лицо его становилось неподвижным, надменным. Надо было его тряхнуть за плечо, чтобы вывести из оцепенения. А однажды припадок, случившийся с одним инвалидом, заразил сразу многих, и в разных концах мастерской стали биться на полу, кричать молодые и старые люди.

Удивительно хорошо было непривычное Ивану Григорьевичу ощущение: он работал по вольному найму, без конвоя, без вертухов на вышках. И странно было: работа как будто та же, инструмент знакомый, а падлом никто не назовет, не замахнется вор, не пригрозит дрыном сука.

Иван Григорьевич увидел вскоре, каким способом стремятся люди увеличить свои скудные заработки. Кое-кто из своего купленного частным



образом материала делал кастрюли и чайники. Продавались они через артель, по государственной цене, не выше и не ниже. Другие договаривались с клиентами о починке барахла частным образом и получали деньги, не выписывая квитанций. И деньги за работу брали такие же, как государство, — не больше и не меньше.

Мордань, человек с ладонями такой величины, что ими, казалось, можно было сгребать зимой снег с тротуаров, рассказывал во время обеденного перерыва о случае, произошедшем накануне в его доме. В соседней квартире живут пять соседей: токарь, портной, монтер маханического завода, две вдовы, одна работает на швейной фабрике, другая — уборщица в горсовете. И вот в выходной день обе вдовы встретились в отделении милиции — их на улице задержал ОБХСС за продажу сеток-авосек, которые они тайно друг от друга плели по ночам. Милиция произвела в квартире обыск, и оказалось, что портной по ночам шил мальчиковые и женские пальто, монтер устроил под полом электрическую печку — пек вафли, жена монтера их продавала на базаре, токарь с заводика «Красный факел» оказался ночным сапожником — шил модельные дамские туфли; вдовы же не только плели авоськи, но и вязали дамские кофточки.

Мордань смешил слушателей, показывал, как монтер кричал, что печет вафли для семьи, а инспектор ОБХСС спрашивал его: так-таки для семьи заготовил он два пуда теста на вафли? Каждого нарушителя оштрафовали на 300 рублей, о каждом сообщили по месту работы и пригрозили высылкой в порядке очищения советской жизни от тунеядцев и нетрудового элемента.

Мордань любил в разговоре ученые слова: рассматривая испорченный замок, он важно говорил:

— Да, ключ совершенно не реагирует на замок.

Идя после работы по улице с Иваном Григорьевичем, он вдруг сказал:

— Я в Ленинград не вернулся не только потому, что жена и дочь погибли. Не могу я смотреть своими рабочими глазами на участь путиловского пролетариата. Бастовать и то не можем. А какой же рабочий человек без права забастовки.

Вечером приходила домой хозяйка. Она приносила с собой в кошелке еду для племянника — суп в бидончике, второе в глиняном горшке.

— Может, покушаете? — тихо спрашивала она у Ивана Григорьевича. — У нас хватит.

— Я вижу, вы сами не едите, — говорил Иван Григорьевич.

— Я весь день ем, у меня работа такая, — ответила она и, видимо, поняв его взгляд, сказала: — Устаю я очень от работы.

В первые дни бледное лицо хозяйки казалось Ивану Григорьевичу недобрым. Потом он увидел — она добра.

Иногда она рассказывала о деревне. В колхозе она была бригадиром, а одно время даже работала председателем колхоза. Колхозы не выполняли план: то недосев, то засуха, то с земли содрали три шкуры, и она изнемогла, потеряла силу, то ли все мужики и молодые подались в город... А раз поставку не выполнили, то получали по шесть-семь копеек на трудодень, по сто грамм зерна, а бывали годы, не получали и грамма. А даром люди не любят работать. Колхозники оборвались. Чистый черный хлеб без картофеля и желудей ели, как пряник, только в праздник. Как-то раз она привезла старшей сестре в деревню белого хлеба, и дети боялись его кушать — первый раз в жизни увидели. Избы ветшают, рушатся, леса на стройку не дают.

Он слушал ее и смотрел на нее. От нее шел милый свет доброты, женственности. Десятилетиями он не видел женщин, но долгими годами он слышал бесконечные барачные истории о женщинах — кровавые, печальные, грязные. И женщина в этих рассказах была то низменна, ниже животного, то чиста, возвышенна, выше святых угодниц. Но неизменная мысль о ней была необходима заключенным, как хлебная пайка, сопутствовала им в разговорах, в чистых и грязных мечтах и сновидениях.

Странно, конечно, ведь после своего освобождения он видел красивых, нарядных женщин на улицах Москвы и Ленинграда, он сидел за столом с Марией Павловной — седой, красивой дамой; но ни горе, охватив-

шее его, когда он узнал, что его юношеская любовь изменила ему, ни прелесть женской нарядной красоты, ни дух довольства и уюта в доме Марии Павловны не вызвали в нем того чувства, которое он испытал, слушая Анну Сергеевну, глядя на ее грустные глаза, милое, поблекшее и одновременно молодое лицо.

И в то же время ничего странного в этом не было. Не могло быть странным то, что происходило постоянно, тысячелетиями между мужчиной и женщиной.

А она объясняла Ивану Григорьевичу:

— Гонять голодных на работу душа не выдерживает. Это не про меня сказали, чтоб кухарка управляла государством. Работают на молотилке женщины и шьют такой чулок, подшивают к подолу, насыпают в него зерно. Надо их обыскивать и под суд отдавать! А за хищение колхозной собственности не меньше семи лет. А у баб дети. Я ночь лежу и думаю — государство берет у колхоза зерно по шесть копеек кило, а продает печеный хлеб по рублю, а в нашем колхозе за четыре года грамма не дали. Что ж это получается? Он ухватил жменьку зерна, того, что сам как-никак посеял, — ему семь лет. Нет, не согласна я. Ну, и устроили земляки в город кухаркой, людей кормить. Рабочие говорят: «Все же в городе лучше. У строительных рабочих расценок — дверь навесить, замок врезать — два с полтиной; за это же дело в выходной день частник ему пятьдесят даст — в двадцать пять раз дешевле ему государство платит». И все равно с деревенских больше берут. Я считаю — государство и с городских и с деревенских многовато берет. И дома отдыха, и школы, и тракторы, и оборона, все понимаю, но слишком много берут, надо меньше.

Она посмотрела на Ивана Григорьевича.

— Может быть, вся жизнь неправильно поставлена от этого?

Ее глаза медленно перешли с его лица на лицо племянника, и она сказала:

— Я знаю, об этом говорить не полагается. Но я вижу, какой вы человек, — вот и спросила. А вы совсем не знаете, какой я человек, поэтому не отвечайте.

— Нет, зачем же, я отвечу, — сказал Иван Григорьевич. — Я раньше думал, что свобода — это свобода слова, печати, совести. Но свобода, она вся жизнь всех людей — она вот: имеешь право сеять, что хочешь, шить ботинки, пальто, печь хлеб, который посеял, хочешь продавай его и не продавай, и слесарь, и сталевар, и художник, живи, работай, как хочешь, а не как велят тебе. А свободы нет и у тех, кто пишет книги, и у тех, кто сеет хлеб и шьет сапоги.

Ночью Иван Григорьевич лежал и слушал в темноте чье-то сонное дыхание, оно было таким легким, что Иван Григорьевич не мог понять: чье оно, ребенка или женщины.

Ему теперь странно казалось, будто он всю жизнь свою находился в дороге, день и ночь ехал в скрипящем вагоне, десятки лет слышал стук колес и вот наконец приехал — эшелон остановился.

И от этой тридцатилетней дороги, тридцатилетнего дорожного грохота в голове его продолжался шум, звенело в ушах и все казалось, эшелон идет, идет...

Но это не дорожный шум стоял в его ушах, в голове звенел склероз, жизнь-то ведь шла к концу.

## 11

Алеша, племянник Анны Сергеевны, был так мал ростом, что казался восьмилетним. Он учился в шестом классе и, придя из школы, наносив воды, помыв посуду, садился готовить уроки.

Иногда он подымал на Ивана Григорьевича глаза и говорил:

— Спросите меня, пожалуйста, по истории.

Когда Алеша готовился по биологии, Иван Григорьевич от нечего делать стал лепить из глины фигурки различных животных, нарисованных в учебнике: жирафа, носорога, гориллу. Алеша остолбенел — до того хороши показались ему глиняные звери, он смотрел на них, переставлял с места на место, ночью поставил их на стул возле себя. На рассвете, идя



в очередь за молоком, мальчик страстным шепотом спросил жильца, умывавшегося в коридоре:

— Иван Григорьевич, можно ваших зверей понести в школу?

— Пожалуйста, бери их себе, — сказал Иван Григорьевич.

Вечером Алеша рассказал Ивану Григорьевичу, что учительница рисования сказала:

— Передай вашему жильцу, что он должен непременно учиться.

Михалева впервые увидела Ивана Григорьевича смеющимся, сказала:

— Сходите к учительнице, не смейтесь, может быть, подработаете вечерами, надомником, а то что это за жизнь — триста семьдесят пять рублей в месяц.

— Ничего, мне хватит, — сказал Иван Григорьевич, — а учиться надо было лет тридцать назад.

И тут же он подумал: «Почему я здесь тревожусь? Значит, еще жив, значит, не умер?»

Как-то Иван Григорьевич рассказывал Алеше о походе Тамерлана и заметил, что Анна Сергеевна, отложив шитье, внимательно слушает его.

— Вам не в артели быть, — усмехнулась она.

— Ох, — сказал он, — куда мне, у меня знания из книг с выдранными страницами, без начала и конца.

Алеша сообразил, что, должно быть, поэтому Иван Григорьевич выдумывал по-своему, а учителя пересказывали учебник с началом и концом.

Эта пустяковая история с глиной растревожила Ивана Григорьевича. Он-то, конечно, не обладал настоящим дарованием. Но сколько на его глазах погибло, «оделось деревянбушлатом» молодых физиков, историков, знатоков древних языков, философов, музыкантов, молодых русских Свифтов и Эразмов Роттердамских.

Дореволюционная литература часто оплакивала судьбу крепостных актеров, музыкантов, живописцев. А кто же в нынешних книгах вздохнул о тех юношах и девушках, которым не пришлось нарисовать своих картин и написать своих книг? Русская земля щедро рождает и собственных Платонов, и быстрых разумом Невтонов, но как ужасно и просто пожирает она своих детей.

Театры, кино вызывали у него тоску и тревогу, — казалось, что кто-то насильно заставляет его смотреть на сцену и уже не выпустит. Многие романы и стихи вызывали в нем невыносимое ощущение назойливого, насильственного втемяшивания. Казалось, что в книгах написано о другой, незнакомой ему жизни, в которой нет бараков, усиленного режима, бригадиров, вертухов-надзирателей, оперуполномоченных, паспортной системы, нет всех тех чувств, страданий, страстей, тревог, которыми жили люди вокруг него...

Писатели выдумывали людей, их чувства и мысли, выдумывали комнаты, в которых они живут, поезда, в которых они ездят... Называвшая себя реалистической, литература была не менее условна, чем буколические романы восемнадцатого века. Литературные колхозники, рабочие, деревенские женщины казались сродни тем нарядным, стройным поселянам и завитым пастушкам, что играли на свирелях и танцевали на лужках среди беленьких барашков с голубыми бантиками.

Иван Григорьевич за годы, проведенные в лагерях, многое узнал о людских слабостях. Теперь он видел, что их было немало по обе стороны проволоки... Страдания не только очищали. Борьба за лишний глоток лагерного супа, за льготу на работе была жестокой, и слабые люди опускались до жалкого уровня. Теперь на воле Иван Григорьевич догадывался, как бы жалко, «по-шакальи» скреб ложкой в чужих опорожненных мисках либо рыскал вокруг кухни в поисках очисток и гнилых капустных листьев тот или другой надменный и холеный человек.

Люди, смятые, подавленные насилием, недоеданием, нехваткой тепла, табаку, превратившиеся в лагерных «шакалов», блуждающим взором выискивающие крохи хлеба и слюнявые окурки, вызывали в нем жалость.

Людей на воле Ивану Григорьевичу помогли понять лагерные люди. На воле он увидел и жалкую слабость, и жестокость, и жадность, страх, те же, что в лагерных бараках. Люди были одинаковы. Он жалел их.

А в романах и поэмах советские люди, как и в средневековом ис-

кусстве, выражали идею церкви, божества; они провозглашали истинного бога, человек существовал не сам по себе, а ради бога, существовал, чтобы славить бога и его церковь. А некоторые писатели, выдавая ложь за правду, с особой тщательностью воспроизводили подробности одежды, обстановки, поселяя среди живых декораций своих выдуманных богоищущих героев.

И на воле, и в лагере люди не хотели признать, что они равны в своем праве на свободу. Некоторые правые уклонисты считали себя невинными, но оправдывали репрессии к левым уклонистам. Левые и правые уклонисты не любили шпионов — тех, кто переписывался с заграничными родственниками, тех, чьи обрусевшие родители носили польские, латышские и немецкие фамилии.

Сколько бы ни говорили крестьяне, что они работали всю жизнь своими руками, — политические им не верили: «Знаем, зря бы не стали раскулачивать бедняков».

Иван Григорьевич говорил бывшему командиру-красногвардейцу, соседу по нарам:

— Вы-то сами всю жизнь преданы идее большевизма, герой гражданской войны, а вот сидите по обвинению в шпионаже.

Тот ему отвечал:

— Со мной произошла ошибка, со мной особая статья, нельзя даже сравнивать.

Когда уголовные, избрав жертву, начинали ее истязать и грабить, одни политические отворачивались, другие сидели с тупыми, застывшими лицами, третьи убегали, четвертые притворялись спящими, натягивали на головы одеяла.

Сотни заключенных, среди них находились бывшие военные, герои, оказывались беспомощными против нескольких уголовников. Уголовники бесчинствовали, считали себя патриотами, а политических «фашистов» — врагами родины. Люди в лагере были подобны сухим песчинкам, каждая сама по себе.

Один считал, что ошибка совершена лишь по отношению к нему, а вообще «зря не сажают».

Другие рассуждали так: мы на воле считали, что зря не сажают, а теперь на собственной шкуре поняли, что сажают зря. Выводов из этого они никаких не делали и покорно вздыхали.

Тощий, дергающийся работник Коминтерна молодежи, талмудист и диалектик объяснял Ивану Григорьевичу, что никаких преступлений против партии он не совершал, но органы правы, арестовав его как шпиона и двурушника, — не совершив преступления, он все же принадлежит к слою, враждебному партии, слою, порождающему двурушников, троцкистов, оппортунистов на практике, нытиков и маловеров.

Умный лагерный человек, в прошлом областной партийный работник, как-то разговорился с Иваном Григорьевичем.

— Лес рубят, щепки летят, а партийная правда остается правдой, она выше моей беды, — и он указал на себя рукой, добавил: — Я и полетел щепкой при рубке леса.

Он растерялся, когда Иван Григорьевич сказал ему:

— Так в том-то и беда, что лес рубят. Зачем рубить его?

В лагерях Ивану Григорьевичу очень редко приходилось встречать людей, действительно боровшихся против Советской власти.

Бывшие царские офицеры попадали в лагерь не за то, что сколачивали монархическую организацию. Они сидели за то, что могли ее сколотить.

В лагерях сидели социал-демократы и социалисты-революционеры. Многие из них были арестованы в пору своей лояльности и обывательской бездеятельности. Их посадили не за то, что они боролись против Советского государства, имелась вероятность, что они могли бороться против него.

В лагеря ссылались крестьяне не за то, что они боролись против колхозов. Ссылались те, кто при известных условиях, может быть, стал противиться колхозам.

В лагеря попадали люди за невинную критику: одному не нравятся премированные государством книги и пьесы, другому — отечественные радиоприемники и автоматические ручки. В известных условиях подобные люди могли стать врагами государства.



В лагеря ссылались люди за переписку с тетками и братьями, жившими за границей. Их ссылали за то, что вероятность стать шпионами у них была больше, чем у тех, кто не имел закордонных родственников.

Это был террор не против преступников, а против тех, кто, по мнению карательных органов, имел несколько большую вероятность стать ими.

Отличались от подобных заключенных люди, действительно враждебные Советской власти, боровшиеся против нее: старики эсеры, меньшевики, анархисты либо сторонники самостийности Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, а во время войны бандеровцы.

Советские заключенные считали их своими врагами и все же восхищались людьми, посаженными за дело.

В режимном лагере Иван Григорьевич встретил подростка-школьника Борю Ромашкина, приговоренного к десяти годам заключения, он действительно сочинял листовки, обвинявшие государство в расправах над невинными людьми, действительно печатал их на пишущей машинке, действительно расклеивал их ночью на стенах московских домов. Боря рассказывал Ивану Григорьевичу, что во время следствия на него приходили смотреть десятки сотрудников министерства госбезопасности, среди них было несколько генералов — всех интересовал паренек, посаженный за дело. И в лагере Боря был знаменит: все его знали, о нем спрашивали заключенные из соседних лагерей. Когда Ивана Григорьевича этапировали за 800 километров в новый лагерь, он в первый же вечер услышал рассказ о Боре Ромашкине — молва о нем кочевала по Колыме.

Но удивительно было: люди, приговоренные за дело, за действительную борьбу против Советского государства, считали, что все политические зеки невинны, все без изъятия достойны свободы. А те, что сидели «по туфте», по выдуманным, липовым делам, а таких были миллионы, склонны были амнистировать лишь самих себя и старались доказать действительную вину липовых шпионов, кулаков, вредителей, оправдать жестокость государства.

В душевном складе заключенных людей и людей, живших на свободе, имелось одно глубокое различие. Иван Григорьевич видел, что лагерные люди хранили верность времени, породившему их. В характерах и мыслях каждого из них жили разные эпохи русской жизни. Тут были участники гражданской войны со своими любимыми песнями, героями, книгами; тут были зеленые, петлюровцы с нестертыми страстями своего времени, со своими песнями, стихами, повадками; тут были работники Коминтерна двадцатых годов, со своим пафосом, словарем, со своей философией, манерой держаться, произносить слова; тут были и совсем старые люди — монархисты, меньшевики, эсеры, — они хранили в себе мир идей, поведения, литературных героев, существовавший сорок и пятьдесят лет назад.

Сразу можно было в оборванном, кашляющем старике узнать слабодушного, опустившегося и одновременно благородного кавалергарда и в его соседе по нарам, таком же оборванном и поросшем седой щетиной, нераскаянного социал-демократа, в сутулом «придурке»-санитаре — комиссара бронепоезда.

А вот пожилые люди на воле не несли на себе неповторимых примет прошлого времени, в них прошлое было стерто, они легко входили в облик нового дня, — они думали, переживали в соответствии с сегодняшним днем; их словарь, мысли, их страсти, их искренность покорно, гибко менялись с ходом событий и волей начальства.

Чем объяснялось это различие — быть может, в лагере человек, словно в анестезии, замирал?

Живя в лагере, Иван Григорьевич постоянно видел естественное стремление людей вырваться за проволоку, вернуться к женам и детям. Но на воле он иногда встречал отпущенных из лагеря людей, и их покорное лицемерие, их страх перед собственной мыслью, их ужас перед новым арестом были так всеобъемлюще велики, что эти люди казались прочней арестованными, чем в пору лагерных принудработ.

Выйдя из лагеря, работая по вольному найму, живя рядом с любимыми и близкими, такой человек обрекал себя иногда на высшее аре-

странство, более совершенное и глубокое, чем то, к которому принуждала лагерная проволока.

И все же в муках, в грязи, в мути лагерной жизни светом и силой лагерных душ была свобода. Свобода была бессмертна.

В маленьком городке, живя у вдовы сержанта Михалева, Иван Григорьевич шире, сильней стал ощущать смысл свободы.

В житейской борьбе, которую ведут люди, в ухищрениях рабочих, добывавших ночным трудом лишний рубль, в битве колхозников за хлеб и картошку, за свою естественную трудовую выгоду он угадывал не только желание жить лучше, досыта накормить детей и одеть их. В борьбе за право шить сапоги, связать кофту, в стремлении сеять, что хочет пахарь, проявлялось естественное, неистребимо присущее человеческой природе стремление к свободе. И это же стремление он видел и знал в лагерных людях. Свобода казалась бессмертна по обе стороны лагерной проволоки.

Как-то вечером после работы он стал перебирать в памяти лагерные слова. Бог мой, на каждую букву алфавита оказалось лагерное слово... А о каждом слове можно написать статьи, поэмы, романы...

Арест... барак... вертух... голод... доходяга... женские лагеря... зека... ИТЛ... ксива...—вот так до конца алфавита. Огромный мир, свой язык, экономика, моральный кодекс. Такими сочинениями можно заполнить книжные полки. Побольше, чем «История фабрик и заводов», затеянная Горьким.

Вот сюжет: история эшелона — формирование, эшелон в пути, охрана эшелона... Какими наивными, домашними кажутся современному этапированному эшелоны двадцатых годов, вояж политического в купе пассажирского вагона с философом-охранником, угощающим конвоируемого пирожками. Робкие зачатки лагерной культуры: седой каменный век, цыпленок, едва вылупившийся из яйца...

И нынешний шестидесятивагонный эшелон, идущий в Красноярский край: подвижный тюремный город, товарные четырехосные вагоны, зарешеченные окошечки, трехэтажные нары, вагоны-склады, штабные вагоны, полные надзирателей-вертухов, вагоны-кухни, вагоны со служебными собаками—они рыщут на стоянках вдоль эшелона; начальник эшелона, окруженный, подобно сказочному падишаху, лестью поваров, наложниц-проституток; поверки, когда в вагон влезает надзиратель, а прочие вертухи с автоматами, направленными в открытые двери теплушек, держат под прицелом заключенных,—тесной грудой сбились люди, а надзиратель ловко перегоняет помеченных заключенных из одной части вагона в другую, и, как бы стремительно ни кидался заключенный, вертух успевает поддать его палкой по заднице или по кумполу.

А недавно, уже после Великой Отечественной войны, были устроены под днищем хвостовых вагонов стальные гребенки. Если заключенный в пути разберет пол и бросится плашмя меж рельсов, гребенка ухватит его, рванет, швырнет под колесо — не вам, не нам; для тех, кто, проломав потолок, лезет на крышу вагона, установлены кинжальные прожектора—они пронзают тьму от паровоза до хвостового вагона, а пулемет, глядящий вдоль эшелона, ежели по крышам побежит человек, знает свое дело. Да, все развивается. Выкристаллизовалась экономика эшелона—прибавочный продукт, бытовое блаженство конвойных офицеров в вагоне-штабе, приварок с арестантского и собачьего котла, командировочные деньги, начисляемые пропорционально шестидесятидневному движению эшелона к восточносибирским лагерям, внутривагонный товарооборот, жестокое первоначальное вагонное накопление, параллельная ему пауперизация. Да, все течет, все изменяется, нельзя дважды вступить в один и тот же эшелон.

А кто опишет отчаяние этого движения, удаляющего от жен, эти ночные исповеди под железный стук колес и скрип вагонов, покорность, доверчивость, это погружение в лагерную бездну; письма, выбрасываемые из тьмы теплушек в тьму великого степного почтового ящика, и ведь доходили!

В эшелоне нет еще лагерной привычки, нет усталости, нет задуренной лагерной заботой головы; для окровавленного сердца все непривычно, все ужасно: полусвет, скрип, шершавые доски, истеричные, дергающиеся воры, кварцевый взор конвойных.



Вот на плечах подняли к окошечку паренька, и он кричит: «Дедушка, дедушка, куда нас везут?»

И все в теплушке слышат протяжный, надтреснутый, старческий голос:

— В Сибирь, милый, на каторгу...

Вдруг Иван Григорьевич подумал: неужели это мой путь, моя судьба? Вот с таких эшелонов началась моя дорога. И вот теперь она кончилась.

Эти часто, без связи возникающие лагерные воспоминания мучили его своей хаотичностью. Он чувствовал, понимал, что в хаосе можно разобраться, что в его силах это сделать и что теперь, когда кончилась лагерная дорога, пришло время увидеть ясность, различить законы в хаосе страданий, противоречий между виной и святой невиновностью, между фальшивыми признаниями своих преступлений и фанатической преданностью, между бессмысленностью убийства миллионов невинных и преданных партии людей и железным смыслом этих убийств.

## 12

В последние дни Иван Григорьевич был молчалив, почти не разговаривал с Анной Сергеевной. Но на работе он часто вспоминал о ней, об Алеше и все поглядывал на ходики, висевшие в слесарном цеху,—скоро ли домой.

И почему-то в эти свои молчаливые дни, думая о лагерной жизни, он большей частью вспоминал судьбу лагерных женщин... Никогда он, кажется, так много не думал о женщинах.

...Равноправие женщины с мужчиной утверждено не на кафедрах и не в трудах социологов... Ее равноправие доказано не только в фабричной работе, не в полетах в космос, не в огне революции—оно утверждено в истории России ныне, присно и во веки веков крепостным, лагерным, эшелонным, тюремным страданием.

Перед лицом крепостных веков, перед лицом Колымы, Норильска, Воркуты женщина стала равноправна мужчине.

Лагерь подтвердил и вторую, простую, как заповедь, истину: жизнь мужчин и женщин неделима.

Сатанинская сила в запрете, в плотине. Вода ручьев и рек, стиснутая плотиной, проявляет тайную, темную силу свою. Эта затаенная сила, скрытая в милом плеске, в солнечных бликах, в колыхании кувшинок, вдруг обнаруживает неумолимую злобность воды—крушит камень, с безумной скоростью стремит лопасти турбины.

Безжалостна мощь голода, едва плотина отделяет человека от его хлеба. Естественная и добрая потребность в пище превращается в силу, уничтожающую миллионы жизней, заставляющую матерей поедать своих детей, силу жестокости и озверения.

Запрет, отделяющий лагерных женщин от мужчин, корежит их тела и души.

Все в женщине—ее нежность, ее заботливость, ее страсть, ее материнство—хлеб и вода жизни. Все это рождается в женщине оттого, что на свете есть мужья, сыновья, отцы, братья. Все это наполняет жизнь мужчины потому, что есть жена, мать, дочь, сестра.

Но вот в жизнь входит сила запрета. И все простое, доброе, хлеб и питьевая вода жизни, вдруг открывает низменную злобность и тьму свою.

Подобно волшебству насилие, запрет неминуемо обращают внутри человека доброе в недоброе.

...Между уголовным женским и уголовным мужским лагерем лежала полоса пустынной земли—ее называли огнестрельной зоной,—пулеметы вели огонь, едва на ничейной земле появлялся человек. Уголовники переползали на брюхе огнестрельную зону, прокапывали ходы, лезли под проволоку, лезли на проволоку, а те, кому не повезло, оставались лежать с простреленными головами и перешибленными ногами. Это напоминало безумный, трагический ход нерестящейся рыбы по рекам, прегражденным плотинами.

Когда в зловещие, режимные лагеря к женщинам, долгими годами не видевшим лица мужчин, не слышавшим мужского голоса, попадали по

наряду слесаря, шоферы, плотники, их терзали, умучивали, убивали до смерти. Мужчины-уголовники боялись этих лагерей, где счастьем считалось коснуться рукой плеча мертвого мужика, боялись идти туда и под охраной огнестрельного оружия.

Угрюмая, темная беда коверкала каторжных людей, превращала их в нелюдей.

На каторге женщины принуждали женщин к неестественному сожительству. В женских каторжных бараках создавались нелепые характеры — женщины-коблы, с сиплыми голосами, с размашистой походкой, с мужскими замашками, в брюках, заправленных в солдатские кирзовые сапоги. А рядом возникали потерянные жалкие существа — ковырялки.

Коблы пили чифир, курили махру, под пьяную руку избивали своих лживых, легкомысленных подруг, но и охраняли их силой кулака и силой ножа от обиды и грубых чужих притязаний. Этот трагичный, уродливый мир отношений и был любовью в каторжном лагере. Он был страшен, он не порождал смеха, соленых разговоров, а один лишь ужас в душах воров и убийц.

Любовное исступление каторги не знало таежных расстояний, не знало проволоки, каменных стен вахты, БУРовских замков, перло на волкодавов-овчарок, на лезвие ножа, под пулю охраны. Так с вылезшими из орбит глазами, с перешибленными хребтами прет в нерест тихоокеанская рыба, расшибаясь на скалах и булыгах горных стремнин и водопадов.

И тут же лагерные люди хранили любовь жен и матерей, а лагерные невесты-«заочницы», которые никогда не видели и никогда не увидят своих заочно выбранных лагерных женихов, были готовы на любую пытку ради верности обездоленному лагерному избраннику, ради выдуманной туфты.

Кое-что простится человеку, если в грязи и зловонии лагерного насилия он все же человек.

## 13

Тихая Машенька... Вот уже нет на ней тонких чулок и синей шерстяной кофточки. Трудно сохранить опрятность в товарном вагоне, с напряжением вслушивается она в странную, словно не русскую речь воровок, соседок по нарам. С ужасом смотрит она на эшелонную царицу — бледногубую истеричную любовницу знаменитого ростовского вора.

Вот Маша выстирала в кружечке платочек, остатками воды обтерла ступни ног, сушит платок на колене, всматривается в полумрак.

В тумане смешались последние месяцы: плач трехлетней Юльки, объевшейся на дне рождения, лица людей, производивших обыск, белье, чертежи, куклы, посуда на полу, вытащенный из горшка фикус, подаренный мамой к свадьбе, последняя улыбка мужа с порога комнаты, жалкая, молящая о верности, — вспоминая эту улыбку, она кричала, хваталась за голову; потом безумные недели, где все, как прежде, и рядом с кастрюлей Юлькиной каши леденящий ужас Лубянки; очереди в приемной внутренней тюрьмы, голос из окошечка: «В передаче отказано»; беготня по родне, заучивание наизусть адресов близких, поспешная, неумелая продажа зеркального шкафа и книг, изданных «Академией»; боль оттого, что закадычная подруга перестала звонить по телефону; снова ночные гости и обыск до рассвета, прощание с Юлькой, которую не отдали, наверное, бабушке, а увезли в приемник; бутырская камера, где говорили шепотом, где иглой при шитье служили спички и выловленные из баланды рыбьи кости; пестрое мелькание десятков выстиранных платочков, трусов, лифчиков — их сушили заключенные женщины, размахивали ими в воздухе; ночной допрос — и вот впервые в жизни на нее замахнулись кулаком, назвали «на ты» — б..., проституткой. Ее уличили в недонесении на мужа, он был осужден на десять лет без права переписки за недонесение на террор.

Маша не поняла, почему она и десятки таких, как она, должны доносить на мужей, почему Андрей, сотни таких, как он, должны доносить на товарищей по работе, на друзей детства. Следователь ее вызвал один лишь раз. Потом прошли восемь тюремных месяцев — день и ночь, ночь и день. Отчаяние сменялось тупым ожиданием судьбы, и вдруг, как морская волна, окатывала ее надежда, уверенность в скорой встрече с мужем и дочерью.



Наконец, надзиратель вручил ей узкую полоску папиросной бумаги, и она прочла на ней: 58 — 6 — 12.

Но и после этого она надеялась: а вдруг отменят, муж оправдан, Юля дома — и они встретятся, никогда не разлучатся. И от мысли об этой встрече обдавало счастливым огнем и холодом.

Ночью ее разбудили: «Любимова, с вещой!» В «черном вороне» ее повезли, минуя Краснопресненскую пересыльную тюрьму, на товарную станцию Ярославской железной дороги, на погрузку в эшелон...

Особо ей запомнилось утро после ареста мужа, словно это утро все продолжалось. Хлопнула парадная дверь, зашумел мотор, и стало тихо. В ее душу вошел ужас. Звонил в коридоре телефон, лифт вдруг останавливался на лестничной площадке против их двери, соседка, шлепая туфлями, шла из кухни, и неожиданно шлепание туфель стихало.

Она обтирала тряпочкой разбросанные по полу книги, ставила их на полку, она связала в узел белье, лежавшее на полу, — ей хотелось его прокипятить, вещи в комнате казались опоганенными. Она вставила фикус в горшок и погладила его кожаный лист — над этим фикусом смеялся Андрюша, объявил его символом мещанства, и она в душе была согласна с ним. Но Маша никогда не позволяла обижать этот фикус и не разрешила Андрею вынести его на кухню: жалела бедную маму, мама, совсем уж старенькая, везла его в подарок через всю Москву, тащила на пятый этаж, так как лифт в те дни ремонтировался.

Все было тихо! Но соседи не спали. Они жалели ее, боялись ее и млели от счастья, что не к ним пришли с ордером на обыск и арест. Юленька спала, а она убирала комнату. Обычно она не занималась так старательно уборкой. Она вообще была равнодушна к вещам, ее никогда не интересовали люстры, красивая посуда. Некоторые ее считали плохой хозяйкой, неряхой. Но Андрею нравились Машино равнодушие к предметам и беспорядок в комнате. А сейчас ей казалось, что если вещи займут свои места, ей станет спокойней, легче.

Она посмотрела в зеркало, оглядела прибранную комнату. Вот «Путешествие Гулливера» на книжной полке там же, где и вчера, до обыска, фикус вновь стоял на столике. И Юля, до четырех утра плакавшая и цеплявшаяся за мать, сейчас спала. В коридоре было тихо, соседи еще не шумели на кухне.

И в своей чинно прибранной комнатке Машенька ощутила режущее отчаяние. Ее всю осветило нежностью, любовью к Андрею, и тут же, в этой домашней тишине, в окружении привычных предметов, она, как никогда, ощутила беспощадную силу, способную согнуть ось земли, — эта сила пошла прямо на нее, на Юльку, на маленькую комнату, о которой она говорила:

— Мне не надо и двадцати метров с балконом, потому что я здесь счастлива.

Юля! Андрюша! Ее увозят от них! Стук колес сверлит душу. Все дальше она от Юли, с каждым часом приближается Сибирь, данная ей взамен жизни с теми, кого она любила.

Нет уже на Машеньке ее клетчатой юбки, ее гребешком расчесывает трещащие, электрические волосы воровка с бледными, тонкими губами.

Должно быть, лишь в молодом женском сердце живут одновременно две эти муки — материнская — страстное желание спасти своего беспомощного ребенка и одновременно детская беспомощность перед гневом государства, желание спрятать голову на груди у мамы.

На этих грязных, обломанных ноготках был когда-то маникюр, цвет его очень занимал Юльку, а когда-то папа сказал шестилетней дочери: «У Машки ногти, как чешуйки у рыбки». Вот и следов завивки не осталось, она причесывалась за месяц до ареста Андрюши, когда собиралась с ним на рождение к подруге, той, что перестала ей звонить по телефону.

Юленька, Юленька, застенчивая, нервная, в приемнике. Маша тихо, жалобно мычит, в глазах у нее мутнеет — как защитить дочку от жестоких нянек, озорных недобрых детей, рваной и грубой приютской одежды, от солдатского одеяла, соломенной колючей подушки. А вагон скрипит, стучат колеса, все дальше Москва и Юля, все ближе Сибирь.

Боже мой, да было ли все это? А через минуту казалось, не сон ли все то, что происходит сейчас, — эта душная полутьма, алюминиевая миска, воровки курят махорку на шершавых нарах, грязное белье, чешется тело, и тоска в сердце: «Скорей бы остановка, хоть охрана защитит от уголовниц», — а на остановках ужас перед замахивающейся прикладами матерящейся охраной и мысль: «Скорей бы уж тронулись», — и сами воровки говорят: «Вологодский конвой хуже смерти».

Но не в скрипучих нарах, не в морозе на стенках вагона, едва потухает печка, не в жестокости охраны и в бесчинствах воровок ее беда. Беда в том, что в эшелоне ослабело отупение, окуклившее ее душу за время восьмимесячного сидения в тюремной камере.

Всем существом чувствует она девять тысяч километров своего движения в сибирскую могильную глубину.

Здесь нет бессмысленной тюремной надежды на то, что откроется дверь камеры, и надзиратель крикнет: «Любимова, на волю, с вещой», — и она, выйдя на Новослободскую, поедет автобусом до дома, и вот ждут ее Андрей, Юля.

В вагоне нет отупения, нет лагерной беспамятной усталости, одно лишь окровавленное сердце.

А если Юля записает штанишки, а мытье рук, сопли, ей нужны овощи, всегда раскрывается по ночам, спит голенькая.

Уже нет на Машеньке туфель, на ией солдатские ботинки, у одного ботинка оторвана подошва. Неужели это она, Мария Константиновна, что читала Блока, училась на филологическом, тайно от Андрея писала стихи. Маша, бегавшая на Арбат записываться к парикмахеру Ивану Афанасьевичу — Жану, Машенька, умевшая не только книжки читать, но и борщ варить, и печь торт-наполеон, и шить, и ребенка вскормившая. Маша, всегда восхищенная Андрюшей, его трудолюбием, скромностью, и восхищавшая всех вокруг тем, что так преданно любила Андрюшу и Юлю, Маша, что умела и плакать, и насмешницей быть, и выгадывать копейки.

А эшелон все идет, у Маши начинается тиф — голова мутная, темная, тяжелая. Но тифа нет, она здорова. И снова здесь, в эшелоне, надежда нашла дорожку к ее сердцу. Вот доехали до лагеря — и ей крикнут: «Любимова, выйди из рядов, тут на тебя пришла телеграмма, освобождение», — ну и так далее, и тому подобное: она едет в Москву пассажирским поездом, и вот Софрино, Пушкино, и вот Ярославский вокзал, она видит Андрея, и на руках у него Юля.

И надежда заставляет ее томиться — скорее бы доехать до конечного сибирского пункта, получить телеграмму об освобождении. Как спешат худенькие ноги Юли, она бежит рядом с замедляющим ход вагоном.

Вот она, ограбленная воровками, сошла с эшелона — она прячет мерзнущие пальцы в рукава засаленного ватника, голова ее повязана грязным мохнатым полотенцем. А рядом стеклянно скрипят по снегу туфли сотен московских женщин, осужденных к десяти годам лагеря за недонесение на своих мужей.

Шагают ноги в шелковых чулках, спотыкаются туфли на высоких каблуках. Маше завидуют — она ехала в вагоне с воровками, а не с «женами», ее обокрали, но теперь у нее ватник, в ботинки можно напихать бумаги и тряпья.

Спотыкаются, спешат, падают жены врагов народа, торопливо собирают узелки, рассыпавшиеся по снегу, но плакать боятся.

Маша огляделась: за спиной станционный сарай, товарные вагоны, как красные бусы на белоснежном теле, а впереди разворачивается темная змея — женский этап, кругом штабеля присыпанной снегом древесины, конвой в сказочно теплых полушубках, гавкают овчарки в теплой, густой шерсти. А упоительно чистый после двухмесячного эшелона воздух злее бритвенного лезвия. Поднялся ветер, сухой снежный дым понесло по целине, голова колонны утонула в белой мути. Холод хлещет по лицу, по ногам, голова у Маши кружится.

И вдруг сквозь усталость, сквозь страх обморозиться и получить гангрену, сквозь мечту попасть в тепло и помыться в бане, сквозь оторопь перед грузной старухой в пенсне, лежащей на снегу с каким-то странным, глупо капризным лицом, увидела двадцатишестилетняя Маша в снежном тумане свою лагерную судьбу... а на прежней судьбе, за спиной ее, за тысячи верст, в Спасопесковском переулке висит, болтается сургучная печать. Из тумана стали видны вышки, стражники в тулупах, распахнутые ворота. Вот в этот миг Маша одинаково ясно увидела две свои жизни: ту, что ушла, другую, что пришла.



Она бежит, спотыкается, дует на заледеневшие пальцы, и безумство надежды не оставляет ее — вот дойдут они до лагеря, там ей скажут о пришедшем освобождении. Потому она и бежит так, задыхается от спешки.

Какая нелегкая была у нее работа! Как болел у нее живот, ломило поясницу от недозволенной женщине, непомерной тяжести комьев извести, а носилки и пустыми казались чугунными; как тяжелы лопаты, ломы, доски, бревна, баки с грязной водой, параши, полные нечистот, многопудовые груды мокрого стираного белья.

Как тяжела была дорога в предутреннем мраке к месту работы, как тяжелы были поверки в слякоть и стужу; какой тошной и какой желанной была кукурузная болтушка с лоскутом требухи, с поганой, липнущей к нёбу рыбьей чешуей; как подло, безжалостно воровали в бараке, какие нехорошие разговоры шли ночами на нарах; какая мерзкая возня, шепот и шуршание; каким всегда желанным был черствый, тронутый сединой, черный хлеб.

С шестнадцатилетней Леной Рудольф, лежавшей на нарах рядом с Машей, стал жить уголовный Муха, обслуживавший котельню. Лена заболела сифилисом, у нее сошли ногти на руках и облысела голова, санчасть перевела ее в инвалидный лагерь, а мать Лены, сохранявшая в лагере изящество, светлоглазая, добрая и услужливая Сюзанна Карловна продолжала работать, хотя голова у нее была седая. Сюзанна Карловна делала зарядку до рассвета, обтиралась снегом.

Маша работала дотемна, как кобыла, как верблюдица, как ослица. Лагерь был режимный, она не имела права переписки, не знала, жив ли или казнен муж, где ее Юлька, попала ли в приемник, затерялась ли, как безымянный зверек, или мама нашла ее, да жива ли мама, жив ли брат Володя? Она словно привыкла ничего не знать о своих близких, казалось, не мечтала о письме, хотелось работы полегче, не на морозе, не в тайге, где гнус сжирает, а при кухне, при больнице.

Но тоска по мужу и дочери продолжалась, надежда не умерла, это лишь казалось. Надежда спала. И Маша чувствовала ее сон, как чувствуют на руках спящего ребенка, а когда надежда просыпалась, сердце молодой женщины наполнялось счастьем, светом и горем.

Она еще увидит Юлю и мужа. Конечно, не сегодня, не завтра. Пройдут годы, но она увидит их: как ты поседел, какие печальные глаза у тебя... Юленька, Юленька — эта бледная тоненькая девушка ее дочь. И Маша волнуется: узнает ли ее Юля, вспомнит ли ее, свою лагерную маму, не отвернется ли от нее?

Ее принудил к сожительству старший надзиратель Семисотов, выбил ей два зуба, ударил по виску, это было в первую лагерную осень. Она пробовала повеситься, но не сумела, веревка оказалась плохонькой. А некоторые женщины ей завидовали. Потом пришло тоскливое безразличие, она два раза в неделю плелась за Семисотовым в складское помещение, где были деревянные нары, прикрытые овчиной. Семисотов всегда был угрюм, молчал, и она его боялась до умопомрачения, ее даже тошнило от страха, когда он пьяным разъярялся. Но как-то он дал ей пять конфет, и она подумала: «Вот бы Юле в детдом переслать», — и не стала их есть, спрятала на нарах, в тюфячок. Потом их украли. Однажды Семисотов сказал: «Грязная вы, шмара, деревенская себя бы не допустила до такого свинства». Он всегда говорил ей «вы», даже когда бывал сильно пьян. Слова Семисотова ее обрадовали, и все же она подумала: если выставит, придется снова с известковым раствором работать.

Семисотов однажды вечером ушел и не появился больше, она потом уж узнала — он перевелся из лагеря. И она радовалась, когда сидела вечером на нарах в бараке, а не шла понурившись на склад. А потом ее выставили из конторы, где она при Семисотове мыла полы и топила печи, — ей ведь нечем было давать хабару, а ее место получила воровка, что в эшелоне отобрала у нее шерстяную кофточку. Она радовалась и в то же

время ощущала обиду: он на прощание даже полслова не сказал ей, хуже, чем собаке. А она ведь когда-то имела постоянную прописку в Москве, жила в отдельной изолированной комнате с мужем и Юлей, мылась в ванной, ела из тарелки.

А лагерная работа в зимние месяцы была тяжела, а работать в летнее время было тяжело, и в весенние, и в осенние дни было тяжело работать, и она уж вспоминала не Арбат, не Андрея, а лишь то, как при Семисотове мыла полы в конторе. Неужели выпала ей такая лафа?

И все же надежда таилась в ней. Они увидятся... Конечно, она уже будет старухой, совсем седой, у Юли будут дети, но все же они увидятся, они не могут не увидеться.

А голова была забита тревогой, заботой, бедой. То рвалась рубаха, то нападали нарывы, то болел живот и нельзя было отпроситься в санчасть, то вдруг лопалась кожа на пятках и она хромала, а портянки чернели от пятен крови, то расползался валенок, то надо было во что бы то ни стало, не дожидаясь очередной бани, хоть немного помыться, хоть немного постирать, то надо было сушить промокший в непогоду ватник... А все давалось с бою — котелок горячей воды, ниточка для штопки, иголочка напрокат, ложка с целым черенком, лоскуток, чтобы наложить латочку. Как спастись от мошки, как уберечь лицо, руки от недоброго, как лагерный конвой, мороза?

Но матерные ссоры, драки заключенных женщин были не легче лагерной работы.

А барачная жизнь все шла да шла.

Тетя Таня, уборщица из Орла, шепчет: «Горе живущим на земле...» У нее грубое мужичье лицо, оно кажется жестоким, исступленным. Но в тете Тане нет ни жестокости, ни исступления, одна лишь доброта. За что эта святая попала в лагерь? С какой-то непонятной кротостью она готова мыть за всякую полы, выполнять чужое дежурство.

Старухи монахини, Варвара и Ксенья, быстро шепчутся, умолкают, едва к ним подходят грешные мирянки. Они живут в особом мире: подписаться под бумагой — грех, назвать свое мирское имя — грех, пить из одной кружки с мирянками — грех, надеть лагерный бушлат — грех. Их можно убить, так упорны они в своей святости. Их святость видна в их одежде, белых платочках, поджатых губах, но в глазах их холод и презрение к лагерному страданию, к греху. Их святому стародевичеству противны бабьи страсти, бабьи беды, страдания матерей и жен, все это кажется им нечистым. Главное — это соблюдать чистоту платочка, кружечки, с поджатыми губами сторониться грешной лагерной жизни. Воровки их ненавидят, а «жены» недолюбливают и сторонятся.

Жены, жены, московские, ленинградские, киевские, харьковские, ростовские, печальные, практичные и не от мира сего, грешные, слабые, кроткие, злые, смешливые, русские и нерусские женщины в каторжных бушлатах. Жены врачей, инженеров, художников и агрономов, жены маршалов и химиков, жены прокуроров и раскулаченных хуторян, российских, белорусских, украинских хлеборобов. Все они ушли вслед за своими мужьями в скифский мрак барачных курганов.

Чем знаменитей был погибший враг народа, тем шире круг женщин, ушедших за ним в лагерный путь: жена, бывшая жена, самая первая жена, сестры, секретарша, дочь, подруга жены, дочь от первого брака.

Об одних говорили: «Удивительно простая, скромная...», о других: «Ох, совершенно невыносимая, надменная барыня, будто и здесь она на кремлевском положении». Такие и здесь имеют своих приживалок, подхалимок. Вокруг них ореол власти и обреченности. О них шепотом говорят: «Нет, уж эти живыми на волю не выйдут».

Были старухи с усталыми, спокойными глазами, попавшие в тюрьму еще при Ленине, насчитывающие десятки лет тюремной и лагерной жизни. Это народницы, социалистки-революционерки, социал-демократки. Их уважает стража, воровки с ними почтительны; они не встают с нар, если в барак входит сам начальник лагеря. Рассказывают, что одна из них, Ольга Николаевна, маленькая седенькая старушка, была до революции анархисткой, бросила бомбу в карету варшавского губернатора, стреляла в жандармского генерала. Теперь она сидит на лагерных нарах и читает книжечку, пьет из кружки кипяточек. Как-то Маша вернулась ночью



со склада от Семисотова, эта старушка подошла к ней, погладила по голове, сказала: «Бедная ты моя девочка». Ах, как плакала тогда Маша.

А недалеко от Маши лежит на нарах Сюзанна Карловна Рудольф. Она делает физкультуру, дышит через нос. Ее муж, американизированный немец, христианский социалист, приехал с семьей в Советскую Россию, принял советское гражданство. Профессор Рудольф осужден на десять лет без права переписки, — расстрелян на Лубянке; Сюзанна Карловна и три ее дочери — Агнесса, Луиза и Лена — попали в режимные лагеря. Сюзанна Карловна ничего не знает о дочерях, младшая Лена теперь тоже не с ней, переведена в инвалидный лагерь. Сюзанна Карловна не здоровается со старухой Ольгой Николаевной, — та назвала Сталина фашистом, а Ленина убийцей русской свободы. Сюзанна Карловна говорит: работой она помогает созданию нового мира и это дает ей силу переносить разлуку с мужем и дочерьми. Сюзанна Карловна рассказывала, что, живя в Лондоне, они дружили с Гербертом Уэллсом, а в Вашингтоне встречались с Рузвельтом, президент любил беседовать с ее мужем. Она все принимает, ей все ясно, лишь одно ей не совсем ясно: она видела, как человек, арестовавший профессора Рудольфа, сунул в карман большую, величиной с детскую ладонь, уникальную золотую монету стоимостью в сто долларов. На монете был изображен в профиль индеец с перьями, — человек, производивший обыск, взял монету для своего маленького сына, не подумав даже, что она золотая.

Все они, чистые, падшие, измученные и семижильные, жили в мире надежды. Надежда то спала, то просыпалась, но никогда не уходила от них.

И Маша надеялась — надежда ее мучила, но надеждой можно было дышать, даже когда она мучила.

После режимной сибирской зимы, долгой, как лагерный срок, пришла бледненькая весна, и Машу погнали вместе с двумя женщинами чинить дорогу, ведущую в соцгород, где жили в бревенчатых коттеджах начальники и вольнонаемный персонал.

Она издали увидела свои арбатские занавески на высоких окнах и силуэт фикуса. Она видела, как девочка со школьной сумкой поднялась на крыльцо и вошла в дом начальника управления режимных лагерей.

Конвойный сказал: «Ты что, кино сюда пришла смотреть?»

А когда они при свете вечерней зорьки шли к лагерю, возле склада пиломатериалов заиграло магаданское радио.

Маша и две женщины, что плелись вместе с ней, шаркая по грязи, опустили лопаты и остановились.

На фоне бледненького неба стояли лагерные вышки, и, как крупные мухи, застыли на них часовые в черных полушубках, а приземистые бараки словно вышли из земли и раздумывали, не уйти ли снова в землю.

Музыка была не печальная, а веселая, танцевальная, и Маша плакала, слушая ее, как никогда, кажется, в жизни не плакала. И две женщины, рядом с ней, одна из них была раскулаченная, а вторая ленинградская, пожилая, в очках с треснувшими стеклами, плакали, стоя рядом с Машей. И казалось, что трещины на стеклах очков сделались от этих слез.

Конвойный растерялся: ведь заключенные редко плакали, сердца их были схвачены, как тундра, мерзлотой.

Конвойный толкал их в спины и просил:

— Ладно уж, хватит, падло, вашу мать, честью вас, б....й, прошу.

Он все оглядывался, ему в голову не приходило, что женщины плакали от радио.

Но и сама Маша не понимала, почему вдруг ее сердце переполнилось тоской, отчаянием; словно бы соединилось все, что было в жизни: мамина любовь, клетчатое шерстяное платье, которое ей так шло, Андрюша, красивые стихи, морда следователя, рассвет над вдруг просиявшим голубым морем в Калесури под Сухумом, Юлькина болтовня, Семисотов, старухи монашки, бешеные ссоры коблов, тоска от того, что бригадирша стала, прищурившись, пристально поглядывать на Машу, как поглядывал на нее Семисотов; почему вдруг под веселую танцевальную музыку стала ощущаться грязная сорочка на теле, тяжелые, как сырые утюги, ботинки,

пахнущий кислотой бушлат; почему вдруг бритвой полоснул по сердцу вопрос: за что, за что ей, Маше, за что ей эти морозы, это душевное растление, эта пришедшая к ней покорность к каторжной судьбе?

Надежда, всегда давившая своей живой тяжестью ей на сердце, умерла...

Под эту веселую танцевальную музыку Маша навсегда потеряла надежду увидеть Юлю, затерянную среди приемников, коллекторов, колоний, детдомов, в громаде Союза Советских Социалистических Республик. Под веселую музыку танцевали ребята в общежитиях и клубах. И Маша поняла, что мужа ее нет нигде, он расстрелян, и она уже никогда не увидит его.

И она осталась без надежды, совсем одна... Никогда она не увидит Юлю, ни сегодня, ни седой старухой, никогда.

Боже, боже, сжалься над ней, господи, пожалей, помилуй ее.

Через год Маша ушла из лагеря. Перед тем, как вернуться на волю, она полежала в морозной землянке на сосновом настиле, и ее не торопили на работу, никто не обижал ее; санитары положили Машу Любимову в четырехугольный ящик, сколоченный из выбракованных отделом технического контроля досок, поглядели в последний раз на ее лицо, на нем было выражение милого детского восторга и растерянности, то выражение, с каким она у склада пиломатериалов слушала веселую музыку, сперва обрадовалась, а потом поняла, что надежды нет.

И Иван Григорьевич подумал, что на колымской каторге мужчина неравноправен женщине, — все же судьба мужчины легче.

## 14

Иван Григорьевич во сне увидел мать. Она шла по дороге, сторонясь потока тягачей, самосвалов; она не видела сына, он кричал: «Мама, мама, мама...», но тяжелый гул тракторов заглушал его голос.

Он не сомневался, что она в сутолоке дороги узнает в седом лагернике своего сына, только бы услышала, только бы оглянулась, но она не слышала его, не оглянулась.

Он в отчаянии открыл глаза, над ним склонилась полуодетая женщина, — он во сне звал мать, и женщина подошла к нему.

Она была рядом с ним. Он почувствовал сразу, всем существом своим, что она прекрасна. Она слышала, как он кричал во сне, и она подошла к нему, испытывая к нему нежность и жалость. Глаза женщины не плакали, но он увидел в них нечто большее, чем слезы сочувствия, увидел то, чего он никогда не видел в глазах людей.

Она была прекрасна потому, что она была добра. Он взял ее за руку. Она легла рядом с ним, и он ощутил ее тепло, ее нежную грудь, ее плечи, ее волосы. Казалось, он ощущал не наяву, а во сне: наяву он никогда не бывал счастлив.

Вся она была доброта, и он понимал телесным существом своим, что ее нежность, ее тепло, ее шепот прекрасны, потому что сердце ее полно доброты к нему, потому что любовь есть доброта.

Первая любовная ночь...

— Вспоминать это не хочется, тяжело очень, а не забудешь тоже. Вот живет оно — то ли спит, не спит. Железо в сердце, словно осколок. Не отмахнешься от него. Как забыть... Я вполне взрослая была.

Милый мой, я мужа очень любила. Я красивая была, а все же плохая, недобрая. Мне тогда двадцать два года было. Ты меня не полюбил бы тогда и красивую. Я знаю, я как женщина чувствую: не только я для тебя то, что мы рядом с тобой легли. А я смотрю на тебя, ты не сердись, как на Христа. Все хочется перед тобой, как перед богом, каяться. Хороший мой, желанный, я хочу тебе об этом рассказать, все вспомнить, что было.

Нет, при раскулачивании голода не было, упали только площади. А голод пришел в тридцать втором, на второй год после раскулачивания.

Я в РИКе полы мыла, а подруга моя в земотделе, и мы много знали, я могу все, как было, рассказать. Счетовод мне говорил: «Тебе министром быть», я действительно быстро понимаю, и память у меня хорошая.



Раскулачивание началось в двадцать девятом году, в конце года, а главный разворот стал в феврале и марте тридцатого.

Вот вспомнила: прежде чем арестовывать, на них обложение сделали. Они раз выплатили, вытянули, во второй раз продавали, кто что мог, — только бы выплатить. Им казалось — если выплатят, государство их помилует. Некоторые скотину резали, самогон из зерна гнали — пили, ели, все равно, говорили, жизнь пропала.

Может быть, в других областях по-иному было, а в нашей именно так шло. Начали арестовывать только глав семейств. Большинство взяли таких, кто при Деникине служил в казачьих частях. Аресты одно ГПУ делало, тут актив не участвовал. Первый набор весь расстреляли, никто не остался в живых. А тех, что арестовали в конце декабря, продержали в тюрьмах два-три месяца и послали на спецпереселение. А когда отцов арестовывали, семей не трогали, только делали опись хозяйства, и семья уж не считалась владеющей, а принимала хозяйство на сохранение.

Область спускала план — цифру кулаков в районы, районы делили свою цифру сельсоветам, а сельсоветы уже списки людей составляли. Вот по этим спискам и брали. А кто составлял? Тройки. Мутные люди определяли — кому жить, кому смерть. Ну и ясно — тут уж всего было — и взятки, и из-за бабы, и за старую обиду, и получалось иногда — беднота попадала в кулаки, а кто побогаче откупался.

А теперь я вижу, не в том беда, что, случалось, списки составляли жулье. Честных в активе больше было, чем жулья, а злодейство от тех и других было одинаковое. Главное, что все эти списки злодейские, несправедливые были, а уж кого в них вставить — не все ли равно. И Иван невинный, и Петр невинный. Кто эту цифру дал на всю Россию? Кто этот план дал на все крестьянство? Кто подписал?

Отцы сидят, а в начале тридцатого года семьи стали забирать. Тут уж одного ГПУ не хватило, актив мобилизовали, все свои же люди знакомые, но они какие-то обалделые стали, как околдованные, пушками грозятся, детей кулацкими выродками называют, кровососы, кричат, а в кровососах со страху в самих ни кровинки не осталось, белые, как бумага. А глаза у актива, как у котов, стеклянные. И ведь в большинстве свои же. Правда: околдованные — так себя уговорили, что касаться ничего не могут, — и полотенце поганое, и за стол паразитский не сядут, и ребенок кулацкий омерзительный, и девушка хуже воши. И смотрят они на раскулачиваемых, как на скотину, на свиней, и все в кулаках отвратительное — и личность, и души в них нет, и воняет от кулаков, и все они венерические, а главное — враги народа и эксплуатируют чужим трудом. А беднота, да комсомол, и милиция — это все Чапаевы, одни герои, а посмотреть на этот актив: люди, как люди, и сопливые среди них есть, и подлецов хватает.

На меня тоже стали эти слова действовать, девчонка совсем — а тут и на собраниях, и специальный инструктаж, и по радио передают, и в кино показывают, и писатели пишут, и сам Сталин, и все в одну точку: кулаки, паразиты, хлеб жгут, детей убивают, и прямо объявили: поднимать ярость масс против них, уничтожать их всех, как класс, проклятых... И я стала околдовываться, и все кажется: вся беда от кулаков и, если уничтожить их сразу, для крестьянства счастливое время наступит. И никакой к ним жалости: они не люди, а не разберешь что, твари. И я в активе стала. А в активе всего было: и такие, что верили и паразитов ненавидели, и за беднейшее крестьянство, и были — свои дела обделывали, а больше всего, что приказ выполняли, — такие и отца с матерью забьют, только бы исполнить по инструкции. И не те самые поганые, что верили в счастливую жизнь, если уничтожить кулаков. И лютые звери, и те не самые страшные. Самые поганые, что на крови свои дела обделывали, кричали про сознательность, а сами личный счет сводили и грабили. И губили ради интереса, ради барахла, пары сапог, а погубить легко — напиши на него, и подписи не надо, что на него батрачили или имел трех коров, — и готов кулак. И все это я видела, волновалась, конечно, но в глубине не переживала — если бы на ферме скотину не по правилу резали, я бы волновалась, конечно, сильно, но сна бы не лишилась.

...Неужели не помнишь, как ты мне ответил? А я не забуду твоих слов. От них видно, они дневные. Я спросила, как немцы могли у евреев

детей в камерах душить, как они после этого могут жить, неужели ни от людей, ни от бога так и нет им суда? А ты сказал: суд над палачом один — он на жертву свою смотрит не как на человека и сам перестает быть человеком, в себе самом человека казнит, он самому себе палач, а загубленный остается человеком навеки, как его ни убивай. Вспомнил?

Я понимаю, почему теперь я в кухарки пошла, не захотела дальше быть председателем колхоза. Да я раньше тебе уже про это говорила.

И я вспоминаю теперь раскулачивание, и по-другому вижу все — расколдовалась, людей увидела. Почему я такая заледенелая была? Ведь как люди мучились, что с ними делали! А говорили: это не люди, это кулачье. А я вспоминаю, вспоминаю и думаю — кто слово такое придумал — кулачье, неужели Ленин? Какую муку приняли! Чтобы их убить, надо было объявить — кулаки не люди. Вот так же, как немцы говорили: жиды не люди. Так и Ленин, и Сталин: кулаки не люди. Неправда это! Люди! Люди они! Вот что я понимать стала. Все люди!

Ну вот, в начале тридцатого года стали семьи раскулачивать. Самая горячка была в феврале и в марте. Торопили из района, чтобы к посевной кулаков уж не было, а жизнь пошла по-новому. Так мы говорили: первая колхозная весна.

Актив, ясно, выселял. Инструкции не было, как выселять. Один председатель нагонит столько подвод, что имущества не хватало, звание — кулаки, а подводы полупустые шли. А из нашей деревни гнали раскулаченных пешком. Только что на себя взяли — постель, одежду. Грязь была такая, что сапоги с ног стаскивала. Нехорошо было на них смотреть. Идут колонной, на избы оглядываются, от своей печки тепло еще на себе несут, что они переживали, — ведь в этих домах родились, в этих домах дочек замуж отдавали. Истопили печку, а щи недоваренные остались, молоко недопитое, а из труб еще дым идет, плачут женщины, а кричать боятся. А нам хоть бы что: актив — одно слово. Подгоняем их, как гусей. А сзади тележка — на ней Пелагея слепая, старичок Дмитрий Иванович, который лет десять через ноги из хаты не выходил, и Маруся-дурочка, парализованная, кулацкая дочь, ее в детстве лошадь копытом по виску ударила — и с тех пор она обомлела.

А в райцентре нехватка тюрем. Да и какая в райцентре тюрьма — каталажка. А тут ведь сила — из каждой деревни народная колонна. Кино, театр, клубы, школы под арестантов пошли. Но держали людей недолго. Погнали на вокзал, а там на запасных путях эшелоны ждали, порожняк товарный. Гнали под охраной — милиция, ГПУ — как убийц: дедушки да бабушки, бабы да дети, отцов-то нет, их еще зимой забрали. А люди шепчут: «Кулачье гонят», словно на волков. И кричали им некоторые: «Вы проклятые», а они уж не плачут, каменные стали...

Как везли, я сама не видела, но от людей слышала, ездили наши за Урал к кулакам в голод спасаться, я сама от подруги письмо получила; потом убегали из спецпереселения некоторые, я с двумя говорила...

Везли их в опечатанных теплушках, вещи шли отдельно, с собой только продукты взяли, что на руках были. На одной транзитной станции, подруга писала, отцов в эшелон посадили, была в тот день в этих теплушках радость великая и слезы великие... Ехали больше месяца, пути эшелонами забиты, со всей России крестьян везли, впритир лежали, и нар не было, в скотских вагонах. Конечно, больные умерли в дороге, не доехали. Но главное что: кормили на узловых станциях — ведро баланды, хлеба двести грамм.

Конвой военный был. У конвоя злобы не было, как к скотине, так мне подруга писала.

А как там было — мне эти беглые рассказывали — область их разверстывала по тайге. Где деревушка лесная, там нетрудоспособных в избы набили, тесно, как в эшелоне. А где деревни вблизи нет — прямо на снег сгружали. Слабые померзли. А трудоспособные стали лес валить, пней, говорят, не корчевали, они не мешали. Деревья выкатывали и строили шалаши, балаганы, без сна почти работали, чтобы семьи не померзли; а потом уж стали избушки класть, две комнатки, каждая на семью. На мху клали — мхом конопатили.

Трудоспособных закупили у энкаведе леспромхозы, снабжение от леспромхоза, а на иждивенцев паек. Называлось: трудовой поселок, комендант, десятники. Платили, рассказывали, наравне с местными, но заработок весь на заборные книжки уходил. Народ могучий наш — стали скоро больше местных получать. Права не имели за пределы выйти — или в поселке, или на лесосеке. Потом уж, я слышала, в войну им разрешили в пределах района, а после войны разрешили героям труда и вне района, кое-кому паспорта дали.



А подруга мне писала: из нетрудоспособного кулачества стали колонии сбивать — на самоснабжении. Но семена в долг дали и до первого урожая от энкаведе на пайке. А комендант и охрана обыкновенно — как в трудовых поселках. Потом их в артели перевели, у них там, помимо коменданта, выборные были.

А у нас новая жизнь без раскулаченных началась. Стали в колхоз сгонять — собрания до утра, крик, матершина. Одни кричат: не пойдем, другие — ладно уж, пойдем, только коров не отдадим. А потом пришла Сталина статья — головокружение от успехов. Опять каша: кричат — Сталин не велит силой в колхозы гнать. Стали на обрывках газет заявления подавать: выбываю из колхоза в единоличные. А потом опять загонять в колхозы стали. А вещи, что остались от раскулаченных, большей частью раскрадывали.

И думали мы, что нет хуже кулацкой судьбы. Ошиблись! По деревенским топор ударил, как они стояли все, от мала до велика.

Голодная казнь пришла.

А я тогда уже не полы мыла, а счетоводом стала. И меня как активистку послали на Украину для укрепления колхоза. У них, нам объясняли, дух частной собственности сильней, чем в Рэсэфэсэр. И правда, у них еще хуже, чем у нас дело шло. Послали меня недалеко, мы ведь на границе с Украиной, — трех часов езды от нас до этого места не было. А место красивое. Приехала я туда — люди как люди. И стала я в правлении ихнем счетоводом.

Я во всем, мне кажется, разобралась. Меня, видно, недаром старик министром назвал. Это я тебе только так говорю, потому что тебе — как себе, а постороннему человеку я никогда не похвастаюсь про себя. Всю отчетность я без бумаги в голове держала. И когда инструктаж был, и когда наша тройка заседала, и когда руководство водку пило, я все разговоры слушала.

Как было? После раскулачивания очень площади упали и урожайность стала низкая. А сведения давали — будто без кулаков сразу расцвела наша жизнь. Сельсовет врет в район, район — в область, область — в Москву. И докладывают про счастливую жизнь, чтобы Сталин порадовался: в колхозном зерне вся его держава купаться будет. Поспел первый колхозный урожай, дала Москва цифры заготовки. Все как нужно: центр — областям, области — по районам. И нам дали в село заготовку — и за десять лет не выполнить! В сельсовете и те, что не пили, со страху перепились. Видно, Москва больше всего на Украину понадеялась. Потом на Украину и больше всего злобы было. Разговор-то известный: не выполнил — значит, сам недобитый кулак.

Конечно, поставки нельзя было выполнить — площади упали, урожайность упала, откуда же его взять, море колхозного зерна? Значит — спрятали! Недобитые кулаки, лодыри. Кулаков убрали, а кулацкий дух остался. Частная собственность у хохла в голове хозяйка.

Кто убийство массовое подписал? Я часто думаю — неужели Сталин? Я думаю, такого приказа, сколько Россия стоит, не было ни разу. Такого приказа не то что царь, но и татары, и немецкие оккупанты не подписывали. А приказ — убить голодом крестьян на Украине, на Дону, на Кубани, убить с малыми детьми. Указание было забрать и семенной фонд весь. Искали зерно, как будто не хлеб это, а бомбы, пулеметы. Землю истыкали штыками, шомполами, все подполы перекопали, все полы повзламывали, в огородах искали. У некоторых забирали зерно, что в хатах было, — в горшки, в корыта ссыпаны. У одной женщины хлеб печеный забрали, погрузили на подводу и тоже в район отвезли.

Днем и ночью подводы скрипели, пыль над всей землей висела, а элеваторов не было, ссыпали на землю, а кругом часовые ходят. Зерно

к зиме от дождя намокло, гореть стало — не хватило у советской власти брезента мужицкий хлеб прикрыть.

А когда еще из деревень везли зерно, кругом пыль поднялась, все в дыму: и село, и поле, и луна ночью. Один с ума сошел: горим, небо горит, земля горит! Кричит! Нет, небо не горело, это жизнь горела.

Вот тогда я поняла: первое для советской власти — план. Выполни план! Сдай разверстку, поставки! Первое дело — государство. А люди — нуль без палочки.

Отцы и матери хотели детей спасти, хоть немного хлеба спрятать, а им говорят: у вас лютая ненависть к стране социализма, вы план хотите сорвать, тунеядцы, подкулачники, гады. Не план сорвать, детей хотели спасти, самим спастись. Кушать ведь людям нужно.

Рассказать я все могу, только в рассказе слова, а это ведь жизнь, мука, смерть голодная. Между прочим, когда забирали хлеб, объясняли активу, что из фондов кормить будут. Неправда это была. Ни зерна голодным не дали.

Кто отбирал хлеб, большинство свои же, из РИКа, из райкома, ну комсомол, свои же ребята, хлопцы, конечно, милиция, энкаведе, кое-где даже войска были, я одного мобилизованного московского видела, но он не старался как-то, все стремился уехать... И опять, как при раскулачивании, люди все какие-то обалделые, озверелые стали.

Гришка Саенко, милиционер, он на местной, деревенской, был женат и приезжал гулять на праздники — веселый, и хорошо танцевал танго и вальс, и пел украинские песни деревенские. А тут к нему подошел дедушка совсем седенький и стал говорить: «Гриша, вы нас всех знищаете, это хуже убийства, почему рабоче-крестьянская власть такое против крестьянства делает, чего царь не делал...» Гришка пихнул его, а потом пошел к колодцу руки мыть, сказал людям: «Как я буду ложку рукой брать, когда я этой паразитской морды касался».

А пыль — и ночью и днем пыль, пока хлеб везли. Луна — вполнеба — камень, и от этой луны все диким кажется, и жарко так ночью, как под овчиной, и поле, хоженое-перехоженное, как смертная казнь, страшное.

И люди стали какие-то растерянные, и скотина какая-то дикая, пугается, мычит, жалуется, и собаки выли сильно по ночам. И земля потрескалась.

Ну вот, а потом осень пришла, дожди, а потом зима снежная. А хлеба нет.

И в райцентре не купишь, потому что карточная система. И на станции не купишь, в палатке, — потому что военизированная охрана не подпускает. А коммерческого хлеба нет.

С осени стали нажимать на картошку, без хлеба быстро она пошла. А к рождеству начали скотину резать. Да и мясо это на костях, тощее. Курей порезали, конечно. Мясцо быстро подъели, а молока глоточка не стало, во всей деревне яичка не достанешь. А главное — без хлеба. Забрали хлеб у деревни до последнего зерна. Ярового нечем сеять, семенной фонд до зернышка забрали. Вся надежда на озимый. Озимые под снегом еще, весны не видно, а уж деревня в голод входит. Мясо съели, пшено, что было, подъедают вчистую, картошку, у кого семьи большие, съели всю.

Стали кидаться ссуды просить — в сельсовете, в район. Не отвечают даже. А доберись до района, лошадей нет, пешком по большаку девятнадцать километров.

Ужас сделался. Матери смотрят на детей и от страха кричать начинают. Кричат, будто змея в дом вползла. А эта змея — смерть, голод. Что делать? А в голове у селян только одно — что бы покушать. Сосет, челюсти сводит, слюна набегает, все глотаешь ее, да слюной не накушаешься. Ночью проснешься, кругом тихо: ни разговору, ни гармошки. Как в могиле, только голод ходит, не спит. Дети по хатам с самого утра плачут — хлеба просят. А что мать им даст — снегу? А помощи ни от кого. Ответ у партийных один — работать надо было, лодырничать не надо было. А еще отвечали: у себя самих поищите, в вашей деревне хлеба закопано на три года.

Но зимой еще настоящего голода не было. Конечно, вялые стали, животы вздуло от картофельных очистков, но опухших не было. Стали



желуди из-под снега копать, сушили их, а мельник развел жерновы пошире, молол желуди на муку. Из желудей хлеб пекли, вернее, лепешки. Они темные очень, темнее ржаного хлеба. Кое-кто добавлял отрубей или картофельных очистков толченых. Желуди быстро кончились — дубовый лесок небольшой, а в него сразу три деревни кинулись. А приехал из города уполномоченный и в сельсовете говорил нам: вот паразиты, из-под снега голыми руками желуди таскают, только бы не работать.

В школу старшие классы почти до самой весны ходили, а младшие зимой перестали. А весной школа закрылась — учительница в город уехала. И с медпункта фельдшер уехал — кушать стало нечего. Да и не вылечишь голода лекарством. Деревня одна осталась — кругом пустыня и голодные в избах. И представители разные из города ездить перестали — чего ездить? Взять с голодных нечего, значит, и ездить не надо. И лечить не надо, и учить не надо. Раз с человека держава взять ничего не может, он становится бесполезный. Зачем его учить да лечить?

Сами остались, отошло от голодных государство. Стали люди по деревне ходить, просить друг у друга, нищие у нищих, голодные у голодных. У кого детей поменьше или одинокие, у таких кое-что к весне оставалось, вот многодетные у них и просили. И случалось, давали горстку отрубей или картошек парочку. А партийные не давали — и не от жадности или по злобе, боялись очень. А государство зернышка голодным не дало, а оно ведь на крестьянском хлебе стоит. Неужели Сталин про это знал? Старики рассказывали: голод бывал при Николае — все же помогали, и в долг давали, и в городах крестьянство просило Христа ради, и кухни такие открывали, и пожертвования студенты собирали. А при рабоче-крестьянском правительстве зернышка не дали, по всем дорогам заставы — войска, милиция, энкаведе — не пускают голодных из деревень, к городу не подойдешь, вокруг станций охрана, на самых малых полустанках охрана. Нету вам, кормильцы, хлеба. А в городе по карточкам рабочим по восемьсот грамм давали. Боже мой, мыслимо ли это — столько хлеба — восемьсот грамм! А деревенским детям ни грамма. Вот как немцы — детей еврейских в газу душили: вам не жить, вы жиды. А здесь совсем не поймешь — и тут советские, и тут советские, и тут русские, и тут русские, и власть рабоче-крестьянская, за что же эта погибель?

А когда снег таять стал, вошла деревня по горло в голод.

Дети кричат, не спят: и ночью хлеба просят. У людей лица, как земля, глаза мутные, пьяные. И ходят сонные, ногой землю щупают, рукой за стенку держатся. Шатает голод людей. Меньше стали ходить, все больше лежат. И все им мерещится — обоз скрипит, из райцентра прислал Сталин муку — детей спасать.

Бабы крепче оказались мужчин, злее за жизнь цеплялись. А досталось им больше — дети кушать у матерей просят. Некоторые женщины уговаривают, целуют детей: «Ну не кричите, терпите, где я возьму?» Другие как бешеные становятся: «Не скули, убью!» — и били чем попало, только бы не просили. А некоторые из дому выбегали, у соседей отсиживались, чтобы не слышать детского крика.

К этому времени кошек и собак не осталось — забили. И ловить их было трудно — они опасались людей, глаза дикие у них стали. Варили их, жилы одни сухие, из голов студень вываривали.

Снег стаял, и пошли люди опухать, пошел голодный отек — лица пухлые, ноги как подушки, в животе вода, мочатся все время — на двор не успевают выходить. А крестьянские дети: видел ты, в газете печатали — дети в немецких лагерях? Одинаковы: головы, как ядра, тяжелые, шеи тонкие, как у аистов, на руках и на ногах видно, как каждая косточка под кожей ходит, как двойные соединяются, весь скелет кожей, как желтой марлей, затянут. А лица у детей старенькие, замученные, словно младенцы семьдесят лет на свете уж прожили, а к весне уж не лица стали: то птичья головка с клювиком, то лягушечья мордочка — губы тонкие, широкие, третий как пескарик — рот открыт. Нечеловеческие лица, а глаза, господи! Товарищ Сталин, боже мой, видел ты эти глаза? Может быть, и в самом деле он не знал, он ведь статью написал про головокружение.

Чего только не ели — мышей ловили, крыс ловили, галок, воробьев, муравьев, земляных червей копали, стали кости на муку толочь, кожу, подошву, шкуры старые вонючие на лапшу резали, клей вываривали.

А когда трава поднялась, стали копать корни, варить листья, почки, все в ход пошло — и одуванчик, и лопух, и колокольчики, и иван-чай, и сныть, и борщевик, и крапива, и очиток... Липовый лист сушили, толкли на муку, но у нас липы мало было. Лепешки из липы зеленые, хуже желудовых.

А помощи нет! Да тогда уж не просили! Я и теперь, когда про это думать начинаю, с ума схожу, — неужели отказался Сталин от людей? На такое страшное убийство пошел. Ведь хлеб у Сталина был. Значит, нарочно убивали голодной смертью людей. Не хотели детям помочь. Неужели Сталин хуже Ирода был? Неужели, думаю, хлеб до зерна отнял, а потом убил людей голодом. Нет, не может такого быть! А потом думаю: было, было! И тут же — нет, не могло того быть!

Вот когда еще не обессилели, ходили полем к железной дороге, не на станцию, на станцию охрана не допускала, а прямо на пути. Когда идет скорый поезд Киев — Одесса, на колени становятся и кричат: хлеба, хлеба! Некоторые своих страшных детей поднимают. И, случалось, бросали люди куски хлеба, объедки разные. Пыль уляжется, отгрохочет, и ползает деревня вдоль пути, корки ищет. Но потом вышло распоряжение, когда поезд через голодные области шел, охрана окна закрывала и занавески спускала. Не допускала пассажиров к окнам. Да и сами деревенские ходить перестали — сил не стало не то что до рельсов дойти, а из хаты во двор выползти.

Я помню, один старик принес председателю кусок газеты, подобрал его на путях. И там заметка: француз приехал, министр знаменитый, и его повезли в Днепропетровскую область, где самый страшный мор был, еще хуже нашего, там люди людей ели, и вот в село его привезли, в колхозный детский садик, н он спрашивает: «Что вы сегодня на обед кушали?», а дети отвечают: «Куриный суп с пирожком и рисовые котлеты». Я сама читала, вот как сейчас вижу этот кусок газеты. Что ж это? Убивают, значит, на тихаря миллионы людей и весь свет обманывают! Куриный суп, пишут! Котлеты! А тут червей всех съели. А старик председателю сказал: при Николае на весь свет газеты про голод писали — помогите, крестьянство гибнет. А вы, ироды, театры представляете!

Завыло село, увидело свою смерть. Всей деревней выли — не разумом, не душой, а как листья от ветра шумят или солома скрипит. И тогда меня зло брало — почему они так жалобно воют, уж не люди стали, а кричат так жалобно. Надо каменной быть, чтобы слушать этот вой и свой пайковый хлеб кушать. Бывало, выйду с пайкою в поле, и слышно: воют. Пойдешь дальше, вот-вот, кажется, стихло, пройду еще, и опять слышнее становится, — это уж соседняя деревня воет. И кажется, вся земля вместе с людьми завыла. Бога нет, кто услышит?

Мне один энкаведе сказал: «Знаешь, как в области ваши деревни называют: кладбища суровой школы». Но я сперва не поняла этих слов. А погода какая стояла хорошая! В начале лета шли дожди, такие быстрые, легкие, солнце жаркое вперемешку с дождем, — и от этого пшеница стеной стояла, топором ее руби, и высокая, выше человеческого роста. В это лето радуги сколько я нагляделась, и грозы, и дождя теплого, цыганского.

Гадали все зимой, будет ли урожай, стариков расспрашивали, приметы перебирали — вся надежда была на озимую пшеницу. И надежда оправдалась, а косить не смогли. Зашла я в одну избу. Люди лежат, то ли еще дышат, то ли уже не дышат, кто на кровати, кто на печке, а хозяйская дочь, я ее знала, лежит на полу в каком-то беспамятстве, зубами грызет ножку у табуретки. И так страшно это — услышала она, что я вошла, не оглянулась, а заворчала, как собаки ворчат, если к ним подходят, когда они кость грызут.

Пошел по селу сплошной мор. Сперва дети, старики, потом средний возраст. Вначале закапывали, потом уж не стали закапывать. Так мертвые и валялись на улицах, во дворах, а последние в избах остались лежать. Тихо стало. Умерла вся деревня. Кто последним умирал, я не знаю. Нас, которые в правлении работали, в город забрали.

Попала я сперва в Киев. Стали как раз в эти дни коммерческий хлеб давать. Что делалось! Очереди по полкилометра с вечера становились. Очереди, знаешь, разные бывают — в одной стоят, посмеиваются, семечки грызут, в другой номера на бумажках списывают, в третьей, где не шутят, на ладони пишут либо на спине мелом. А тут очереди особые — я таких больше не видела. Друг дружку обхватывают за пояс и стоят один к одному. Если кто оступится, всю очередь шатнет, как волна по ней проходит. И словно танец начинается — из стороны в сторону. И все сильней качаются. Им страшно, что не хватит силы за передового цепляться и руки разожмутся, и от этого страха женщины кричать начинают, и так вся очередь воет, и кажется, они с ума посходили — поют да танцуют. А то шпана в очередь врывается: смотрят, где цепь легче порвать. И когда шпана подходит, все снова воют от страха, а кажется, что они поют. В очереди за коммерческим хлебом стоял народ городской — лишенцы, беспаспортные, ремесло — либо пригородные.



А из деревни ползет крестьянство. На вокзалах оцепление, все составы обыскивают. На дорогах всюду заставы — войска, энкаведе, а все равно добираются до Киева — ползут полем, целиной, болотами, лесочками, только бы заставы миновать на дорогах. На всей земле заставы не поставишь. Они уж ходить не могут, а только ползут. Народ спешит по своим делам, кто на работу, кто в кино, трамваи ходят, а голодные среди народа ползут — дети, дядьки, дивчины, и кажется, это не люди, какие-то собачки или кошечки паскудные на четвереньках. А оно еще хочет по-человечески, стыд имеет, дивчина ползет опухшая, как обезьяна, скулит, а юбку поправляет, стыдается, волосы под платок прячет — деревенская, первый раз в Киев попала. Но это счастливые доползли, один на десять тысяч. И все равно им спасения нет — лежит голодный на земле, шипит, просит, а кушать он не может, краюшка рядом, а он уже ничего не видит, доходит.

По утрам ездили платформы, битюги, собирали которые за ночь умерли. Я видела одну платформу — дети на ней сложены. Вот как я говорила — тоненькие, длинненькие, личики, как у мертвых птичек, клювики острые. Долетели эти пташки до Киева, а что толку? А были среди них — еще пищали, головки, как налитые, мотаются. Я спросила возчика, он рукой махнул: пока довезу до места — притихнут. Я видела: дивчина одна поползла поперек тротуара, ее дворник ногой ударил, она на мостовую скатилась. И не оглянулась даже, ползет быстро, быстро, старается, откуда еще сила. И еще платье отряхивает, запылилось, видишь. А я в этот день газету московскую купила, прочла статью Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки. Неужели Максим Горький не знал про тех детей, что битюги на свалку вывозили, — им, что ли, игрушки? А может быть, он знал? И так же молчал, как все молчали. И так же писал, как те писали, — будто эти мертвые дети едят куриный суп. Мне этот ломовой сказал: больше всего мертвых возле коммерческого хлеба — сжует опухший кусочек и готов. Запомнился мне Киев этот, хоть я там всего три дня пробыла.

Вот что я поняла. Вначале голод из дому гонит. В первое время он, как огонь, печет, терзает, и за кишки, и за душу рвет, — человек и бежит из дому. Люди червей копают, траву собирают, видишь, даже в Киев прорывались. И все из дому, все из дому. А приходит такой день, и голодный обратно к себе в хату заползает. Это значит — осилил голод, и человек уж не спасается, ложится на постель и лежит. И раз человека голод осилил, его не подымешь, и не только оттого, что сил нет, — нет ему интереса, жить не хочет. Лежит себе тихо — и не тронь его. И есть голодному не хочется, мочится все время и понос, и голодный становится сонный, не тронь его, только бы тихо было. Лежат голодные и доходят. Это рассказывали и военнопленные — если ложится пленный боец на нары, за пайкой не тянется, значит, конец ему скоро. А на некоторых безумие находило. Эти уж до конца не успокаивались. Их по глазам видно — блестят. Вот такие мертвых разделывали и варили и своих детей убивали и съедали. В этих зверь поднимался, когда человек в них умирал. Я одну женщину видела, в райцентр ее привезли под конвоем — лицо человечье, а глаза волчьи. Их, людоедов, говорили, расстреливали всех поголовно. А они не виноваты, виноваты те, что довели мать до того, что она своих детей ест. Да разве найдешь виноватого, кого ни спроси. Это ради хорошего, ради всех людей матерей довели.

Я тогда увидела — всякий голодный, он вроде людоед. Мясо сам с себя объедает, одни кости остаются, жир до последней капельки. Потом

он разумом темнеет — значит, и мозги свои съел. Съел голодный себя всего.

Еще я думала — каждый голодный по-своему умирает. В одной хате война идет, друг за другом следят, друг у дружки крохи отнимают. Жена на мужа, муж против жены. Мать детей ненавидит. А в другой хате любовь нерушимая. Я знала одну такую, четверо детей, — она и сказки им рассказывает, чтобы про голод забыли, а у самой язык не ворочается, она их на руки берет, а у самой уж силы нет пустые руки поднять. А любовь в ней живет. И замечали люди — где ненависть, там скорей умирали. Э, да что любовь, тоже никого не спасла, вся деревня поголовно легла. Не осталось жизни.

Я узнала потом — тихо стало в деревне нашей. И детей не слышно. Там уж ни игрушек, ни супа куриного не надо. Не выли. Некому. Узнала, что пшеницу войска косили, только красноармейцев в мертвую деревню не допускали, в палатках стояли. Им объясняли, что эпидемия была. Но они жаловались, что от деревень запах ужасный шел. Войска и озимые посеяли. А на следующий год привезли переселенцев из Орловской области — земля ведь украинская, чернозем, а у орловских всегда недород. Женщин с детьми оставили возле станции в балаганах, а мужчин повели в деревню. Дали им вилы и велели по хатам ходить, тела вытаскивать — покойники лежали, мужчины и женщины, кто на полу, кто на кроватях. Запах страшный в избах стоял. Мужики себе рты и носы платками завязывали — стали вытаскивать тела, а они на куски разваливаются. Потом закопали эти куски за деревней. Вот тогда я поняла — это и есть кладбище суровой школы. Когда очистили от мертвых избы, привели женщин полы мыть, стены белить. Все сделали, как надо, а запах стоит. Второй раз побелили и полы наново глиной мазали — не уходит запах. Не смогли они в этих хатах ни есть, ни спать, вернулись в Орловскую обратно. Но, конечно, земля пустой не осталась — земля ведь какая!

И словно не жили. А многое чего было. И любовь, и жены от мужей уходили, и дочерей замуж отдавали, и дрались пьяными, и гости приезжали, и хлеб пекли... А работали как! И песни спевали. И дети в школу ходили... И кинопередвижка приезжала, самые старые, и те ходили картины смотреть.

И ничего не осталось. А где же эта жизнь, где страшная мука? Неужели ничего не осталось? Неужели никто не ответит за это все? Вот так и забудется без следа? Травка выросла.

Вот я тебя спрашиваю: как же это?

Вот видишь, и прошла наша ночка, уже светает. Пора нам с тобой на работу собираться.

## 15

Голос у Василия Тимофеевича был негромкий, движения нерешительные. Когда заговаривали с Ганной, она опускала карие глаза и отвечала едва слышно.

А после женитьбы они совсем застеснялись: он, пятидесятилетний человек, которого соседские дети называли «диду», засмущался, засовестился оттого, что седеющий, лысый, с морщинами женился на молодой девушке, счастлив своей любовью, глядя на нее шепчет: «Голубка моя... серденько мое». Когда-то ей, девчонке, представлялся будущий муж, — он и Щорс, и лучший гармонист на селе, и пишет задушевные стихи, как Тарас Шевченко. Но ее кроткое сердце понимало силу любви к ней неудачливого, бедного, всегда жившего не своей, а чужой жизнью, робкого пожилого человека. А он понимал ее молодую надежду, — вот придет сельский лыцарь и уведет ее из тесной хаты отчима... А пришел за ней он, в старых чоботах, с большими темными мужицкими руками, виновато покашливая, и вот смотрит он на нее с обожанием, счастьем, виной, горем. И она виновата перед ним, кротка, молчалива.

И сын у них, Гриша, родился тихий, никогда не заплачет, и, похожая после родов на худенькую девочку, мать иногда подходила к люльке ночью и, видя, что мальчик лежит с открытыми глазами, говорила:

— Та ты хоть поплачь трошки, Гришенька, чего ты все мовчишь та мовчишь?



И в хате муж и жена разговаривали вполголоса, а соседи удивлялись:

— Та чего це вы так тыхо балакаете?

И странно — она, молодая женщина, и он, пожилой, некрасивый мужик, были очень схожи своими кроткими сердцами, своей робостью.

Работали они оба безотказно и даже вздохнуть стеснялись, когда бригадир несправедливо гнал их не в очередь в поле.

Однажды Василий Тимофеевич по наряду от колхозной конюшни поехал с председателем в райцентр, и, пока председатель ходил в райзо, райфо, он, привязав лошадей к тумбе, зашел в раймаг и купил жене гостинец — маковников, леденцов, сушек, орешков, всего понемножку, по сто пятьдесят граммов. Когда он, войдя в хату, развязал белую хусточку, жена радостно, по-детски всплеснула руками, вскрикнула: «Ой, мамо», и Василий Тимофеевич, застеснявшись, вышел в сени, чтобы она не увидела его счастливых, плачущих глаз.

Она ему на риздво вышила узор на рубашке и так уж не узнала, что Василий Тимофеевич Карпенко в эту ночь почти не спал, подходил босыми ногами к комодику, на котором лежала рубашка, гладил ее ладонью, щупал вышитый крестиками незамысловатый узор. Он вез жену из родильного отделения районной больницы, она держала на руках ребенка, и ему казалось, что проживи он тысячу лет — он не забудет этого дня.

Иногда ему становилось жутко — мыслимое ли дело, чтобы в его жизни случилось такое счастье, мыслимо ли вот так проснуться среди ночи, прислушаться к дыханию жены и сына.

Разве тихая, робеющая перед всеми людына имела право на такое дело?

Но вот так оно было. Он шел с работы к дому и видел пеленочку, сохнувшую на плетне, и дымок из трубы. Он смотрел на жену — она наклонилась над люлькой, ставит на стол тарелку борща и улыбается чему-то, он глядит на ее руки, на волосы, выбившиеся из-под хустки, он слушает, что говорит она о немовлятке, о соседней овце. Иногда она выходила в сени, и он скучал, даже тосковал, ожидая ее, а когда она возвращалась — он радовался, и она, уловив его взгляд, кротко и грустно улыбалась ему.

Василий Тимофеевич умер первым, опередив на два дня маленького Гришу. Он отдавал почти все крохи еды жене и ребенку и потому умер раньше их. Вероятно, в мире не было самопожертвования выше того, что проявил он, и отчаяния больше того, что пережил он, глядя на обезображенную смертным отеком жену и умирающего сына.

Ни упрека, ни гнева к великому и бессмысленному делу, что совершали государство и Сталин, не испытал он до последнего своего часа. Он даже не задал вопроса: «За что?», за что ему и его жене, кротким, покорным, трудолюбивым, и тихому годовалому мальчику определена мука голодной смерти.

Перезимовали скелеты в истлевшем тряпье вместе — муж, молодая жена, их маленький сын, бело улыбались, не разлученные после смерти.

Потом уж, весной, когда прилетели скворцы, зашел в хату, прикрывая рот и нос платком, уполномоченный земельного отдела, оглядел керосиновую лампочку без стекла, образок, комодик, холодные чугуны, кровать и сказал:

— Тут двое и малэ.

Бригадир, стоя на пресвятом пороге любви и кротости, кивнул, сделал пометку на клочке бумаги.

Выйдя на воздух, уполномоченный посмотрел на белые хаты, на зеленые садки, сказал:

— После того как уберете трупы, восстанавливать ось эту развалюху нема смысла.

И бригадир вновь кивнул.

## 16

На службе Иван Григорьевич слышал рассказы о том, что в горсуде берут взятки, что в радиотехникуме можно купить отметки для ребят, державших конкурсные экзамены, что директор завода отпускает за взят-

ки остродефицитный металл артелям, производящим ширпотреб, что завмельницей построил себе двухэтажный дом на краденые деньги, застелил в нем полы дубовым паркетом, что начальник милиции отпустил на волю знаменитого воротилу ювелира, взяв с его родных невероятную взятку в шестьсот тысяч рублей, что даже отец и хозяин города — первый секретарь горкома — может за мзду приказать председателю горсовета выдать ордер на квартиру в новом доме на главной улице.

С утра инвалиды волновались. Стало известно пришедшее из области заключение по делу кладовщика самой богатой в городе артели «Мехпошив». Артель изготовляла шубы, зимние дамские пальто, пыжиковые и каракулевые шапки. И хотя главным обвиняемым по делу оказался скромный кладовщик, дело было грандиозное — оно, подобно осьминогу, опутало жизнь и труд большого города. Этого заключения ждали давно, и по поводу него обычно шли споры во время обеденного перерыва. Одни говорили, что приехавший из Москвы в область следователь по особо важным делам не побоится обнародовать причастность к делу всего городского начальства.

Ведь даже детям было известно, что городской прокурор ездит в подаренной ему плешивым заикой кладовщиком «Волге», что секретарю горкома привезли из Риги подаренную кладовщиком мебель — спальный и столовый гарнитуры, что жена начальника милиции, иждивением артельного кладовщика, на самолете отправилась в Адлер, где два месяца жила в санатории Совета Министров, и что в день отъезда ей было подарено кольцо с изумрудом.

Другие, скептики, говорили, что москвич не решится поднять дело против хозяев города и вся тяжесть удара придется по кладовщику и правлению артели.

И вот прилетевший из области на самолете студент, сын кладовщика, привез неожиданную новость: следователь по особо важным делам прекратил дело за отсутствием состава преступления, кладовщик освобожден из-под стражи, подписка о невыезде, взятая у председателя и двух членов правления артели, аннулирована.

Почему-то решение сановного московского юриста рассмешило и развеселило всех людей в артели — и скептиков, и оптимистов. В обеденный перерыв инвалиды ели хлеб, колбасу, помидоры и огурцы, смеялись и шутили — их веселила человеческая слабость следователя по особо важным делам, их смешило всесилие плешивого заики кладовщика.

Ивану Григорьевичу подумалось, что путь, начавшийся с бессребреников, босых апостолов и фанатиков коммуны, не так уж случайно привел в конце концов к людям, готовым на многие плутни ради богатой дачи, собственного автомобиля, кубышки с деньгами.

Вечером, после работы, Иван Григорьевич зашел в поликлинику и прошел в кабинет врача, чье имя слышал от Анны Сергеевны. Врач, уже закончив прием, снимал с себя халат.

— Я хотел узнать, доктор, о состоянии Михалевой, Анны Сергеевны.

— А кто вы ей, муж, отец? — спросил доктор.

— Нет, не родственник, но она близкий мне человек.

— А, — сказал доктор, — что ж, могу сообщить вам, что у нее рак легкого. Тут не поможет ни хирург, ни курорт.

## 17

Прошло три недели, и Анну Сергеевну положили в больницу.

Прощаясь, она сказала Ивану Григорьевичу:

— Видно, не судьба нам на этом свете быть счастливыми.

Днем, в отсутствие Ивана Григорьевича, приехала сестра Анны Сергеевны и увезла в деревню Алешу.

Иван Григорьевич пришел в пустую комнату. Тихо было в ней. Казалось, что, прожив всю жизнь одиноко, он только в этот вечер по-настоящему ощутил одиночество.

Ночью он не спал, думал. Не судьба... Одно лишь далекое детство казалось ему светлым.



Теперь, когда счастье ему посмотрело в глаза, дохнуло на него, он со всей остротой измерил жизнь, что досталась ему.

Очень велика была боль от сознания своей беспомощности, от невозможности спасти Анну Сергеевну, облегчить подступившие к ней последние муки. И, странно, казалось, он находил успокоение своего горя, думая о прожитых лагерных и тюремных десятилетиях.

Он думал о них, старался понять правду русской жизни, связь прошлых и нынешних времен.

Он надеялся, что Анна Сергеевна вернется из больницы и он расскажет ей все то, что вспомнил, все, что продумал, все, что понял.

И она разделит с ним тяжесть и ясность понимания. В этом было утешение его горя, его любовь.

## 18

Иван Григорьевич часто вспоминал месяцы, проведенные во Внутренней тюрьме, а затем в Бутырке.

Он побывал в Бутырской тюрьме трижды, но особенно запомнилось ему лето 1937 года — он находился тогда в тумане, полубеспамятстве, и только теперь, спустя семнадцать лет, туман этот рассеялся — он стал различать происшедшее.

Камеры тридцать седьмого года были переполнены, — там, где должны были помещаться десятки заключенных, помещались сотни. В июльской и августовской духоте мокрые от пота, одуревшие люди лежали на нарах, плотно прижавшись один к одному: повертываться ночью с боку на бок можно было лишь по команде старосты — кавалерийского начдива — всем сразу. К параше шагали по телам, — у самой параши спали на полу новички, их называли «парашютистами». Сон в этой чудовищной духоте и тесноте походил на беспамятство, обморок, сыпнотифозный бред.

Казалось, стены тюрьмы дрожали, как стены котла, распираемого огромным внутренним давлением. Всю ночь напролет гудела бутырская жизнь. Во дворе шумели легковые машины, шла доставка новых, мертвенно-бледных арестованных, они оглядывали великое тюремное царство, ревели огромные черные вороны, увозившие из тюрем на допросы на Лубянку подследственных, на пересылку в Краснопресненскую тюрьму, в пыточное Лефортово, на погрузку в сибирские эшелоны. Этим конвойные кричали: «С вещой!», и товарищи прощались с ними. В залитых ярким электричеством коридорах шаркали арестантские ноги, звякало оружие конвоиров, — при встрече арестованных одного из них торопливо запихивали в стенной шкаф-бокс, и он стоял в темноте, пережидал.

Окна камер были забиты толстыми деревянными щитами, свет снаружи проникал через узкую щель, время суток определялось не по солнцу и звездам, а по тюремному распорядку. Электричество горело круглосуточно, беспощадно ярко, казалось, что пыточная духота и жар шли от белого налива электроламп. День и ночь гудел вентилятор, но знойный воздух асфальтового июля не приносил облегчения людям. Ночью воздух горячим войлоком набивал легкие, череп.

Под утро в камеры возвращались люди с ночных допросов, в изнеможении валились на нары, одни всхлипывали, стонали, другие неподвижно сидели, глядя широкими глазами перед собой, третьи растирали опухшие ноги, лихорадочно рассказывали. Некоторых приволакивали в камеру конвоиры. А некоторых, чей непрерывный допрос длился многосуточно, уносили на носилках в тюремную больницу. В кабинете следователя мысль о душной, зловонной камере казалась сладостной, с тоской вспоминались милые, измученные лица соседей по нарам.

Все эти десятки, тысячи, десятки тысяч людей, секретари райкомов и обкомов, военные комиссары, начальники политотделов, директора заводов и совхозов, командиры полков, дивизий, командармы, капитаны кораблей, агрономы, писатели, зоотехники, внешторговцы, инженеры, послы, красные партизаны, прокуроры, председатели завкомов, профессора — выражали все разнообразие поднятых революцией слоев жизни. Рядом с русскими тут были белорусы, украинцы, литовские и украинские евреи, армяне, грузины, медлительные латыши, поляки, обитатели среднеазиатских республик. В революцию и на гражданскую войну пошли они солда-

тами, рабочими, крестьянами, недоучившимися студентами и гимназистами, покинувшими свое ремесло мастеровыми. Они разгромили армии Корнилова и Каледина, Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля и широкими потоками хлынули с окраин в глубь разоренной российской пустыни. Революция уничтожила процентную норму, имущественный ценз и дворянские привилегии, смела черту оседлости, и сотни тысяч людей — крестьян, рабочих, мастеровых, студентов, молодежь из вологодских деревень и еврейских местечек — стали заправлять в ревкомах, в уездных и губернских чрезвычайных комиссиях, в укомах, в совнархозах, утопах, губпродкомах, политпросветах, в комбедах. Началось строительство нового, невиданного миром государства. Жертвы, жестокости, лишения, все было нипочем,—они совершались во имя России и трудового человечества, во имя счастья трудового люда.

Пришли тридцатые годы, и юноши, участники гражданской войны, стали сорокалетними людьми, волосы их засеребрились. Для них время революции, комбедов, первого и второго конгрессов Коминтерна было молодым, счастливым, романтичным временем их жизни. Они сидели в кабинетах, с телефонами и секретарями, они сменили гимнастерки на пиджаки и галстуки, они ездили в автомобилях, получили вкус к хорошему вину, к Кисловодску, к знаменитым врачам, и все же пора буденовок, кожаных курток, пшена, рваных сапог, планетарных идей и мировой коммуны осталась высшей порой их жизни. Не ради своих дач, легковых автомобилей строили они новое государство. Оно строилось ради революции. И во имя революции, и новой, без помещиков и капиталистов, России приносились жертвы, совершались жестокости и насилия.

Конечно, поколение советских людей, ушедшее в 1936 и 1939 годах, не было монолитно.

Первыми под удар попали фанатики, разрушители старого мира. Их пафос, их фанатизм, их преданность революции были в ненависти к ее врагам.

Они ненавидели буржуазию, дворянство, мещан, обывателей, предателей рабочего класса—меньшевиков и социалистов-революционеров, крепких мужичков, оппортунистов, военспецов, продажное буржуазное искусство, продавшуюся буржуазии профессуру, франтов в галстуках, врачей, занимающихся частной практикой, женщин, пудривших носы и щеголявших в шелковых чулках, студентов-белоподкладочников, попов, раввинов, инженеров, носивших фуражку с кокардой, поэтов, подобно Фету, пишущих растленные стишки о красоте природы, они ненавидели Каутского, Макдональда; они не читали Бернштейна, но он им казался ужасен, хотя их судьба вторила его словам: цель—ничто, движение—все.

Они разрушали старый мир и жаждали нового, но сами не строили его. Сердца этих людей, заливших землю большой кровью, так много и страстно ненавидевших, были детски беззлобны. Это были сердца фанатиков, быть может, безумцев. Они ненавидели ради любви.

Они стали динамитом, которым партия разрушала старую Россию, расчищая простор для котлованов новых строек, для гранита великой государственности.

А рядом с динамитчиками встали первые строители. Их пафос был обращен на создание партийного государственного аппарата, на создание фабрик и заводов, прокладывание железных и шоссейных дорог, рытье каналов, механизацию нового сельского хозяйства.

Это были первые красные купцы, зачинщики советского чугуна, ситца, самолетов. Они, не ведая дня и ночи, сибирской стужи и зноя Каракумов, закладывали котлованы и возводили стены небоскреба.

Гвахария, Франкфурт, Завенягин, Гугель...

Считанные из них умерли своей смертью.

Рядом с ними работали партийные лидеры, создатели и управители национальных советских республик, краев, областей—Постышев, Киров, Варейкес, Бетал Калмыков, Файзулла Ходжаев, Мендель Хатаевич, Эйхе...

Ни один из них не умер своей смертью.

Это были яркие люди: ораторы, книжники, знатоки философии, любители поэзии, охотники, бражники.

Их телефоны звенели круглосуточно, их секретари работали в три смены, но в отличие от фанатиков и мечтателей они умели отдыхать—знали толк в просторных, светлых дачах, в охоте на кабанов и горных коз, в веселых многочасовых воскресных обедах, в армянском коньяке и грузинских винах. Они уж не ходили зимой в рваных кожанках, и габардин их солдатских, сталинских гимнастерок стоил дороже английского сукна.



Всех их отличала энергия, воля и полная бесчеловечность. Все они— и поклонники природы, и любители поэзии и музыки, и весельчаки—были бесчеловечны.

Им было ясно, что новый мир строится ради народа. Их не смущало, что среди препятствий, мешавших построению нового мира, наиболее жестокие оказались в самих рабочих, крестьянах, интеллигенции.

Иногда казалось, что именно на то, чтобы заставить человека работать через силу, сверхурочно, без выходных, жить впроголодь, спать в бараках, получать нищенскую плату, оплачивая при этом невиданные в истории косвенные налоги, займы, разверстки, обложения, и уходит могучая энергия, несгибаемая воля и не знающая предела жестокость вожаков нового мира.

Но человек строил то, что не было нужно человеку,—бесполезны были ему Беломорско-Балтийский канал, арктические рудники, заполярные железные дороги, сверхтяжелые, запрятанные в тайге заводы, сверхмощные гидростанции, возникшие в таежном безлюдье. Часто казалось, что и государству, не только людям, бесполезны эти заводы, пустынные моря и каналы. Иногда казалось, что эти могучие стройки нужны лишь для того, чтобы оковать тяжким трудом миллионные массы людей.

Маркс, величайший марксист Ленин, великий продолжатель их дела Сталин первой истиной революционного учения полагали примат экономики над политикой.

И никто из строителей нового мира не задумался над тем, что, строя бесполезные для людей, а часто и для государства огромные тяжелые заводы, они опрокидывают марксов тезис.

В основе государства, заложенного Лениным и построенного Сталиным, лежала политика, а не экономика.

Политика определяла содержание сталинских пятилеток, план великих работ. Политика безраздельно торжествовала над экономикой во всех действиях Сталина, его Совнаркома, его Госплана, его Наркомтяжпрома, его наркомата сельского хозяйства, комитета заготовок, его Наркомторга.

Строители не считали, как в пору гражданской войны, что свершается Мировая революция, Всемирная Коммуна. Но они верили, что социализм, построенный в одной стране, в молодой, новой России, есть заря всемирного социалистического дня.

Но вот пришел 1937 год, и тюрьмы заполнились сотнями тысяч людей, принадлежащих к поколению революции и гражданской войны. Это они отстояли Советское государство, они были отцами его и в то же время и детьми его. Но тюрьмы, которые они строили для врагов новой России, открылись перед ними, грозная мощь созданного ими строя обрушилась на них самих, карающая сила диктатуры, меч революции, откованный ими, пал на их головы. Многим из них показалось, что пришла пора хаоса, безумия.

Зачем вымогали у них признания в не совершенных ими преступлениях, объявили их врагами народа, изолировали их от той самой жизни, которую они построили и отстояли в боях?

Им казалось безумием, что их приравнивали к тем, кого они ненавидели и презирали, кого сами с жестоким фанатизмом истребляли, как бешеных собак.

Они попали в камеры и лагерные бараки с не добитыми ими меньшевиками, с бывшими фабрикантами и помещиками.

Некоторым казалось, что совершился государственный переворот, что власть захвачена врагами и враги, пользуясь советским языком и советскими понятиями, расправляются с теми, кто задумал и построил Советское государство.

Случалось, что рядом лежали на тюремных нарах—секретарь райкома, разоблаченный враг народа, и разоблачивший его новый секретарь райкома, вскоре сам оказавшийся врагом народа; а спустя месяц в камеру попадал третий, тот секретарь райкома, что разоблачил второго и сам был разоблачен как враг. Все смешалось,—грохот и лязг колес идущих на се-

вер эшелонов, лай служебных собак, скрип сапог и легких женских туфелек по хрусткому таежному снегу, скрип следовательских перьев, скрип лопат по смерзшейся земле, копавших ямы для захоронения умерших от цинги, от разрыва сердца, замерзших; покаянные речи тех, кто просил снисхождения на партийных собраниях и белыми, мертвыми губами повторял вслед за следователем: «Признаю, что, сделавшись платным агентом иностранной разведки, я, руководимый звериной ненавистью ко всему советскому, подготовлял террористические акты против деятелей Советского государства, снабжал шпионскими сведениями...»

Приглушенный бутырским и лефортовским камнем доносился беспрерывный треск винтовочных и пистолетных выстрелов, девять граммов свинца в грудь либо в затылок тем тысячам и десяткам тысяч невинных, кого изобличили в особо злостных террористических и шпионских деяниях.

На свободе строители нового мира гадали: «Возьмут, не возьмут?» Все ждали ночного звонка, шороха автомобильных колес, вдруг затихшего у ворот дома.

В хаосе, нелепице, в безумии ложных обвинений уходило поколение гражданской войны, шло новое время, выходили новые люди...

## 19

Лева Меклер, Лев Наумович... На воле он носил ботинки сорок пятого размера, москвошвеевский костюм пятьдесят восьмого размера. И статья у него была пятьдесят восьмая, пункты: измена родине, террор, диверсия, ну и там еще мелочь.

Его не расстреляли, вероятно, потому, что сел он одним из самых первых, когда еще не было такой свободы в исполнении смертных приговоров.

Он прошел, близоруко и рассеянно щурясь, спотыкаясь, по всем кругам тюремного и лагерного ада, и не погиб потому, что огонь веры, сжигавший с отроческих лет его нутро, охранил его от ночного сорокаградусного мороза и лютого ветра, от дистрофии и цинги; он не погиб, когда затонула на Енисее баржа, набитая заключенными; он не умер от кровавого поноса.

Его не зарезали уголовные, не замучили в карцере, не забил его на допросе оперуполномоченный. Его не расстреляли во время массовой чистки, когда стреляли десятого.

Откуда в нем, сыне печального и лукавого лавочника из местечка Фастов, ученике коммерческого училища, читавшего книги «Золотой библиотеки» и Луи Буссенара, откуда в нем этот могучий пламень фанатизма? Ни он, ни отец его не копили ненависть к капитализму ни в шахтах, ни в дымных и пыльных фабричных цехах.

Кто вложил в него душу борца? Пример Желябова и Каляева, мудрость «Коммунистического Манифеста», страдания жившей рядом с ним бедноты?

Или это тяжкое пламя, эти угли таились в тысячелетней бездне наследственности, готовые вспыхнуть в борьбе с солдатами римского цезаря, с кострами испанской инквизиции, в голодном исступлении талмудторы, в местечковой самообороне во время погрома?

Может быть, вековая цепь унижений, тоска вавилонского пленения, унижение гетто и нищета черты еврейской оседлости породили и выковали исступленную жажду, раскалившую душу большевика Льва Меклера?

Его неприспособленность к земной жизни вызывала насмешку и преклонение. Некоторым он казался святым — комсомольский вожак в рваных сандалиях, в ситцевой рубашке с открытым воротом, без шапки, заросший курчавым волосом; комиссар боевого полка, в рваной кожанке, в буденовке с выцветшей, бледной, точно от потери крови, красной звездой. И такой же оборванный, небритый, зимой в плаще с оборванными пуговицами, он, ведающий украинской юстицией, выходил из автомобиля, шел в свой наркомовский кабинет.

Он казался беспомощным, не от мира сего, но люди помнили, как его молитвенно слушали на буйных фронтовых митингах, как шли за ним под огнем врангелевских пулеметов.



Он был проповедником, апостолом и бойцом всемирной социалистической революции. Ради революции он, не колеблясь, был готов отдать свою жизнь, любовь женщины, всех близких своих. Одного лишь он не мог бы отдать — счастья, пожертвовав ради революции всем, чем дорожит человек на земле, взойдя ради нее на костер, он был бы счастлив.

Грядущее мировое царство казалось ему бесконечно прекрасным, и ради него Меклер готов был на самое беспощадное насилие.

Сам он по природе своей был человеком добрым, комара, сосавшего его кровь, он не хлопал ладонью, а деликатным щелчком сгонял с руки. Клопа, пойманного на месте преступления, он заворачивал в бумажку и выносил на улицу.

Его служба добру и революции была отмечена кровью и беспощадностью к страданию.

Он, в своей революционной принципиальности, засадил в тюрьму отца, дал против него показания на коллегии губчека. Он жестоко и хмуро отвернулся от сестры, просившей защиты для своего мужа-саботажника.

Он в кротости своей был беспощаден к инакомыслящим. Революция казалась ему беспомощной, детски доверчивой, окруженной вероломством, жестокостью злодеев, грязью растлителей.

И он был беспощаден к врагам революции.

На его революционной совести было одно лишь пятно — тайно от партии он помогал старухе матери, вдове расстрелянного карательными органами человека, и, когда она умерла, дал денег на ее похороны по религиозному обряду — такова была ее последняя жалкая воля.

Его словарь, мышление, поступки имели своим истоком книги, написанные во имя революции, революционное право, революционную мораль, поэзию революции и ее стратегию, поступь ее солдат, ее прозрения, ее песни.

Ее глазами смотрел он на звездное небо и на апрельскую листву берез, из сладчайшей чаши ее пил он прелесть первой любви, в ее мудрости познавал он борьбу патрициев и рабов, феодалов и крепостных, классовые битвы заводчиков и пролетариев. Она была матерью, нежной возлюбленной его, его солнцем, его судьбой.

И вот революция посадила его в камеру внутренней тюрьмы, выбила ему восемь зубов, стуча на него офицерскими сапогами, матерясь, обзывая его пархатым, требовала, чтобы он, сын, возлюбленный и апостол ее, признал себя ее тайным отравителем, ее смертным ненавистником.

Конечно, он не отрекся от нее, не дрогнула даже на миг его вера на сточасовых допросах, не дрогнула, и когда, лежа на полу, он видел начищенный, блестящий носок хромового сапога у своего окровавленного рта.

Груба, тупа, жестока была на этих многосуточных, пыточных допросах революция, неистовство вызывали в ней верность и кроткое терпение большевика Льва Меклера.

Вот так приходит в бешенство хозяин, желающий отогнать неотступно следующую за ним дворнягу. Он сперва ускоряет шаги, потом кричит на нее и топает ногами, потом замахивается на нее, швыряет в нее камнями. Она отбегает, останавливается, а когда хозяин, пройдя сотню шагов, оглядывается, он видит, как неотступно и неизменно, торопливо прихрамывая, ковыляет за ним искалеченная собака.

И самым отвратительным и ненавистным для хозяина в ней были ее собачьи глаза: кроткие, грустные, любящие, фанатически преданные.

Эта любовь вызывала ярость хозяина, собака видела эту ярость и не могла понять, почему она. Она не могла понять, что, совершая в отношении ее невиданную миром несправедливость, хозяин хотел хоть немного успокоить свою совесть. Ее кротость, ее преданность доводили его до умопомрачения, он ненавидел ее за эту любовь больше, чем волков, от которых собака обороняла дом его молодости. Грубостью он хотел заглушить ее любовь.

Она шла за хозяином, потрясенная его внезапной, необъяснимой жестокостью.

За что? За что?

И она не могла понять, что в этой внезапной ненависти, обращенной к ней, нет бессмысленности, а все действительно и разумно.

В ненависти проявлялась закономерность, ясная, математическая логика. А собаке казалось, что это наваждение, нелепая бессмыслица, ей даже страшно делалось за хозяина, и она хотела избавить его от помрачения не ради себя, а ради него. Она не могла уйти от него, ведь она его любила.

А он уже понимал, что она не отстанет, он уже знал, что остается лишь одно: придушить ее, пристрелить.

И чтобы казнь обожавшей его, молившейся на него собаки не давила на его совесть и не вызывала осуждения соседей, хозяин решил искусственно превратить ее в своего врага — пусть собака перед смертью признается, что хотела загрызть его — хозяина.

Убить врага легче, чем убить друга.

Ведь в том, первом его доме, что он построил среди угрюмых и пустынных развалин, в доме, где был он молод, в доме его чистых молитв, она была его другом, стражем, неотступным спутником.

Так пусть же признается собака, что она снюхалась с волками.

И при последних смертных хрипах своих, удавленная веревкой, она смотрела на хозяина с кротостью и любовью, с верой, равной той, что вела на смерть первых мучеников — христиан.

И она так и не поняла простой вещи — хозяин покинул свой молодой дом хмеля и молитвы, переехал в дом гранита и стекла, и сельская дворняга стала ему нелепа, стала обузой, да не только обузой, стала вредна ему. И он убил ее.

## 20

Прошли годы, улеглись туман и пыль, мешавшие разглядеть то, что совершалось. То, что представлялось хаосом, безумием, самоистреблением, стечением нелепых случайностей, то, что своей таинственной, трагической бессмысленностью сводило людей с ума, постепенно стало обозначаться, как четкие, ясные и выпуклые черты новой жизни, новой деятельности.

Судьба поколения революции начала раскрываться по-новому, логически, а не мистически. Только теперь Иван Григорьевич стал охватывать умом новую судьбу страны, рожденную на костях погибшего поколения.

Это большевистское поколение сформировалось в дни революции, в пору гегемонии идей мировой коммуны, голодных вдохновенных субботников. Оно приняло на себя наследство мировой и гражданской войны — разруху, голод, сыпной тиф, анархию, бандитизм; оно устами Ленина заявило, что есть партия, способная вывести Россию на новый путь. Оно приняло, не поколебавшись, на себя наследство сотен лет русского произвола, при котором десятки поколений рождались и уходили, зная лишь одно право — крепостное.

Большевистское поколение времен гражданской войны участвовало под водительством Ленина в разгроме Учредительного собрания и в уничтожении революционно-демократических партий, боровшихся против русского абсолютизма.

Большевистское поколение гражданской войны не верило в ценность свободы личности, свободы слова и печати в рамках буржуазной России.

Оно, как и Ленин, считало куцыми, ничтожными те свободы, о которых мечтали многие революционные рабочие и интеллигенция.

Молодое государство сокрушило демократические партии, расчищая дорогу для советского строительства. В конце двадцатых годов эти партии были полностью ликвидированы, люди, сидевшие при царе в тюрьмах, вновь ушли в тюрьмы, пошли на каторгу.

В тридцатом году поднялся топор всеобщей коллективизации.

Но вскоре топор поднялся вновь. На этот раз удар пришелся по поколению гражданской войны. Малая часть этого поколения сохранилась, но душа его, его вера в мировую коммуну, его революционная романтическая сила ушли с теми, кто был уничтожен в 1937 году. Те, что остались и продолжали жить и работать, пристраивались к новому времени, к новым людям.

Новые люди не верили в революцию, они не были детьми революции, они были детьми созданного ею государства.



Новому государству не нужны стали святые апостолы, исступленные, одержимые строители, верующие последователи. Новому государству даже не слуги стали нужны, а всего лишь служащие. И тревога государства состояла в том, что его служащие иногда оказывались очень уж мелким, к тому же жуликоватым народцем.

Террор и диктатура поглотили своих создателей. И государство, казавшееся средством, оказалось целью! Люди, создавшие это государство, думали, что оно средство осуществления их идеала. А оказалось, что их мечты, идеалы были средством великого и грозного государства. Государство из слуги обратилось в угрюмого самодержца. Не народу нужен был террор в девятнадцатом году, не народ уничтожил свободу печати и слова, не народу понадобилась гибель миллионов крестьян, крестьяне и есть большая часть народа, не народ набил тюрьмы и лагеря в 1937 году, не народу понадобились истребительные высылки в тайгу крымских татар, калмыков, балкарцев, обрусевших болгар и греков, чеченцев и немцев Поволжья, не народ уничтожил свободу сеять, право на рабочую стачку, не народ совершил чудовищные накидки на себестоимость товаров.

Государство сделалось хозяином, национальное из формы перешло в содержание и стало сутью, изгнало социалистическое в оболочку, в фразеологию, в шелуху, во внешнюю форму. С трагической очевидностью определился святой закон жизни: свобода человека превыше всего; в мире нет цели, ради которой можно принести в жертву свободу человека.

## 21

И странно было. Думая о тридцать седьмом годе, думая о женщинах, посланных в каторгу за мужей, вспоминая сплошную коллективизацию и голод в деревне, думая о законах, карающих рабочих тюрьмой за двадцатиминутное опоздание, карающих крестьян восьмилетним лагерем за сокрытие нескольких колосков, Иван Григорьевич не вспоминал усатого человека в сапогах и гимнастерке.

Ленин! Словно бы жизнь его не оборвалась 21 января 1924 года. Мысли свои о Ленине, о Сталине Иван Григорьевич иногда записывал в оставленной Алешей ученической тетрадке.

Все победы партии и государства связаны с именем Ленина. Но и все жестокое, что совершалось в стране, трагическим образом принимал на свои плечи Владимир Ильич.

Его революционной страстью, его речами, статьями, его призывами подтверждались и события в деревне, и 1937 год, и новое чиновничество, и новое мещанство, и труд заключенных.

И постепенно, с годами, словно исподволь менялись черты ленинского лица, менялся облик студента Володи Ульянова, молодого марксиста Тулина, сибирского ссыльного, революционера-эмигранта, публициста, мыслителя Владимира Ильича Ленина, облик человека, провозгласившего эру мировой социалистической революции, создателя революционной диктатуры в России, ликвидировавшего все революционные партии, кроме одной, казавшейся ему самой революционной, ликвидировавшего Учредительное собрание, представительствовавшее от всех классов и партий послереволюционной России, и создавшего Советы, где, по его мысли, представительствовали одни лишь революционные рабочие и крестьяне. Менялись ленинские черты, знакомые по портретам, менялся облик первого председателя Советского правительства Владимира Ильича Ульянова — Ленина.

Ленинское дело продолжалось, и облик умершего Ленина невольно обогащался теми чертами, которыми обогащалось начатое им дело.

Он был интеллигентом, он вышел из трудовой интеллигентной семьи, его сестры, его братья были трудовыми революционными интеллигентами, его старший брат, Александр, народоволец, стал героем и святым мучеником революции.

Авторы воспоминаний говорят о том, что, уже будучи вождем революции, создателем партии, главой Советского правительства, он был неизменно прост. Он не курил и не пил, наверное, ни разу в жизни не обругал он человека нецензурным матерным словом. Его досуг, отдых были по-студенчески чисты — музыка, театр, книга, прогулка. Его одежда была неизменно демократична, почти бедна.

Неужели вот он, что в мятом галстуке и стареньком пиджаке ходил в театр на галерку, слушал «Аппассионату», читал и перечитывал «Войну и мир», он, милый сердцу матери, любимый сестрами, Володя, стал основоположником государства, украсившего высшим орденом своим — орденом Ленина — грудь Ягоды, Ежова, Берии, Меркулова, Абакумова.

Награждение Лидии Тимашук орденом Ленина состоялось в годовщину смерти Владимира Ильича — свидетельствовало ли оно, что ленинское дело иссякло или, наоборот, что дело его торжествует?

Шли годы пятилеток, шли десятилетия, огромные события, полные раскаленной современности, дымясь, застывали глыбами, схваченные цементом времени, обращались в историю Советского государства.

... Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет...

Понимал ли поэт трагический смысл того, что написал о Ленине? Отмеченные биографами и воспоминателями черты его характера, казавшиеся основными, чаровавшие миллионы сердец и умов, оказались случайными для хода истории; история государства российского не отобрала эти человечные и человеческие черты характера Ленина, а отбросила их как ненужный хлам. Истории государства не понадобились ни ленинское слушание «Аппассионаты» с ладонью, приложенной к глазам, ни преклонение перед «Войной и миром», ни скромный ленинский демократизм, ни его сердечность и внимательность к малым сим, секретарям, шоферам, ни его разговоры с крестьянскими детьми, ни его милое отношение к домашним животным, нн его сердечная боль, когда Мартов из друга превратился во врага.

А все, вынесенное за скобки, как временное, случайное, возникшее в силу особых обстоятельств подполья и ожесточения борьбы первых советских лет, оказалось непреходящим, определяющим.

Вот та самая черта ленинского характера, не отмеченная воспоминателями, которая определила указание произвести обыск у умирающего Плеханова, те черты, которые определили полную нетерпимость к политической демократии, они-то и развились.

Заводчик, купец, вышедший из мужиков, живя в своем особняке, путешествуя на собственной яхте, сохраняет черты своего крестьянского характера — любовь к кислым щам, к квасу, к грубому меткому народному слову. Маршал, в расшитом золотом мундире, хранит любовь к махорочной самокрутке, помнит простой юмор солдатских изречений.

Но значат ли эти черты и память в судьбах заводов, в жизни миллионов людей, связанных трудом и судьбой с заводами, движением акций и движением войск?

Не любовью к щам и махорочной самокрутке завоевывались капитал и слава генералов.

Одна из воспоминательниц описывает, как в Швейцарии отправилась в горы на воскресную прогулку с Владимиром Ильичем. Задыхаясь от крутого подъема, поднялись они на вершину, уселись на камне. Казалось, взгляд Владимира Ильича впитывал каждую черточку горной альпийской красоты. Молодая женщина с волнением представляла себе, как поэзия наполняет душу Владимира Ильича. Вдруг он вздохнул и произнес: «Ох, и гадят нам меньшевики».

Этот милый эпизод сказал кое-что о натуре Ленина: вот на одной чаше весов божий мир, вот на второй чаше партийное дело.

Октябрь отобрал те черты Владимира Ильича, которые понадобились ему, Октябрю, отбросил ненужные.

На протяжении истории русского революционного движения черты народолюбия, присущие многим русским революционным интеллигентам, чья кротость и готовность на муку не имели, кажется, себе равных со времен древнего христианства, смешались с чертами прямо противоположными, но также присущими многим русским революционным преобразователям — презрением и неумолимостью к человеческому страданию, преклонением перед абстрактным принципом, решимостью истреблять не только врагов, но и своих товарищей по делу, едва они хоть в чем-нибудь отойдут от понимания этих абстрактных принципов. Сектантская целеустремленность, готовность подавлять живую, сегодняшнюю свободу ради свободы измышленной, нарушать житейские принципы морали ради принципа грядущего давали о себе знать и проявлялись и в характере Пестеля, и в характере Бакунина, и Нечаева, и в некоторых высказываниях и поступках народовольцев.



Нет, не только любовь, не одно лишь сострадание вели подобных людей путем революции. Истоки этих характеров лежат далеко, далеко в тысячелетних недрах России.

Подобные характеры существовали и в прежние века, но двадцатый век вывел их из-за кулис на главную сцену жизни.

Этот характер ведет себя среди человечества, как хирург в палатах клиники, — его интерес к больным, их отцам, женам, матерям, его шутки, его споры, его борьба с детской беспризорностью и забота о рабочих, достигших пенсионного возраста, — все это пустяковина, мура, шелуха. Душа хирурга в его ноже.

Суть подобных людей — в фанатической вере в всесилие хирургического ножа. Хирургический нож — великий теоретик, философский лидер двадцатого века.

На протяжении своей пятидесятичетырехлетней жизни Ленин не только слушал «Аппассионату», перечитывал «Войну и мир», вел задушевные беседы с крестьянами-ходоками, тревожился, есть ли у секретаря зимнее пальто, любовался русской природой. Да, да, конечно, помимо образа есть и лицо.

И можно себе представить множество черт и особенностей Ленина, проявлявшихся в обыденной жизни, той, что неминуема для всех людей, — вожди они народов, врачи-стоматологи, закройщики в мастерских дамского платья.

Эти черты проявляются в разное время суток, когда человек моет утром лицо, ест кашу, смотрит в окно на хорошенькую женщину, которой ветер задрал юбку, ковыряет в зубах спичкой, ревнует жену и вызывает ревность жены, рассматривает в бане свои голые ноги и чешет подмышки, читает в уборной обрывки газет, стараясь составить порванные куски, издает неприличный звук и в целях маскировки кашляет и напевает.

Подобные либо сходные вещи существуют в жизни великих и малых людей, очевидно, существовали и в жизни Ленина.

Может быть, брюшко у Ленина возникло оттого, что он объедался макаронами с маслом, предпочитал их овощной пище.

Может быть, у него были неизвестные миру столкновения с Надеждой Константиновной по поводу мытья ног, чистки зубов и нежелания менять ношеную сорочку с засаленным воротничком.

И вот можно, прорвавшись сквозь редуты, создающие якобы человеческий, а в действительности совершенно условный, возвышенный образ вождя, перебежками, по-пластунски ползком добраться до простого, истинного естества Ленина, того, которое никем из воспоминателей никогда не упоминается.

Но что даст познание истинных, житейских, тайных, скрытых от истории черт и особенностей поведения Ленина в ванной комнате, спальне, столовой? Поможет ли это глубже понять лидера новой России, основоположника нового мирового порядка? Свяжет ли это истинной связью характер Ленина с характером основанного им государства? Для этого необходимо сделать допущение, что черты Ленина — политического лидера эквивалентны житейским чертам Ленина. Но подобное допущение будет совершенно произвольным, и делать его нельзя. Ведь подобная связь бывает то с прямым знаком, то с обратным.

Вот, скажем, в личных, частных отношениях: ночуя у друзей, на совместных прогулках, оказывая помощь товарищам, Ленин неизменно проявлял деликатность, мягкость, вежливость. И одновременно и постоянно Ленина отличала безжалостность, резкость, грубость по отношению к политическим противникам. Он никогда не допускал возможности хотя бы частичной правоты своих противников, хотя бы частичной своей неправоты.

«Продажный... лакей... холуй... наймит... агент... Иуда, купленный за тридцать сребренников...» — такими словами Ленин часто говорил о своих оппонентах.

Ленин в споре не стремился убедить противника. Ленин в споре вообще не обращался к своему оппоненту, он обращался к свидетелям спора. Его целью было перед лицом свидетелей спора высмеять, скомпрометировать своего противника. Такими свидетелями спора могли быть и несколько близких друзей, и тысячная масса делегатов съезда, и миллионная масса читателей газет.

Ленин в споре не искал истины, он искал победы. Ему во что бы то ни стало надо было победить, а для победы хороши были многие средства. Здесь хороши были и внезапная подножка, и символическая пощечина, и символический, условный, ошеломляющий удар кулаком по кумполу.

И оказалось, что житейские, бытовые, семейные черты Ленина никак не были связаны с чертами лидера нового мирового порядка.

Затем, когда спор перешел со страниц журналов и газет на улицы, на поля ржи и на поля войны, оказалось, что и тут хороши жестокие средства.

Ленинская нетерпимость, непоколебимое стремление к цели, презрение к свободе, жестокость по отношению к инакомыслящим и способность, не дрогнув, смести с лица земли не только крепости, но волости, уезды, губернии, оспорившие его ортодоксальную правоту,— все эти черты не возникли в Ленине после Октября. Эти черты были и у Володи Ульянова. У этих черт глубокие корни.

Все его способности, его воля, его страсть были подчинены одной цели — захватить власть.

Он жертвовал ради этого всем, он принес в жертву, убил ради захвата власти самое святое, что было в России,— ее свободу. Эта свобода была детски беспомощна, неопытна. Откуда ей, восьмимесячному младенцу, рожденному в стране тысячелетнего рабства, иметь опыт?

Черты интеллигента, казавшиеся истинным содержанием ленинской души и ленинского характера, едва дело доходило до дела, уходили во внешнюю, незначащую форму, а характер его проявлялся в несгибаемой, железной и исступленной воле.

Что вело Ленина путем революции? Любовь к людям? Желание побороть бедствия крестьян, нищету и бесправие рабочих? Вера в истинность марксизма, в свою партийную правоту?

Русская революция для него не была русской свободой. Но власть, к которой он так страстно стремился, была нужна не ему лично.

Вот здесь проявилась одна из особенностей Ленина: сложность характера, рожденная из простоты характера.

Для того, чтобы с такой мощью жаждать власти, надо обладать огромным политическим честолюбием, огромным властолюбием. Черты эти грубы и просты. Но ведь этот политический честолюбец, способный на все в своем стремлении к власти, был лично необычайно скромен, власть он завоевывал не для себя. Тут кончается простота и начинается сложность.

Если представить себе Ленина-человека эквивалентным Ленину-политику, то возникает характер примитивный и грубый, нахрапистый, властный, безжалостный, бешено честолюбивый, догматически крикливый.

Если соотнести эти черты к обыденной жизни, приложить их по отношению к жене, матери, детям, другу, соседу по квартире. Жутко становится.

Но ведь оказалось совсем иное. Человек на мировой арене оказался обратен человеку в личной жизни. Плюс и минус, минус и плюс.

И получается совсем иное, сложное, порой трагичное.

Бешеное политическое властолюбие, соединенное со стареньким пиджаком, со стаканом жиденького чая, со студенческой мансардой.

Способность, не колеблясь, втоптать в грязь, оглушить противника в споре, непонятным образом соединенная с милой улыбкой, с застенчивой деликатностью.

Неумолимая жестокость, презрение к высшей святыне русской революции — свободе и тут же рядом, в груди того же человека, чистый, юношеский восторг перед прекрасной музыкой, книгой.

Ленин... Обоготворенный образ; второй — монолитный простак, созданный врагами Ленина, соединивший, сливший в себе жестокие черты лидера нового мирового порядка с примитивно грубыми житейскими чертами,— лишь эти черты видели в Ленине его враги; наконец, тот, который мне кажется наиболее близким к действительности, и в нем непросто разобраться.



## 22

Чтобы понять Ленина, недостаточно вглядеться в человеческие, житейские черты его. Недостаточны черты Ленина-политика, нужно соотнести характер Ленина сперва к мифу национального русского характера, а затем к року, характеру русской истории.

Ленинская аскетичность, естественная скромность сродни русским странникам, его прямодушие и вера отвечают народному идеалу жизнеучителя, его привязанность к русской природе в ее лесном и луговом образе сродни крестьянскому чувству. Его восприимчивость к миру западной мысли, к Гегелю и Марксу, его способность впитывать в себя и выражать дух Запада есть проявление черты глубоко русской, объявленной Чаадаевым, это та всемирная отзывчивость, изумляющая глубина русского перевоплощения в дух чужих народов, которую Достоевский увидел в Пушкине. Этой чертой Ленин роднится с Пушкиным. Этой чертой был наделен Петр I.

Ленинская одержимость, убежденность — словно бы сродни аввакумовскому исступлению, аввакумовской вере. Аввакум — явление самородное, русское.

В прошлом веке отечественные мыслители искали объяснения исторического пути России в особенностях русского национального характера, в русской душе, в русской религиозности.

Чаадаев, один из умнейших людей девятнадцатого века, оповестил аскетический, жертвенный дух русского христианства, его не замутненную ничем наносным византийскую природу.

Достоевский считал всечеловечность, стремление к всечеловеческому слиянию истинной основой русской души.

Русский двадцатый век любит повторять те предсказания, что сделали о нем мыслители и пророки России в веке девятнадцатом,— Гоголь, Чаадаев, Белинский, Достоевский.

Да и кто не любил бы повторять о себе подобное...

Пророки девятнадцатого века предсказывали, что в будущем русские станут во главе духовного развития не только европейских народов, но и народов всего мира.

Не о военной славе русских, а о славе русского сердца, русской веры и русского примера говорили предсказатели.

«Птица тройка...» «Русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону...» «Тогда мы естественно займем свое место среди народов, которым предназначено действовать в человечестве не только в качестве таранов, но и в качестве идей» «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты...»

И тут же Чаадаев гениально различил поразительную черту русской истории: «...колоссальный факт постепенного закрепощения нашего крестьянства, представляющий собой не что иное, как строго логическое следствие нашей истории».

Неумолимое подавление личности неотступно сопутствовало тысячелетней истории русских. Холопское подчинение личности государю и государству. Да, и эти черты видели, признавали пророки России.

И вот наряду с подавлением человека князем, помещиком, государем и государством — пророки России сознавали невиданную западным миром чистоту, глубину, ясность, Христову силу души русского человека. Ей, русской душе, и пророчили пророки великое и светлое будущее. Они сходились на том, что в душе русских идея христианства воплощена в безгосударственной, аскетической, византийской, антизападной форме, и что силы, присущие русской народной душе, выразят себя в мощном воздействии на европейские народы, очистят, преобразуют, осветят в духе братства жизнь западного мира, и что западный мир доверчиво и радостно пойдет за русским всечеловеком. Эти пророчества сильнейших умов и сердец России объединялись одной общей им роковой чертой. Все они видели силу русской души, прозревали ее значение для мира, но не видели они, что особенности русской души рождены несвободой, что русская душа — тыся-

челетняя раба. Что даст миру тысячелетняя раба, пусть и ставшая всесильной?

И вот девятнадцатый век, казалось, приблизил наконец время, предсказанное пророками России, время, когда Россия, столь восприимчивая к чужой проповеди и к чужому примеру, жадно поглощавшая и всасывавшая чужие духовные влияния, сама готовила себя к воздействию на мир.

Сто лет Россия впитывала в себя заносную идею свободы. Сто лет пила Россия устами Пестеля, Рылеева, Герцена, Чернышевского, Лаврова, Бакунина, устами писателей своих, мученическими устами Желябова, Софьи Перовской, Тимофея Михайлова, Кибальчича, устами Плеханова, Кропоткина, Михайловского, устами Сазонова и Каляева, устами Ленина, Мартова, Чернова, устами своей разночинной интеллигенции, своего студенчества, своих передовых рабочих — мысль философов и мыслителей западной свободы. Эту мысль несли книги, кафедры университетов, гейдельбергские и парижские студенты, ее несли сапоги бонапартовых солдат, ее несли инженеры и просвещенные купцы, ее несла служивая западная беднота, чье чувство человеческого достоинства вызывало завистливое удивление русских князей.

И вот, оплодотворенная идеями свободы и достоинства человека, совершилась русская революция.

Что же содеяла русская душа с идеями западного мира, как преобразовывала их в себе, в какой кристалл выделила их, какой побег готовилась выгнать из подсознания истории?

«...Русь, куда же несешься ты? ...Не дает ответа...»

Подобно женихам прошли перед юной Россией, сбросившей цепи царизма, десятки, а может быть, и сотни революционных учений, верований, лидеров, партий, пророчеств, программ... Жадно, со страстью и с мольбой вглядывались вожди русского прогресса в лицо невесты.

Широким кругом стали они — умеренные, фанатики, трудовики, народники, рабочелюбцы, крестьянские заступники, просвещенные заводчики, светолюбивые церковники, бешеные анархисты.

Невидимые, часто не ощущаемые ими нити связывали их с идеями западных конституционных монархий, парламентов, образованнейших кардиналов и епископов, заводчиков, ученых землевладельцев, лидеров рабочих профессиональных союзов, проповедников, университетских профессоров.

Великая раба остановила свой ищущий, сомневающийся, оценивающий взгляд на Ленине. Он стал избранником ее.

Он разгадал, как в старой сказке, ее затаенную мысль, он растолковал ее недоуменный сон, ее помысел.

Но так ли?

Он стал избранником ее потому, что он избрал ее, и потому, что она избрала его.

Она пошла за ним — он обещал ей златые горы и реки, полные вина, и она шла за ним сперва охотно, веря ему, по веселой хмельной дороге, освещенной горящими помещичьими усадьбами, потом оступаясь, оглядываясь, ужасаясь пути, открывшегося ей, но все крепче и крепче чувствуя железную руку, что вела ее.

И он шел, полный апостольской веры, вел за собой Россию, не понимая чудного наваждения, творившегося с ним. В ее послушной поступи, в ее новой, после свержения царя, покорности, в ее податливости, сводившей с ума, тонуло, гибло, преображалось все, что он принес России из свободолюбивого, революционного Запада.

Ему казалось, что в его непоколебимой, диктаторской силе залог чистоты и сохранности того, чему он верил, что принес своей стране.

Он радовался этой силе, отождествлял ее с правотой своей веры и вдруг, на мгновение, со страхом видел, что в его непоколебимости, обращенной к мягкой русской покорности и внушаемости, и есть его высшее бессилие.

И чем суровее делалась его поступь, чем тяжелей становилась его рука, чем послушней становилась его ученому и революционному насилию Россия, тем меньше была его власть бороться с поистине сатанинской силой крепостной старины.



Подобно тысячелетнему спиртовому раствору, крепло в русской душе крепостное, рабское начало. Подобно дымящейся от собственной силы царской водке, оно растворило металл и соль человеческого достоинства, преобразило душевную жизнь русского человека.

Девятьсот лет просторы России, порождавшие в поверхностном восприятии ощущение душевного размаха, удали и воли, были немой ретортой рабства.

Девятьсот лет уходила Россия от диких лесных поселений, от чадных курных изб, от скитов, от бревенчатых палат к уральским заводам, к донецкому углю, к петербургским дворцам, Эрмитажу, к могучей своей артиллерии, к своим тульским металлургам и токарям, к фрегатам и паровым молотам.

В поверхностном восприятии рождалось однозначное ощущение растущего просвещения и сближения с Западом.

Но чем больше становилась схожа поверхность русской жизни с жизнью Запада, чем более заводской грохот России, стук колес ее тарантасов и поездов, хлопанье ее корабельных парусов, хрустальный свет в окнах ее дворцов напоминали о западной жизни, тем больше росла тайная пропасть в самой сокровенной сути русской жизни и жизни Европы.

Бездна эта была в том, что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства.

История человека есть история его свободы. Рост человеческой мощи выражается прежде всего в росте свободы. Свобода не есть осознанная необходимость, как думал Энгельс. Свобода прямо противоположна необходимости, свобода есть преодоленная необходимость. Прогресс в основе своей есть прогресс человеческой свободы. Да ведь и сама жизнь есть свобода, эволюция жизни есть эволюция свободы.

Русское развитие обнаружило странное существо свое — оно стало развитием несвободы. Год от года все жестче становилась крестьянская крепость, все таяло мужичье право на землю, а между тем русские наука, техника, просвещение все росли да росли, сливаясь с ростом русского рабства.

Рождение русской государственности было ознаменовано окончательным закрепощением крестьян: упразднен был последний день мужицкой свободы — двадцать шестое ноября — Юрьев день.

Все меньше становилось «вольных», «бродячих» людей, все множилось число холопов, и Россия стала выходить на широкий путь европейской истории. Прикрепленный к земле стал прикреплен к хозяину земли, потом и к служивому человеку, представлявшему государство и войско; и хозяин получил право суда над крепостным, а потом и право московской пытки (так ее назвали четыре века назад) — это подвешивание за связанные за спиной руки, битье кнутом. И росла русская металлургия, ширились лабазы, крепло государство и войско, разгоралась заря русской воинской славы, ширилась грамотность.

Могучая деятельность Петра, основоположника русского научного и промышленного прогресса, связалась со столь же могучим прогрессом крепостного права. Петр приравнял крепостных, сидевших на земле, к холопам — дворовым, обратил «гулящих» людей в крепостных. Он закрепостил «черносошных» на севере и «однодворцев» на юге. Помимо помещичьего крепостного права, при Петре зацвело государственное крепостное право — оно помогало Петрову просвещению и прогрессу. Петру казалось, что он сближает Россию с Западом, да так и было оно, но пропасть, бездна между свободой и несвободой все росла и росла.

И вот пришел блистательный век Екатерины, век дивного цветения русских искусств и русского просвещения, век, когда русское крепостное право достигло своего высшего развития.

Так тысячелетней цепью были прикованы друг к другу русский прогресс и русское рабство. Каждый порыв к свету углублял черную яму крепостничества.

Девятнадцатый век — особый век в жизни России.

В этот век заколебался основной принцип русской жизни — связь прогресса с крепостничеством.

Революционные мыслители России не оценили значения совершившегося в девятнадцатом веке освобождения крестьян. Это событие, как показало последующее столетие, было более революционным, чем события Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции: это событие поколебало тысячелетнюю основу основ России, основу, которой не коснулись ни Петр, ни Ленин: зависимость русского развития от роста рабства.

После освобождения крестьян революционные лидеры, интеллигенция, студенчество бурно, со страстной силой, с самоотверженностью боролись за неведомое Россией человеческое достоинство, за прогресс без рабства. Этот новый закон был полностью чужд русскому прошлому, и никто не знал, какова же станет Россия, если она откажется от тысячелетней связи своего развития с рабством, каков же станет русский характер?

В феврале 1917 года перед Россией открылась дорога свободы. Россия выбрала Ленина.

Огромна была ломка русской жизни, произведенная Лениным. Ленин сломал помещичий уклад. Ленин уничтожил заводчиков, купцов.

И все же рок русской истории определил Ленину, как ни дико и странно звучит это, сохранить проклятие России: связь ее развития с несвободой, с крепостью.

Лишь те, кто покушается на основу основ старой России — ее рабскую душу, — являются революционерами.

И так сложилось, что революционная одержимость, фанатическая вера в истинность марксизма, полная нетерпимость к инакомыслящим привели к тому, что Ленин способствовал колоссальному развитию той России, которую он ненавидел всеми силами своей фанатичной души.

Действительно трагично, что человек, так искренне упивавшийся книгами Толстого и музыкой Бетховена, способствовал новому закрепощению крестьян и рабочих, превращению в холуев из государственной людской выдающихся деятелей русской культуры, подобных Алексею Толстому, химику Семенову, музыканту Шостаковичу.

Спор, затеянный сторонниками русской свободы, был наконец решен — русское рабство и на этот раз оказалось непобедимо.

Победа Ленина стала его поражением.

Но трагедия Ленина была не только русской трагедией, она стала трагедией всемирной.

Думал ли он, что в час совершенной им революции не Россия пойдет за социалистической Европой, а таившееся русское рабство выйдет за пределы России и станет факелом, освещающим новые пути человечества.

Россия уже не впитывала свободный дух Запада. Запад зачарованными глазами смотрел на русскую картину развития, идущего по пути несвободы.

Мир увидел чарующую простоту этого пути. Мир понял силу народного государства, построенного на несвободе.

Казалось, свершилось то, что предвидели пророки России сто и полтораста лет тому назад.

Но как странно и страшно свершилось.

Ленинский синтез несвободы с социализмом ошеломил мир больше, чем открытие внутриатомной энергии.

Европейские апостолы национальных революций увидели пламень с Востока. Итальянцы, а затем немцы стали по-своему развивать идеи национального социализма.

А пламя все разгоралось — его восприняла Азия, Африка.

Нации и государства могут развиваться во имя силы и вопреки свободе!

Это не была пища для здоровых, это было наркотическое лекарство неудачников, больных и слабых, отсталых или битых.

Тысячелетний русский закон развития волей, страстью, гением Ленина стал законом всемирным.

Таков был рок истории.

Ленинская нетерпимость, напор, ленинская непоколебимость к инакомыслящим, презрение к свободе, фанатичность ленинской веры, жестокость к врагам, все то, что принесло победу ленинскому делу, рождены, откованы в тысячелетних глубинах русской крепостной жизни, русской несвободы. Потому-то ленинская победа послужила несвободе. А рядом тут же, бесплотно, не знача, продолжались и жили чаровавшие миллионы людей ленинские черты милого, скромного русского трудового интеллигента.

Что ж. По-прежнему ли загадочна русская душа? Нет, загадки нет.



Да и была ли она? Какая же загадка в рабстве?

Что ж, это действительно именно русский и только русский закон развития? Неужели русской душе, и только ей, определено развиваться не с ростом свободы, а с ростом рабства? Действительно, сказывается ли здесь рок русской души?

Нет, нет, конечно.

Закон этот определен теми параметрами, а их десятки, а может быть, и сотни, в которых шла история России.

Не в душе тут дело. И пусть в эти параметры, в леса и степи, в топи и равнины, в силовое поле между Европой и Азией, в русскую трагическую огромность тысячу лет назад вросли бы французы, немцы, итальянцы, англичане — закон их истории стал бы тем же, каким был закон русского движения. Да и не одни русские познали эту дорогу. Немало есть народов на всех континентах Земли, которые то отдаленно, смутно, то ближе, ясней в своей горечи узнавали горечь русской дороги.

Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души.

И в восхищении византийской аскетической чистотой, христианской кротостью русской души живет невольное признание незыблемости русского рабства. Истоки этой христианской кротости, этой византийской аскетической чистоты те же, что и истоки ленинской страсти, нетерпимости, фанатической веры — они в тысячелетней крепостной несвободе.

И потому-то так трагически ошиблись пророки России. Да где же она, «русская душа, — всечеловеческая и всесоединяющая», которой предсказывал Достоевский «изречь окончательные слова великой общей окончательной гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону»?

Да в чем же она, господи, эта всечеловеческая и всесоединяющая душа? Думали ли пророки России в соединенном скрежете колючей проволоки, что натягивали в сибирской тайге и вокруг Освенцима, увидеть свершение своих пророчеств о будущем всесветном торжестве русской души?

Ленин во многом противоположен пророкам России. Он бесконечно далек от их идей кротости, византийской, христианской чистоты и евангельского закона. Но удивительно и странно — он одновременно вместе с ними. Он, идя совсем иной, своей, ленинской дорогой, не старался уберечь Россию от тысячелетней бездонной трясины несвободы, он, как и они, признал незыблемость русского рабства. Он, как и они, рожден нашей несвободой.

Крепостная душа русской души живет и в русской вере, и в русском неверии, и в русском кротком человеколюбии, и в русской бесшабашности, хулиганстве и удали, и в русском скопидомстве и мещанстве, и в русском покорном трудолюбии, и в русской аскетической чистоте, и в русском сверхмошенничестве, и в грозной для врага отваге русских воинов, и в отсутствии человеческого достоинства в русском характере, и в отчаянном бунте русских бунтовщиков, и в исступлении сектантов, крепостная душа и в ленинской революции, и в страстной восприимчивости Ленина к революционным учениям Запада, и в ленинской одержимости, и в ленинском насилии, и в победах ленинского государства.

Всюду в мире, где существует рабство, рождаются и подобные души.

Где же надежда России, если даже великие пророки ее не различали свободы от рабства?

Где же надежда, если гении России видят кроткую и светлую красоту ее души в ее покорном рабстве?

Где же надежда России, если величайший преобразователь ее, Ленин, не разрушил, а закрепил связь русского развития с несвободой, с крепостью?

Где пора русской свободной, человеческой душе? Да когда же наступит она?

А может быть, и не будет ее, никогда не настанет?

## 23

Ленин умер. Но не умер ленинизм. Не ушла из рук партии завоеванная Лениным власть. Товарищи Ленина, его помощники, его сподвижники и ученики продолжали ленинское дело.

...те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь: Ленин умер,
Их смерть к тоске не привела,
Еще суровей и угрюмей они творят его дела.

Остались завоеванная Лениным диктатура партии, созданные им армия, милиция, ВЧК, ликбезы, рабфаки. Двадцать восемь томов произведений остались после смерти Ленина. Кто же из соратников его возможно глубже и полнее сумеет вобрать в себя, выразить своим характером, сердцем, мозгом истинную, главную суть ленинизма? Кто примет знамя Ленина, кто понесет его, кто построит великое государство, заложенное Лениным, кто поведет партию нового типа от победы к победе, кто закрепит новый порядок на земле?

Блестящий, бурный, великолепный Троцкий? Наделенный проникновенным даром обобщателя и теоретика обаятельный Бухарин? Наиболее близкий народному, крестьянскому и рабочему интересу практик государственного дела волоокий Рыков? Способный к любым многосложным сражениям в конвенте, изощренный в государтвенном руководстве, образованный и увереиный Каменев? Знаток международного рабочего движения, полемист-дуэлянт международного класса Зиновьев?

Характер, дух каждого из них был близок, созвучен тем или иным граням ленинского характера. Но оказалось, что эти грани ленинского характера не были главными, основными, определяющими суть, корень рождающейся нови.

Роковым образом случилось так, что все черты ленинского характера, которые были выражены в характере почти гениального Троцкого, Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева, оказались крамольными чертами, привели всех названных лидеров к плахе, гибели.

Суть ленинского характера была не в этих чертах и гранях. В них оказалась ленинская слабость, крамола, ленинские чудачества, иллюзии, суть нови была не в них.

Ведь и черты Луначарского были в некой ленинской грани, слушавшей «Аппассионату» и упивавшейся «Войной и миром». Но уж не бедняге Луначарскому было определено сурово и угрюмо творить главное дело ленинской партии. Не Троцкому, Бухарину, Рыкову, Каменеву, Зиновьеву судила история выразить сокровенную суть Ленина.

Ненависть Сталина к лидерам оппозиции была его ненавистью к тем чертам ленинского характера, которые противоречили ленинской сути.

Сталин казнил ближайших друзей и соратников Ленина, потому что они, каждый по-своему, мешали осуществиться тому главному, в чем была сокровенная суть Ленина.

Борясь с ними, казня их, он как бы и с Лениным боролся, и Ленина казнил. Но одновременно именно он победоносно утвердил Ленина и ленинизм, поднял и укрепил над Россией ленинское знамя.

## 24

Имя Сталина навечно вписано в историю России.

Послереволюционная Россия, вглядываясь в Сталина, познала себя. Двадцать восемь томов ленинских сочинений — речей, докладов, программ, экономических и философских исследований — не послужили самопознанию Россией себя, своей судьбы. Хаос, превышающий вавилонский, был вызван смешением западной революции с русским строем развития и жизни.

Не только матросы и конники Буденного, не только русское крестьянство и рабочие, но и сам Ленин были беспомощны в понимании истины происшедшего. Рев революционной бури, законы материалистической диалектики, логика «Капитала» смешались с уханьем гармошек, с «Яблочком» и «Цыпленком жареным», с гудением самогонных аппаратов, с призывом лекторов и агитаторов, обращенным к матросам и рабфаковцам, не поддаваться ядовитой ереси Каутского, Кунова, Гильфердинга.

Огонь, бунт, разгул, охватившие Россию, подняли со дна российского котла груз обиды и злобы, накопившийся за столетия народного крепостного страдания.



Из романтики революции, из безумств Пролеткульта, из зеленых самогонных республик, из хмельного удальства и мужичьего бунта, из матросского бешенства на «Алмазе» поднимался новый, могучий, еще не виданный Россией полицмейстер.

Страстное народное желание стать хозяином пахотной земли, понятое Лениным и возглавленное Лениным, было враждебно государству, основанному Лениным, несовместимо с этим государством. С этим стремлением народа стать хозяином земли было непоколебимо покончено.

В 1930 году государство, основанное Лениным, стало безраздельным хозяином всех земель, лесов, вод в Советском Союзе, полностью отстранив от владения пахотной землей крестьянство.

Путаница, противоречия, туман царили не только на узловых станциях, пристанях и крышах эшелонов, не только в деревенских чаяниях и в воспаленных головах поэтов. Путаница и туман царили в области революционной теории, в ошеломляющих противоречиях с практикой кристально ясных построений первого теоретика партии.

Основной ленинский лозунг был «Вся власть Советам», но дальнейший ход жизни показал, что созданные Лениным Советы не имели и не имеют по сей день никакой власти — являются инстанцией чисто формальной или служебно-исполнительной.

Весь теоретический пафос молодого Ленина был направлен на борьбу с народничеством, эсерами, на доказательство того, что Россию не минет капиталистический путь развития. А весь пафос Ленина в 1917 году был направлен на доказательство того, что Россия, минуя капиталистический путь, сопряженный с демократическими свободами, может и должна пойти дорогой пролетарской революции.

И мог ли думать Ленин, что, основав Коммунистический Интернационал и провозглашая на Втором конгрессе Коминтерна лозунг мировой революции, провозглашая «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», он готовил почву для невиданного в истории роста принципа национального суверенитета?

Эта сила государственного национализма и этот бешеный национализм людских масс, лишенных свободы и человеческого достоинства, стали главным рычагом, термоядерной боеголовкой нового порядка, определили рок двадцатого века.

Сталин вправил мозги послеоктябрьской, послеленинской России, роздал всем сестрам по серьгам, а кому серег не полагалось, оторвал их вместе с ушами либо с головой.

Партии большевиков предстояло стать партией национального государства. Слияние партии и государства нашло свое выражение в личности Сталина. В Сталине, в его характере, уме, воле государство выразило свой характер, свою волю, свой ум.

Казалось, Сталин строил основанное Лениным государство по образу и подобию своему. Но дело, конечно, было не в этом — его образ был подобием государства, потому-то он и стал хозяином.

Но, видимо, иногда, особенно под конец жизни, ему казалось, что государство слуга его.

В Сталине, в его характере, соединившем в себе азиата и европейского марксиста, выразился характер советской государственности. Именно государственности! В Ленине воплотилось русское национальное историческое начало, в Сталине — русская советская государственность. Русская государственность, рожденная Азией и рядящаяся под Европу, не историчнa, она надисторична.

Ее принцип универсален, незыблем, применим ко всем укладам России на протяжении ее тысячелетней истории. С помощью Сталина унаследованные от Ленина революционные категории диктатуры, террора, борьбы с буржуазными свободами, казавшиеся Ленину категориями временными, — были перенесены в основу, в фундамент, в суть, слились с традиционной, национальной тысячелетней русской несвободой. С помощью Сталина эти категории и сделались содержанием государства, а социал-демократические пережитки были изгнаны в форму, в театральную декорацию.

Все черты не ведающей жалости к людям крепостной России собрал в себе характер Сталина.

В его невероятной жестокости, в его невероятном вероломстве, в его

способности притворяться и лицемерить, в его злопамятстве и мстительности, в его грубости, в его юморе — выразился сановный азиат.

В его знаниях революционных учений, в пользовании терминологией прогрессивного Запада, в знании литературы и театра, любимых русской демократической интеллигенцией, в его цитатах из Гоголя и Щедрина, в его умении пользоваться тончайшими приемами конспирации, в его аморальности — выразился революционер нечаевского типа, того, для которого любые средства оправданы грядущей целью. Но, конечно, Нечаев бы содрогнулся, увидев, до каких чудовищных размеров довел нечаевщину Иосиф Сталин.

В его вере в чиновную бумагу и полицейскую силу как главную силу жизни, в его тайной страсти к мундирам, орденам, в его беспримерном презрении к человеческому достоинству, в обоготворении им чиновного порядка и бюрократии, в его готовности убить человека ради святой буквы закона и тут же пренебречь законом ради чудовищного произвола выразился полицейский чин, жандармский туз.

Вот здесь-то и был характер Сталина, в соединении этих трех Сталиных.

Вот эти три Сталина и создали сталинскую государственность — ту, для которой закон есть лишь орудие произвола, а произвол — закон, ту, что тысячелетними корнями своими ушла в крепостное прошлое, обратившее мужиков в рабов, в татарское иго, обратившее в холопов тех, кто княжит над мужиками, ту, что одновременно граничит с вероломной, мстительной, лицемерной и жестокой Азией и с просвещенной, демократичной, торгашеской и продажной Европой.

Этот азиат в шевровых сапожках, цитирующий Щедрина, живущий законами кровной мести и одновременно пользующийся словарем революции, внес ясность в послеоктябрьский хаос, осуществил, выразил свой характер в характере государства.

Главный принцип построенного им государства в том, что это государство без свободы.

В этой стране гигантские заводы, искусственные моря, каналы, гидростанции не служат человеку, они служат государству без свободы.

В этом государстве человек не сеет то, что хочет посеять, человек не хозяин поля, на котором работает, не хозяин яблонь и молока; земля родит по инструкции государства без свободы.

В этом государстве не только малые народы, но и русский народ не имеют национальной свободы. Там, где нет человеческой свободы, не может быть и национальной свободы, ведь национальная свобода — это прежде всего свобода человека.

В этом государстве нет общества, так как общество основано на свободной близости и свободном антагонизме людей, а в государстве без свободы немыслима свободная близость и вражда.

Тысячелетний принцип роста русского просвещения, науки и промышленной мощи через посредство роста человеческой несвободы, принцип, взращенный боярской Русью, Иваном Грозным, Петром, Екатериной, этот принцип достиг при Сталине полного своего торжества.

И поистине удивительно, что Сталин, так основательно разгромив свободу, все же продолжал бояться ее.

Быть может, что страх перед ней и заставлял Сталина проявлять его поистине невиданное лицемерие.

Лицемерие Сталина ясно выразило лицемерие его государства. И лицемерие это главным образом выражалось в игре в свободу. Государство не оплевывало мертвую свободу! Драгоценнейшее, живое, радиоактивное содержание свободы и демократии было умерщвлено и превращено в чучело, в словесную шелуху. Так дикари, в чьи руки попали тончайшие секстанты и хронометры, используют их в качестве украшений.

Умерщвленная свобода стала украшением государства, но украшением не бесполезным. Мертвая свобода стала главным актером в гигантской инсценировке, в театральном представлении невиданного объема. Государство без свободы создало макет парламента, выборов, профессиональных союзов, макет общества и общественной жизни. В государстве без свободы макеты правлений колхозов, правлений союзов писателей и художников, макеты президиумов райисполкомов и облисполкомов, макеты бюро и пле-



нумов райкомов, обкомов и центральных комитетов национальных компартий обсуждали дела и выносили решения, которые были вынесены заранее совсем в другом месте. Даже Президиум Центрального Комитета партии был театром.

Этот театр был в характере Сталина. Этот театр был в характере государства без свободы. Поэтому государству и понадобился Сталин, осуществивший через свой характер характер государства.

Что же было реальностью, а не театром? Кто же действительно решал, а не делал вид, что решает?

Реальной силой был Сталин. Он решал. Но, конечно, он не мог лично решить все вопросы в государстве — дать ли отпуск учительнице Семеновой, сеять ли в колхозе «Заря» горох или капусту.

Хотя принцип государства без свободы требовал, чтобы именно так обстояло дело, чтобы Сталин решал все вопросы без изъятия. Но физически это оказалось невозможно, и второстепенные вопросы решали доверенные люди Сталина, решали всегда одинаково: в духе Сталина.

Только поэтому они были доверенными людьми Сталина или доверенными его доверенных. Их решения были объединены одной общей чертой — независимо от того, касались ли они постройки гидростанции в нижнем течении Волги либо посылки на двухмесячные курсы доярки Анюты Феоктистовой — они выносились в духе Сталина. Суть ведь была в том, что дух Сталина и дух государства были едины.

Доверенные Сталина-Государства сразу были видны на любых заседаниях, собраниях, летучках, съездах — с ними никто никогда не спорил: они ведь говорили именем Сталина-Государства.

То, что государство без свободы всегда действовало от имени свободы и демократии, боялось ступить шаг без упоминания ее имени, свидетельствовало о силе свободы. Сталин мало кого боялся, но постоянно и до конца своей жизни он боялся свободы, — убив ее, он заискивал перед нею мертвой.

Ошибочно мнение, что дела времен коллективизации и времен ежовщины — бессмысленные проявления бесконтрольной и безграничной власти, которой обладал жестокий человек.

В действительности кровь, пролитая в тридцатом и тридцать седьмом годах, была нужна государству, как выражался Сталин, — не прошла даром. Без нее государство бы не выжило. Ведь эту кровь пролила несвобода, чтобы преодолеть свободу. Дело это давнее, началось оно при Ленине.

Свобода была преодолена не только в области политики и общественной деятельности. Свобода была преодолена в сельском хозяйстве — в праве свободно сеять и убирать урожай, свобода была преодолена в поэзии и философии, в сапожном мастерстве, в круге чтения, в перемене места жительства, в труде рабочих, чьи нормы выработки, условия техники безопасности, заработная плата целиком определялись волей государства.

Несвобода безраздельно торжествовала от Тихого океана до Черного моря. Она была всюду и во всем. И везде и во всем была убита свобода.

Это было победоносное наступление, и совершить его можно было, лишь пролив много крови: ведь свобода — это жизнь, и, преодолевая свободу, Сталин убивал жизнь.

Характер Сталина выразился в гигантах пятилеток, эти гремящие пирамиды двадцатого века соответствовали пышным памятникам и дворцам азиатской древности, которые пленили душу Сталина. Эти гигантские стройки не служили человеку так же, как не нужны были богу гигантские храмы и мечети.

С выпуклой силой характер Сталина выразился в деятельности созданных им органов безопасности.

Пыточные допросы, истребительная деятельность опричнины, призванной уничтожать не только людей, но и сословия, методы сыска, развившиеся от Малюты Скуратова до графа Бенкендорфа, — все это нашло свои эквиваленты в душе Сталина, в делах созданного им карательного аппарата.

Но, пожалуй, особо зловещими были те эквиваленты, что объединили в единстве сталинской натуры русское революционное начало с началом могучей и безудержной, русской же, тайной полиции.

Это объединение революции и полицейского сыска, происшедшее в натуре Сталина и отраженное в созданных им органах безопасности, также имело свой прообраз в русском государстве.

Объединение Дегаева — народовольца, интеллигента, а впоследствии агента охранки — с начальником политического сыска полковником Судейкиным, происшедшее в годы, когда Иосиф Джугашвили был крошкой, ребенком, и стало прообразом этого зловещего альянса.

Судейкин, умница, скептик, знаток и ценитель революционной силы России, насмешливый созерцатель убожества царя и царских министров, которым он служил, использовал народовольца Дегаева в своих полицейских целях. Народоволец Дегаев служил одновременно в революции и в полиции.

Планам Судейкина не суждено было сбыться. Он хотел с помощью революции, попустительствуя ей, а затем создавая липу, туфту, фальшивые дела, запугать царя, прийти к власти, стать диктатором. Он хотел, возглавив государство, уничтожить дотла революцию. Но дерзкие мечты его не состоялись — Дегаев убил Судейкина.

Сталин же победил. В его победе, где-то тайно от всех и тайно от него самого, жила победа судейкинской мечты — запрячь в возок двух лошадей: революцию и тайную полицию.

Сталин, рожденный революцией, расправился с революцией и революционерами с помощью полицейского аппарата.

Быть может, мучившая его мания преследования была вызвана тайным, таившимся в его подсознании страхом Судейкина перед Дегаевым?

Покорный, обузданный в третьем отделении революционер-народоволец все же внушал ужас полицейскому полковнику. особенно страшно было то, что оба они, вероломствуя, дружа и враждуя, жили в тесной тьме сталинской души.

И, быть может, здесь или, во всяком случае, где-то поблизости, лежит объяснение одного из наибольших недоумений современников поры 1937 года — зачем было, уничтожая невинных, преданных революции людей, разрабатывать подробнейшие, лживые от начала до конца сценарии их участия в вымышленных, несуществующих заговорах?

Мучительными пытками, длящимися сутками, неделями, месяцами, а иногда и годами, органы безопасности заставляли несчастных, истерзанных бухгалтеров, инженеров, агрономов участвовать в театральных представлениях, играть роль злодеев, агентов заграницы, террористов, вредителей.

Для чего делалось это? Миллионы раз миллионы людей задавали себе этот вопрос.

Ведь Судейкин, разрабатывая свои инсценировки, имел в виду обман царя. А Сталину не было нужды обманывать царя — сам Сталин и был царем.

Да, да, и все же Сталин своими инсценировками стремился обмануть царя, что незримо, помимо его воли, жил в тайной тьме его души. Незримый владыка продолжал жить всюду, где, казалось, безраздельно торжествовала несвобода. Его, единственного, до конца дней своих ужасался Сталин.

Со свободой, во имя которой началась в феврале русская революция, Сталин не мог до конца дней своих справиться кровавым насилием.

И азиат, живший в сталинской душе, пытался обмануть свободу, хитрил с ней, отчаявшись добить ее до конца.

## 25

После смерти Сталина дело Сталина не умерло. Так же в свое время не умерло дело Ленина.

Живет построенное Сталиным государство без свободы. Не ушла из рук партии созданная Сталиным мощь промышленности, Вооруженных Сил, карательных органов. Несвобода по-прежнему незыблемо торжествует от можа до можа. Не поколеблен закон всепроникающего театра, действует все та же система выборов, все так же окованы рабством рабочие союзы, все так же беспредельно несвободны и беспаспортны крестьяне, все так же талантливо трудится, шумит, жужжит в лакейских интеллигенция великой



страны. Все то же кнопочное управление державой, все та же неограниченная власть великого диспетчера.

Но, конечно, неминуемо многое и изменилось, не могло не измениться.

Государство без свободы вступило в свой третий этап. Его заложил Ленин. Его построил Сталин. И вот наступил третий этап — государство без свободы построено, как говорят строители, введено в эксплуатацию.

Многое, что было необходимо в период стройки, стало теперь ненужным. Прошла пора уничтожения старых домишек на строительной площадке, уничтожения, переселения, выселения жителей из разрушенных особняков, домиков, хибарок, домин.

Небоскреб заселен новыми жильцами. Конечно, немало оказалось в нем недоделок, но нет уже нужды постоянно пользоваться истребительными приемами великого прораба, старого хозяина.

Фундамент небоскреба — несвобода — по-прежнему незыблем.

Что же дальше будет? Так ли уж незыблем этот фундамент?

Прав ли Гегель — все ли действительное разумно? Действительно ли бесчеловечное? Разумно ли оно?

Сила народной революции, начавшейся в феврале 1917 года, была так велика, что даже диктаторское государство не смогло ее заглушить. И в то время, как государство ради себя лишь одного совершало свой ужасный и жестокий путь роста и накопления, оно, само того не ведая, в чреве своем таило свободу.

Свобода совершалась в глубокой тьме и в глубокой тайне. По поверхности земли гремя катила ставшая для всех явью, сметавшая все на своем пути река. Новое национальное государство — собственник всех несметных сокровищ — заводов, фабрик, атомных котлов, всех полей, безраздельный владыка каждого живого дыхания — торжествовало победу. Революция, казалось, произошла ради него, ради его тысячелетней власти и торжества. Но владыка полумира был не только гробовщиком свободы.

Она совершалась вопреки ленинскому гению, вдохновенно сотворившему новый мир. Свобода совершалась вопреки безмерному, космическому сталинскому насилию. Она совершалась потому, что люди продолжали оставаться людьми.

У человека, совершившего революцию в феврале 1917 года, у человека, создавшего по велению нового государства и небоскребы, и заводы, и атомные котлы, нет другого исхода, кроме свободы. Потому что, создавая новый мир, человек остался человеком.

Все это иногда ясно, иногда туманно понимал и чувствовал Иван Григорьевич.

Как бы ни были огромны небоскребы и могучи пушки, как ни была безгранична власть государства и могучи империи, все это лишь дым и туман, который исчезнет. Остается, развивается и живет лишь истинная сила — она в одном, в свободе. Жить — значит быть человеку свободным. Не все действительное разумно. Все бесчеловечное бессмысленно и бесполезно!

И Ивана Григорьевича не удивляло, что слово «свобода» было на его губах, когда он студентом уходил в Сибирь, и что слово это жило, не исчезало из его головы и теперь.

## 26

Он был один в комнате, но он думал свои мысли так, словно вел разговор с Анной Сергеевной.

...Знаешь, в самые тяжелые времена я представлял себе объятия женщины, думал — так хороши они, что в этих объятиях найдешь забвение, не вспомнишь пережитого, словно не было его. А оказалось, видишь, — именно тебе и должен я рассказывать о самом тяжелом, вот и ты всю ночь говорила. Оказывается, счастье — это разделить с тобой ту тяжесть, что ни с кем, только с тобой разделишь. Вот придешь из больницы, и я расскажу тебе свой самый тяжелый час. Это был разговор в камере на рассвете после допроса. Сосед у меня был, его уж нет, он тогда же умер, Алексей Самойлович, думаю, он самый умный человек из тех, с кем мне пришлось встречаться. Но страшный для меня ум у него был. Не злой, злой ведь не

страшный. А его ум не злой, но равнодушный, насмешливый к вере. Мне он был ужасен и, главное, тянул к себе, затягивал, я не мог его одолеть. А моя вера в свободу его не брала.

Жизнь у него сложилась плохо. Впрочем, жизнь как жизнь, ничего особенного, и сидел он по статье пятьдесят восемь десять, самой что ни есть обычной нашей статье.

Но голова у него была могучая. Мысль, как волна, подхватит, и я вздрагивал даже, как земля вздрагивает от удара океанской волны.

Попал я обратно в камеру после допроса. Какой список насилий, костры, тюрьмы, истребительная техника — многоэтажные замки тюремные, огромные, как областные города, лагеря. Смертная казнь началась с дубины, крушащей череп, с пеньковой петли. А сегодня палач включает рубильник и казнит сто, тысячу, десять тысяч человек. Ему уж не нужно взмахивать топором. Наш век — век высшего насилия государства над человеком. Но вот в чем сила и надежда людей. Именно двадцатый век поколебал гегелевский принцип мирового исторического процесса: «Все действительное разумно», принцип, который в тревожных десятилетних спорах освоили русские мыслители прошлого века. И именно теперь, опрокидывая гегелев закон, в пору торжества государственной мощи над свободой человека, подготавливается русскими мыслителями в лагерных ватниках высший принцип всемирной истории: «Все бесчеловечное бессмысленно и бесполезно».

Да, да, да, во времена полного торжества бесчеловечности стало очевидно, что все созданное насилием бессмысленно и бесполезно, существует без будущего, бесследно.

Это вера моя, и я с ней вернулся в камеру. А сосед мне обычно говорил:

— Чего уж отстаивать свободу, это когда-то в ней видели закон и разум развития. А теперь, — говорит, — ясно: вообще исторического развития нет, история — процесс молекулярный, человек всегда равен себе, ничего с ним не сделаешь, нет развития. А закон простой — закон сохранения насилия. Такой же простой, как закон сохранения энергии. Насилие вечно, что бы ни делали для его уничтожения, оно не исчезает, не уменьшается, а лишь превращается. То оно в рабстве, то в монгольском нашествии. То перекочует с континента на континент, то обернется классовым, то из классового станет расовым, то из материальной сферы уйдет в средневековую религиозность, то обрушится на цветных, то на писателей и художников, а в общем количество его на земле одинаково, а хаос его превращений мыслители принимают за эволюцию и ищут ее законы. А у хаоса нет законов, ни развития, ни смысла, ни цели. Вот и Гоголь, гений России, воспел птицу-тройку, в ее беге угадывал будущее, а не в той тройке, что гадал Гоголь, оказалось будущее. Вот она, тройка: русская казенная судьба, безликая тройка, особое совещание. Тройка, что приговаривала к расстрелу, составляла списки на раскулачивание, исключала юношу из университета, не давала хлебной карточки «бывшей» — старухе.

И вот он со своих нар грозит Гоголю пальцем:

— Ошиблись, Николай Васильевич, не поняли, не разглядели русской нашей птицы-тройки. Не в беге тройки история людей, а в хаосе, в вечном переходе одного вида насилия в другой. Летит птица-тройка, а все недвижно, все застыло, а главное, недвижим человек, недвижима судьба его. Насилие вечно, что бы ни делали для его уничтожения. А тройка летит, и нет ей дела до русского горя. И что русскому горю — летит она либо замерла в неподвижности.

И оказывается, совсем не та это тройка, а уж вот эта, что здесь где-то подписывает высшую меру...

И вот я лежу на нарах и все, что во мне, полуживом, живого, это моя вера: история людей есть история свободы, от меньшей к большей, история всей жизни от амебы до людского рода есть история свободы, переход от меньшей свободы к большей свободе, да и сама жизнь и есть свобода. И эта вера дает мне силу, я ощупываю драгоценную, запрятанную в тюремном тряпье чудную и светлую мысль: «Все бесчеловечное бессмысленно и бесследно».

А Алексей Самойлович слушает меня, полуживого, говорит мне:



— Это лишь утешительный обман, ведь история жизни есть история непреодоленного насилия, оно вечно и неистребимо, оно превращается, но не исчезает и не уменьшается. Да и слово — история — придумано людьми — истории нет, история есть толчение воды в ступе, человек не развивается от низшего к высшему, человек недвижим, как глыба гранита, его доброта, его ум, его свобода недвижимы, человеческое не растет в человеке. Какая же история человека, если доброта его недвижима?

И знаешь, я почувствовал — тяжелей этих минут ничего уж быть не может. Я лежу на нарах, и, боже мой, ну что ж это, и именно от умного человека пришла ко мне невыносимая тоска, вот знаешь, казнь. И даже дышать невыносимо. И одно желание — не видеть, не слышать, не дышать. Умереть. Но облегчение пришло совсем с другой стороны: меня снова потащили на допрос, отдышаться не дали. И легче стало. И я верю в неминуемость свободы. К черту птицу-тройку, ту, что летит, гремит и подписывает приговора. Свобода соединится с Россией!

Ты не слышишь меня! Когда же ты вернешься ко мне из больницы?

В зимний день Иван Григорьевич проводил на кладбище Анну Сергеевну. Не пришлось ему поделиться с ней всем, что вспомнил он, что продумал, записал за месяцы ее болезни.

Он отвез вещи покойной в деревню, провел день с Алешей и снова вернулся на работу в артель.

## 27

Летом Иван Григорьевич уехал в приморский город, где под зеленой горой стоял дом его отца.

Поезд шел вдоль самого берега, и Иван Григорьевич на короткой остановке вышел из вагона, глядел на зеленую и черную, движущуюся, пахнущую соленой прохладой воду.

Море и ветер были и когда следователь вызывал его на ночной допрос, и когда копали могилу умершему на этапе зека, и когда служебные собаки лаяли под окнами барака и снег скрипел под ногами конвоиров.

Море вечно, и эта вечность его свободы казалась Ивану Григорьевичу сродни равнодушию. Морю не было до Ивана Григорьевича дела, когда он шел свою жизнь за Полярным кругом, и не будет до него дела гремящей и плещущей свободе, когда он перестанет жить. Он подумал — это не свобода, это пришедшее на землю астрономическое пространство, осколок вечности, движущейся и равнодушной.

Море — не свобода, оно подобие ее, символ ее... Как же прекрасна свобода, если напоминание о ней, подобие ее, наполняет человека счастьем.

Переночевав на вокзале, он рано утром пошел в сторону дома. В безоблачном небе поднималось осеннее солнце, и его нельзя было отличить от весеннего солнца.

Он шел в пустынной и сонной тишине, он ощутил такое смятение, что казалось, на этот раз не выдержит все выдержавшее сердце. Мир в эти минуты стал божественно неподвижен, милая святыня его детства была вечна и неизменна. Его ноги когда-то шли по этому прохладному булыжнику, его детские глаза всматривались в эти тронутые красной осенней ржавчиной округлые горы. Он слушал шум ручья, идущего к морю среди городских отбросов — арбузных корок и обглоданных кукурузных початков.

По улице в сторону базара шел старик абхазец в черной сатиновой рубахе, подпоясанной кожаным тонким пояском, нес корзину каштанов.

Быть может, у этого старика, застывшего и неизменного в своей седине, покупал в детстве Иван Григорьевич каштаны и инжир. И тот же прохладный и теплый, пахнущий морем, и горным небом, и чесночным кухонным чадом, и розами, южный утренний воздух. И те же домики с закрытыми ставнями, со спущенными занавесками. И те же, сорок лет назад бывшие, неповзрослевшие дети, те же не ушедшие в могилу старики спали за этими закрытыми ставнями.

Он вышел на шоссе и стал подниматься на гору. Шумел ручей. Иван Григорьевич помнил его голос.

Никогда он не видел свою жизнь, всю целиком, и вот, он увидел ее. И, увидя ее, он не испытал злобы к людям.

Все они, и те, что вели его, толкая прикладом, в кабинет следователя, и те, кто не давал ему спать на допросах, и те, кто подло говорил о нем на собраниях, и те, кто отрекался от него, и те, кто крал его лагерный хлеб, и те, кто бил его, — все они в своей слабости, грубости, злобе делали зло не потому, что им хотелось причинить ему зло.

Они изменяли, клеветали, отрекались потому, что иначе не проживешь, пропадешь, и все же они были людьми. Разве эти люди хотели того, чтобы он, потеряв любовь, старый, одинокий шел к своему заброшенному дому?

Люди не хотели никому зла, но всю жизнь люди делали зло.

И все же люди были людьми. И чудное, дивное дело — хотели они того или нет — они не давали умереть свободе, и даже самые страшные из них берегли ее в своих страшных, исковерканных и все же человеческих душах.

Он ничего не достиг, после него не останется книг, картин, открытий. Он не создал школы, партии, у него не было учеников.

Почему так была тяжела его жизнь? Он не проповедовал, не учил, он оставался тем, кем был от рождения, — человеком.

Вот открылся склон горы, из-за перевала стали видны вершины дубов. В детстве ходил он там в лесном полумраке, разглядывал следы исчезнувшей жизни черкесов — одичавшие садовые деревья, остатки оград вокруг жилья.

Может быть, родной дом стоит такой же неизменный, как неизменными показались улицы, ручей.

Вот еще один виток дороги. На миг показалось ему, что невероятно яркий, никогда не виданный им свет залил землю. Еще несколько шагов — и в этом свете он увидит дом, и к нему, блудному сыну, подойдет мать, и он станет перед ней на колени, и ее молодые прекрасные руки лягут на его плешивую и седую голову.

Он увидел заросли колючки, хмеля. Ни дома, ни колодца, лишь несколько камней белело среди пыльной, выжженной солнцем травы.

Он стоял здесь — седой, сутулый и все же тот же, неизменный.

*1955—1963.*

*Публикация Ф. ГУБЕРА*
*и Е. КОРОТКОВОЙ (Гроссман)*

Евгений ВИНОКУРОВ

# Новые стихи

### *Мираж*

Себя
считая исполином,
перед собою чистый лист
он положил...
С пером гусиным
в руке
сидит он,
утопист.
Весь мир он переделать хочет,
ему все в мире нипочем!..
А жизнь великая хохочет,
хохочет за его
плечом...
То не пустяшная затея, —
ей посвящает он судьбу...
Пред ним реальность и идея
сейчас
столкнулись
лоб ко лбу...
Парик вдруг набок съехал криво!..
А он твердит себе одно:
все то, что явно справедливо, —
на этом свете
быть
должно...
А за окном Парижа крыши...
Но видит он, впадая в раж,
одно:
растет все выше, выше
самим им
созданный
мираж...

### *Два голоса*

Я знал
двух авторов, которых
листал в читальной тишине
давным-давно!..

Был равно дорог,
все примиряющему, мне
и тот,
что в комнатке восславил
мирок,
где был он одинок,
и тот,
патриархальных правил
и радостей семьи
знаток...
Два ощущенья,
два начала,
обоим предан я вполне...

Всю жизнь мою
вдали
звучало
два этих голоса
во мне.

### *Гоголь*

А Гоголь
сгорбился устало,
его поникла голова.
Он смотрит грустно с пьедестала,
как летняя шумит Москва...
«Как скучно жить на этом свете, —
вот-вот он скажет, — господа!..»
А около играют дети,
с утра пришедшие сюда!..
И Гоголь,
в каменной крылатке,
глядит, —
в глазах его тоска...
Ликуют дети на площадке
и что-то строят из песка...
Хохочут средь взметенной пыли
весь день московский, дотемна,
хоть жизнь,
в которую вступили,
увы, к несчастью,

не прочна...
И старость поджидает где-то,
и грустны Гоголя слова...

Но синее над ними лето...
Песок. И солнце!
И Москва...

### *Бог природы*

С верха до низа
трезубец, увитый плющом,
в честь Диониса
его мы высоко несем!
Сбор винограда,
веселья великого сбор...
Где же он?..
Рада
природа ему до сих пор!
Это не пища! Багрянцем измазанный рот!
Выбиты днища, — гуляет веселый народ!
Празднество плоти, единая пляшет семья.
Куда же вы прете, под пляску в литавры бия?
Небо багрово...
Кто он:
святой иль бес?
Умер и снова
вместе с травою воскрес.
Коль ты умрешь, то разбудит
природа твоя!..

Но не было, нет и не будет —
небытия...

### *Летописец*

Позабыв
про игры и веселье,
лишь пред бездной ощущая страх,
он сидит в своей убогой келье,
с миром распростившийся монах...
И, пока не позовут к вечерне,
пишет,
не жалеючи чернил,
он про этот мир, погрязший в скверне,
но который почему-то мил...
Свечка перед ним горит, мерцая.
Аскетичный сжат упрямо рот...
Где-то там бушует жизнь мирская,
полная смятенья и забот.
Горбится спина его, устала...
Мыслью же все занят он одной:
Истины небесной все же
мало
без вот этой истины
земной...

* * *

Жизнь
прошла у этого негладко,
у того же — просто благодать...
Человеческой судьбы загадка, —



ни за что ее не разгадать!
Главное же, быть, как видно, в силе,
чтоб с концами бы сошлись концы...
Тыщи лет судили и рядили,
видимо, об этом
мудрецы...

### *Цыган*

Он
сидит,
в руках его гитара.
В бубен бьет курчавый мальчуган...

А глубины творческого дара
все же непонятны у цыган!
Этот мир великий им не тесен.
В радости разгульной иль тоске
им нельзя существовать
без песен...
Жизнь свою проводят налегке!
Все на свете
посетили страны, —
их скитанья, что же?
Труд как труд!

Постигают жизни смысл цыганы:
день живут,
а там, глядишь,
умрут...
Пестрою они покрыты рванью,
знать не знают:
где добро, где зло.
А к такому их существованью
их одних что все же привело?..
Нет моста, —
для них довольно брода...
У костров ночуют кочевых!..
Темная всесильная природа
в этом мире
все-таки
за них...

### *Гуманист*

Все дороги к небу непологие...
И тяжелый богословский том
седовласый доктор теологии
стал листать
трясущимся перстом.
Медленно,
страница за страницею:
все дороги к Богу
нелегки!
Где-то, проклиная инквизицию,
яростно горят
еретики...
Что тут скажешь,
все-таки невесело
быть таким согбенным
и седым!..
Даль средневековья занавесило —
до неба поднялся
черный
дым...
Медля,
о его духовном опыте
по листу задвигалось перо...

Нелегко
средь пламени
и копоти
безраздельно
веровать
в добро.

### *Страх*

Было то моей судьбы начало...
Поутру уж слышал я сквозь сон:
радио страну оповещало —
новый враг опять
разоблачен...
Я того вовеки не забуду, —
слышал я
с рассвета дотемна,
что враги, враги, враги повсюду,
что полна предателей
страна!..

Так вопила каждая газета
полстолетия тому назад!..
Поутру встречал я у соседа
в ужасе остекленевший
взгляд...
Стенгазета о врагах трубила.
О врагах вещало нам кино...
В школе
у учительницы было
в страхе все лицо
искажено...

Александр ЧАКОВСКИЙ

# Нюрнбергские призраки

РОМАН

## Часть II

### «К-К-К»

Клаус появился на следующий день утром. Лицо его явно осунулось, на правой щеке выделялся пластырь, прикрывавший, очевидно, рану или царапину...

— Что с тобой, Клаус?—встревоженно спросил Рихард, кладя обе руки на плечи своего приятеля и притягивая его к себе.

— Ничего!—угрюмо, даже резко ответил Клаус, освобождаясь от объятий Рихарда.

— А что у тебя на лице?

— Ерунда. Поцарапал бритвой.

— Ты завтракал?—Рихард усадил Клауса на кушетку.

— Да. Ты тоже?

Рихард утвердительно кивнул.

Какое-то время они оба молчали. Клаус явно скрывал что-то важное.

— Я слышал по телевидению,—произнес наконец Рихард,—что в Дюссельдорфе вчера или позавчера была совершена попытка захватить армейский склад бундесвера. Ты что-нибудь знаешь об этом?

Неожиданно Клаус вскочил и, сжав кулаки, громко произнес, скорее выкрикнул:

— Знаю! Знаю, черт побери! Наши ребята пытались захватить этот проклятый склад!

— Но зачем?!

— Зачем? Ты что, маленький, что ли? Зачем захватывают военный склад? Чтобы достать оружие! Оно нам понадобится в ближайшее время...

Клаус вытер рукавом пиджака пот, выступивший на лице, снова сел на кушетку и, оперщись локтями о колени, сжал ладонями виски.

— Все шло отлично,— каким-то несвойственным ему отрешенным голосом, точно оставшись наедине с самим собой, произнес Клаус.— Почти две недели наши люди наблюдали за этим проклятым складом. Он располагался на отлете, километрах в двух от казарм. Казалось, рассчитали все—и расположение постов, и интервалы между сменами караула... Не знаю, предал нас кто-либо или часовых оказалось больше, чем обычно... Словом, мы едва сумели оттащить наших раненых к «пикапу», стоявшему в лесу.

— Ты лично принимал участие в операции?—спросил Рихард.

— А ты что же, думаешь, что я пью пиво, когда наши ребята рискуют собой?

---

Окончание. Начало см. «Октябрь» № 5 с. г.



Клаус резко поднял голову и посмотрел в упор на все еще стоящего перед ним Рихарда.

— Почему меня с собой не взял?

— Звонил несколько раз, но ты где-то болтался.

«Если бы он знал, где и, главное, с кем я «болтался»,— с тревогой, даже со страхом подумал Рихард.

— Гулял по городу,—поспешно ответил он.—Между прочим, заходил в пивную «Бюргербройкеллер». Там встретил Курта.

Рихард не случайно упомянул о Курте, тот всегда может подтвердить, что они вместе сидели в пивной.

Рихард опустился на кушетку рядом с Клаусом и положил руку ему на колено.

— Каковы наши дальнейшие планы?

— Есть один,—ответил Клаус.—Вот послушай. Тебе имя «Борх» что-нибудь говорит?

— Борх?—переспросил Рихард и подумал: «Звучит знакомо. Но где, кем и когда оно называлось?»

И вдруг вспомнил. Ну, конечно, это имя вчера по телевидению называл диктор!

— Что-то в связи с каким-то судом?—неуверенно спросил он Клауса.

— Вот именно!—подтвердил Клаус.—А теперь слушай внимательно. Этот Борх обвиняется в изнасиловании и убийстве некой Ирмы Хаузен. Несовершеннолетней. Готовится так называемое предварительное слушание этого дела. Там будет решено, виновен ли он и подлежит ли суду.

— Ну, а какое нам до этого дело?—нетерпеливо перебивая Клауса, спросил Рихард.

— Слушай, когда старшие говорят,—назидательно произнес Клаус.—Этот Борх не так давно был членом молодежной террористической организации. Потом отошел от нее. Для многих немцев все эти «красные бригады» и прочие связаны с коммунистами, хотя те от них всячески открещиваются...

Рихард все еще смотрел на Клауса недоумевающе.

— Не понимаешь?—щуря в усмешке свои злые глаза, спросил Клаус.—А ведь и ребенку должно быть ясно. Мы врываемся в зал с оружием в руках. Укладываем на пол двух-трех полицейских охранников, публику, судей, самого Борха и делаем вид, что хотим его утащить. Потом отступаем и скрываемся.

— А Борх?—с еще большим недоумением спросил Рихард.

— Борх остается на своем месте.

— Так в чем же смысл операции?

— А в том, что, отступая, мы разбрасываем листовки. С лозунгами. Ну, например: «Долой буржуазное правосудие!», «Свободу нашему товарищу!» или: «Борх, Москва с тобой!».

— И в результате?..—все еще с сомнением начал было Рихард.

— А в результате,—не дав ему договорить, продолжал Клаус,—на другой день все крупнейшие немецкие газеты будут сладострастно описывать, как группа вооруженных коммунистов пыталась захватить и спасти от суда своего товарища—насильника и убийцу. Это произведет впечатление на избирателей почище, чем любой наш митинг. Понял?

Да, теперь Рихард понял. Понял он и другое: зачем Клаусу и его товарищам потребовалось оружие, которое они пытались захватить в Дюссельдорфе. Само слово «оружие» вызывало в Рихарде тревожно-радостную дрожь. Разве он приехал в Германию не затем, чтобы с оружием в руках бороться за торжество национал-социализма? Наверное, и Клаус, и высшие руководители НДП поняли наконец, что одной парламентской болтовней власть не завоевывают.

— Откуда же мы возьмем оружие?—спросил Рихард.

— Одолжим у американцев,—с усмешкой ответил Клаус.

— Ты шутишь?

— Не в том я сейчас настроении, чтобы шутить,—угрюмо ответил Клаус. И, помолчав немного, добавил:—Сейчас пойду домой, посплю немного.

— Так поспи у меня! И кровать и кушетка к твоим услугам! — воскликнул Рихард. — Ведь еще и часа не прошло, как ты появился здесь.

Рихард хотел понять, зачем пришел Клаус, ведь, кроме сообщения о неудаче в Дюссельдорфе и самого общего разговора о предстоящей акции с этим Борхом, у него никакой цели не было.

Клаус, как видно, проник в его мысли. Он сказал:

— Хочешь спросить, зачем я приехал к тебе, раз уже был дома? Сейчас объясню. Я звонил тебе не от себя, а из вокзального автомата. Домой сразу не поехал, боялся полицейского хвоста. Возможно, что BFS [1] пасла меня от самого Дюссельдорфа. Поэтому я решил попетлять, а потом уже поехать к себе. Теперь я убедился, что хвоста нет, поэтому исчезаю. Если все пойдет так, как я рассчитываю, то завтра утром позвоню. Во всяком случае, предупреждаю: завтра в восемь вечера собрание нашей группы. Разработаем подробный план предстоящей акции.

Но Клаус позвонил раньше, — в этот же день, около семи вечера. Он предупредил Рихарда, что завтра в девять утра заедет за ним и что предстоит дальняя поездка.

Рихард посмотрел на часы. У него оказывался свободный вечер. «Что мне делать? — подумал он. — Включить телевизор?..»

Он нажал черную кнопку. Через несколько секунд экран осветился. Потом возникло изображение. Какая-то пожилая женщина рассказывала о воспитании подростков. Это было скучно. Рихард покрутил ручку переключателя программ, но скоро убедился, что ни по одной из них не передают ничего интересного. Он выключил телевизор и перевел взгляд на телефонный аппарат. Некоторое время он смотрел на телефон безотрывно, — аппарат точно гипнотизировал его. Но уже очень скоро Рихард понял, что, глядя на телефон, подсознательно думает о Герде.

С того момента, когда они расстались после прогулки по городу, Рихард ей не звонил. Хотел, очень хотел позвонить, но побоялся показаться навязчивым.

«Так как же, позвонить ей или подождать?» — мучительно размышлял он, глядя на телефон. Аппарат в эти минуты казался ему одушевленным существом, которое шептало ему в уши слова: «Позвони! Позвони... ведь, может быть, она ждет твоего звонка, удивляется твоему молчанию... Позвони!»

И, подчиняясь этому беззвучному зову, Рихард схватил телефонную трубку и набрал номер Герды.

Три долгих гудка прозвучали как бы издалека, из бездонного воздушного пространства. И вдруг в трубке раздался женский голос:

— Слушаю!

— Герда, здравствуй. Это я, — Рихард старался говорить как можно спокойнее.

— Кто это?

— Ах, боже мой, это Рихард! — уже не сдерживаясь, воскликнул Рихард.

— А-а, это ты, — произнесла Герда, и Рихарду показалось, что в ее словах прозвучала радость. Он прижал телефонную трубку к уху так сильно, точно это была рука самой Герды.

— Что ты сейчас делаешь? — спросил Рихард с единственным намерением любым способом продлить разговор.

— Сейчас? — переспросила Герда. — Разговариваю с тобой по телефону.

— Ах, Герда, перестань шутить! Я так рад, что слышу твой голос!

— И я рада, что ты позвонил.

Эти слова прозвучали для Рихарда как награда за все его переживания, хотя Герда произнесла их спокойно, без всякой аффектации. Однако он не нашел ничего лучшего, как спросить:

— Ты в самом деле рада?

[1] «Ведомство по охране конституции» и политическая полиция. Контрразведка ФРГ.



— Ну, конечно! А почему бы и нет?

— Тогда... может быть, встретимся? — Рихард произнес эти слова со страхом, предвидя отказ.

— Когда? Сегодня? — спросила Герда, и в голосе ее Рихард почувствовал заинтересованность.

— Конечно. Хоть сейчас! Скажи, что ты выезжаешь, и я побегу тебя встречать.

— Нет, Рихард, сегодня это невозможно.

— Но почему?

— Во-первых, потому что уже поздно. А во-вторых, я занята.

— Чем? Ты не одна?

— Одна, наедине с работой. Правлю гранки своей статьи для женского журнала. О недавнем показе мод.

— Плюнь на моды! Доправишь статью завтра.

— Но завтра я должна ее сдать!

Рихард умолк. И тогда Герда, точно для того, чтобы снять у него всякое ощущение обиды, сказала после короткой паузы:

— Ведь это моя работа, Рихард, пойми! Я за нее получаю деньги.

Рихард чуть было не сказал, что он может дать ей денег в два раза больше, чем гонорар за эту дурацкую статью, но вовремя сдержался.

— Я понимаю... — с грустью произнес Рихард. И спросил: — Но когда же мы увидимся?

— Позвони завтра в это же время.

С губ Рихарда чуть не сорвались слова: «Да, хорошо, спасибо, я обязательно позвоню!» Но он тут же вспомнил, что на завтра Клаус планирует какую-то дальнюю поездку, а потом собрание группы...

— Завтра, Герда, я никак не смогу, — вздохнул Рихард и со страхом подумал, что если Герда спросит «почему?», то у него не будет сколько-нибудь убедительного, подготовленного ответа.

На его счастье, она просто сказала:

— Тогда позвони как-нибудь на неделе.

— Да, да, обязательно! — воскликнул Рихард, обрадованный тем, что Герда ни о чем его не спросила. В другое время он увидел бы в этом безразличие и оно обидело бы его... — Я все время думаю о тебе, Герда! Недаром мы познакомились в небесах.

Она коротко рассмеялась.

— Не смейся, — прервал ее Рихард, — я говорю правду. Думаю о тебе. Все время.

— А устраиваться на работу не собираешься? — уже серьезно спросила Герда.

— До осени как-нибудь дотяну. Ну, а там университет. Я ведь тебе говорил.

— Хорошо иметь богатого отца в Аргентине! — с добродушной иронией произнесла Герда. И, не давая возможности Рихарду ответить, добавила: — Значит, до скорого. Ты позвонишь? Буду ждать.

Рихард услышал частые, короткие гудки. Герда положила трубку. Рихард посмотрел на часы. Половина восьмого. Он снова включил телевизор. И уже спустя минуту-другую понял, что показывают кинофильм «Девушка моей мечты» с Марикой Рёкк в главной роли. Старый фильм! Рихард видел его там, в Аргентине. Отец рассказывал, что эту кинокартину очень любил фюрер и не раз смотрел ее. И в сознании Рихарда эта далекая от политики веселая, со шлягерными мелодиями комедия как-то вплелась в образ фюрера, каким он себе его представлял, таким, каким тот вставал из рассказов отца. И хотя Рихард тоже видел «Девушку» не раз и в кино, и по телевидению, он, предвкушая удовольствие, поудобнее устроился в кресле перед телевизором и досмотрел картину до конца. Потом прослушал «Последние известия», а когда кончились и они, часы уже показывали без десяти минут одиннадцать.

«Спать! — сказал себе Рихард. — Завтра надо рано вставать. Успеть сделать зарядку, принять душ, побриться, позавтракать и к девяти быть готовым».

Ровно в девять утра в дверь постучали. Клаус никогда не давал повода заподозрить его в неточности. Рихард был уже готов.

— Херайн! [1] — поспешно крикнул он.

Клаус вошел. Он, видимо, успел хорошо отдохнуть, по крайней мере лицо его не выглядело столь измученным и землистым, как вчера, и чистая узкая полоска пластыря на его щеке уже не вызывала сомнений в том, что рана или просто царапина была незначительной.

— Доброе утро! — сказал Клаус, протягивая Рихарду руку. — Ты готов?

— Яволь, майн генерал! — по-военному ответил Рихард. — Куда и к кому мы едем?

— Скажу, когда выйдем. Хотя не думаю, что тобой кто-либо заинтересовался настолько, чтобы устанавливать подслушивающие аппараты.

Они спустились вниз. После того, как Рихард положил свой ключ на стойку портье, Клаус остановился в двух-трех шагах от двери, ведущей на улицу.

— Так вот, — обращаясь к Рихарду, вполголоса сказал он. — Надеюсь, ты слышал об американской организации, которая называется Ку-Клукс-Клан?

— И... что же? — удивленный неожиданным вопросом, спросил Рихард. Конечно, он знал о «Клане», люди в белых балахонах и остроконечных капюшонах с разрезами для глаз не раз встречались ему и на страницах газет, и на экранах телевизоров. — Это те, которые линчуют негров?

— Плевать нам на негров! Впрочем, у нас тоже есть секция «Клана», которая занимается турками, итальяшками и прочим сбродом, сидящим на шее немцев и лишающим их работы. Но сейчас разговор не об этом. Для нас важнее, что «Клан» входит в американскую Антикоммунистическую лигу и связан с такими же организациями в других странах. Понял?

— Понял и рад это слышать. Но к кому же мы едем?

— К Джону Райту, сержанту американских военно-воздушных сил. Но он не просто сержант, а европейский организатор и комендант Ку-Клукс-Клана в Германии. Пока все. А теперь едем!

Клаус решительно открыл дверь и вышел на улицу.

Рихард последовал за ним. Он ожидал увидеть машину Клауса. Но ни у подъезда, ни поблизости не было припарковано ни одного автомобиля.

— Мы пойдем пешком? — удивленно спросил Рихард.

— Не паникуй. Машина здесь, за углом.

Они прошли несколько десятков метров и завернули за угол в переулок. Но и там машины Клауса Рихард не увидел. Только одинокий «пикап» стоял, прижавшись к кромке тротуара.

— Ну, а где же твоя машина?

— А это, по-твоему, что? — указал на «пикап» Клаус. — Тяжелый бомбардировщик?

Он подошел к машине, достал из кармана связку ключей и открыл дверь.

— Полезай!

...Минут через тридцать они выехали за город.

— Ну теперь-то ты можешь мне сказать, куда и зачем мы едем? — уже не без раздражения в голосе спросил Рихард.

— Теперь могу, — не поворачивая головы, ответил Клаус. — Мы едем на американскую военно-воздушную базу. Там находится аэродром, с которого взлетают и на который садятся самолеты с атомными бомбами на борту. Тебя это устраивает?

Рихард удивленно пожал плечами:

— Но кто ж туда нас пустит?

— Пустят машину, а мы, так сказать, при ней и проверке не подлежим. Кстати, руководит полетами тот самый сержант Джон Райт, о котором я тебе говорил. Впрочем, не волнуйся: от того места, где мы встретим Райта, до аэродрома еще не меньше десяти километров. Так что в шпионаже нас не заподозрят.

[1] Войдите (*нем.*)



— И этот Райт даст нам оружие?

— Конечно, даст, — с самодовольной улыбкой ответил Клаус. — Ему ведь тоже надо докладывать своему белобалахонному начальству о конкретной помощи, оказанной НДП.

— Еще вопрос: почему ты взял с собой именно меня?

— Если говорить откровенно, то, во-первых, потому, что ты еще не успел примелькаться в Германии. За тобой нет слежки ни со стороны нашей контрразведки, ни коммунистов. Это первое. А второе — ты хорошо знаешь английский.

Они довольно долго ехали по загородному шоссе, время от времени сворачивая на его ответвления в соответствии с указателями, за которыми внимательно следил Клаус и которые ничего не говорили Рихарду. Иногда мимо них проносились машины, чаще всего «джипы», заполненные людьми в американской военной форме, а в небе стоял почти непрерывный гул от пролетающих самолетов. Наконец справа от шоссе появился какой-то населенный пункт, то ли деревня, то ли дачный поселок. Покрытые шифером крыши чередовались с коттеджами типа «бунгало», длинными и одноэтажными. У некоторых из них стояли «джипы». Сквозь просвет между строениями виднелась небольшая речка, а вдали — шлагбаум и будка для часового.

— Ну, — усмехнувшись, качнул головой в сторону шлагбаума Клаус, — туда мы не поедем. Пока обойдемся без тяжелых бомбардировщиков. А вот в этих коттеджах живет персонал, обслуживающий аэродром. Наш Джонни, очевидно, самый младший здесь по чину, но как представитель «Клана» пользуется большим влиянием.

Клаус был прав. Когда он затормозил машину возле одного из коттеджей, Рихард заметил, что дом отличается от многих остальных своей окраской, двумя антеннами на плоской крыше, радио- и телевизионной, телефонным проводом, уходящим из стены коттеджа куда-то вдаль, по направлению к шлагбауму.

Клаус подошел к двери и нажал кнопку звонка. Рихард встал за его спиной. Дверь быстро открылась. На пороге стоял американский солдат.

— Мы к мистеру Райту, — сказал по-английски Клаус. — Он нас ждет.

— Иес, сэр! — четко ответил солдат.

В этот момент за его спиной появился рослый военный с черными усиками. Стрижка его и прическа отдаленно напоминали те, что отличали Гитлера.

— Здравствуйте, мальчики! — приветливо сказал этот человек, делая шаг вперед и протягивая руку Клаусу.

Тот пожал ее и, указывая на Рихарда, сказал:

— А это Рихард Альбиг, о котором я упоминал.

— Рад познакомиться, сэр. — Райт, протянув Рихарду руку, спросил по-немецки: — Герр Альбиг не говорит по-английски?

— Говорю, — ответил Рихард. — Рад с вами познакомиться.

— Прошу, проходите, — сказал Райт и шире распахнул дверь, из которой только что вышел.

Они оказались в просторной комнате с деревянными, но словно отлакированными стенами, в углу комнаты стоял большой американский флаг со звездами и полосами, между двумя окнами, выходящими на речку, располагались круглый стол и возле него три деревянных кресла с ручками, на маленьком столике у противоположной стены поблескивали бутылки и высокие стаканы...

Внимание Рихарда привлекли фотографии по обе стороны флага, пришпиленные к стене. На фотографиях были люди в белых балахонах и треугольных капюшонах.

— Хотите посмотреть? — спросил Райт, заметив взгляд Рихарда. — Что ж, не стесняйтесь, подойдите ближе. А ты, Клаус, присаживайся, все это ты видел уже не раз.

Воспользовавшись приглашением, Рихард подошел почти вплотную к стене. На одних фотографиях были изображены люди в балахонах

и с вышитыми на них крестами — совсем как орден Железного креста,— идущие под развевающимся американским флагом, на других — большие, в человеческий рост, пылающие кресты, их окружали опять-таки «балахононосцы». Балахоны были недлинными, чуть ниже колен, из-под них выглядывали обычные, штатского покроя, брюки...

Одна из фотографий особенно заинтересовала Рихарда. На ней были запечатлены эсэсовец в полной форме и «клановец» в балахоне. Их правые руки были вытянуты в нацистском приветствии. На переднем плане стоял столик, покрытый белой скатеркой, на нем — черная маленькая подушка, с которой жутковато глядел пустыми глазницами человеческий череп. На заднем плане висел какой-то плакат с рисунком и надписью.

Рисунок изображал рыцаря на покрытом попоной коне. Рыцарь, конечно же, был в балахоне, в поднятой руке он держал горящий факел. А надпись гласила: «Присоединяйтесь к Ку-Клукс-Клану и сражайтесь за чистоту расы и нации!»

— Ну, хватит тебе разглядывать, иди, садись с нами,— раздался голос Клауса.

Рихард поспешно обернулся. Райт и Клаус уже сидели за круглым столом с бутылками и стаканами.

— Виски? Джин? — спросил Райт.

— Немного виски,— ответил Рихард.

— С содовой? Если да, то я сейчас принесу.

— Нет, спасибо. Чистое.

Райт плеснул в один из стаканов виски и придвинул его ближе к Рихарду. Потом поставил другой стакан Клаусу и протянул к нему бутылку. Но Клаус прикрыл стакан ладонью:

— Нет, спасибо. Я ведь за рулем. А к тому же в машине будет особый груз. Ведь будет, Джонни, да?

— Раз я сказал, значит, будет. Ты просил три карандаша и семь молотков. Верно?

— Так точно, Джонни.

— Машина у тебя закрыта?

— Да, вот ключи.— Клаус вытащил из кармана связку, протянул ее Райту.

Райт взял ключи.

— Одну минуту... — Вышел из-за стола и скрылся за дверью.

— Ну, как? — спросил Клаус. — Нравится тебе тут?

— Да,— ответил Рихард,— только немного удивляет. Эти фотографии, плакаты развешаны вот так, совершенно в открытую... Как этот Райт не боится?

— А чего ему бояться? — с усмешкой пожал плечами Клаус.— «Клан» в Штатах не запрещен.

— Да, но ты назвал этого Райта чуть ли не европейским организатором «Клана» и комендантом по Германии. А я всегда думал, что Ку-Клукс-Клан специфически американская организация и действует только в Штатах.

— А ты не думай. Я ведь тебе говорил, что в Америке существует Антикоммунистическая лига. «Клан» в нее входит. У них отделения, явные и тайные, и в ряде других стран. Например, в Италии, во Франции и во многих других.

— И что ж, Райт всеми ими руководит?

— Ну, это ты хватил через край! В Германии, например, Райт подчинен человеку, с которым ты как будто знаком.

— Да? — удивился Рихард. — И как же его зовут?

— Арчибальд Гамилтон,— Клаус слегка понизил голос.

Рихард от изумления широко раскрыл глаза. Потом, все еще не веря, переспросил:

— Гамильтон?! Но он же представляет здесь «Америкэн Джорнэл»?! У него так и на табличке написано!

— Ха-ха! — коротко рассмеялся Клаус. — И тебе никогда не приходило в голову, что твой Гамильтон...



Клаус не закончил фразу, потому что в этот момент дверь открылась и в комнату вернулся Райт.

Он сел за стол, выпил оставшееся на дне его стакана виски, скрестил на груди руки и посмотрел на Рихарда.

— Ну, что ж, я ведь так и не успел еще поздравить тебя с возвращением в Германию. Видишь, я употребляю не слово «приезд», а именно «возвращение». Клаус сказал мне, что на тебя можно положиться, как на него самого, и это было приятно слышать. Со своей стороны хочу тебя заверить, что на меня можно положиться, как на самого Клауса.

Наступило молчание, нарушаемое лишь гулом самолетов, которые время от времени проносились, казалось, над самой крышей коттеджа. Первым нарушил его Райт. Обращаясь к Рихарду, он сказал:

— Клаус говорил мне, что твой отец был генералом третьего рейха.

— Да,— ответил Рихард.— Генералом службы безопасности.

— Твоя семья — в Аргентине. А ты приехал сюда. Зачем?

«Что он меня, допрашивает, что ли?» — с внезапным чувством неприязни подумал Рихард и, глядя прямо в глаза Райту, ответил:

— Чтобы сражаться за мою родину.

— Что ж, звучит красиво,— слегка наклоняя голову, сказал Райт.— Но вот у меня с Клаусом есть некоторые разногласия относительно способов борьбы. Ваша НДП напоминает мне армию, стоящую в тылу. Митинги, плакаты в городах, свастика на еврейских могилах... Ваш фюрер, кажется, начинал куда более активно. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что у вас нет лозунга, который объединил бы всех немцев. Мы уже не раз спорили на эту тему с Клаусом.

— Что вы имеете в виду, какой лозунг? — спросил Рихард, отношение которого к Райту теперь менялось к лучшему с каждым его новым словом.

— Ну, например, борьба за чистоту немецкой расы. Если этот лозунг смог объединить немцев вокруг Гитлера, то теперь, если бы его громко, на весь мир, провозгласила НДП, она обеспечила бы себе успех на выборах. Что же касается «Клана», ему не слишком удобно открыто вмешиваться в немецкие дела. Тем более в самой Германии, где мы всего лишь часть американской армии. Когда в одном американском гарнизоне в Баварии наши ребята сожгли кладбищенский крест просто для того, чтобы напомнить о своем существовании, ваши коммунисты и социал-демократы потребовали выяснения, на каком основании была уничтожена «правительственная собственность», а тех, кто зажег крест, привлекли к ответственности. Как вы думаете, за что? «За появление в нетрезвом виде и нарушение ночного спокойствия». Вот так! Словом, мы предпочитаем помогать НДП негласно.

— Ну, так как насчет карандашей и молотков? — спросил, вмешиваясь в разговор, Клаус.

— Они уже в машине,— ответил Райт,— извини, забыл вернуть ключи.— Он вытащил из кармана связку ключей и бросил ее на стол перед Клаусом.

— Тогда мы поедем! — сказал, вставая, Клаус.— Вечером нам предстоит небольшое собрание.— Он протянул руку Райту и проникновенно произнес: — Спасибо тебе, друг.

— Не за что! — ответно пожимая руку Клаусу, сказал Райт и добавил: — Мы боремся за одно дело.

Когда Рихард следом за Клаусом влез в машину, он увидел в проходе между сиденьями длинный ящик. Ему показалось, что ящик похож на гроб.

— Посмотрим, что там такое? — предложил Рихард.

— Ты не в еврейской лавочке! — резко оборвал его Клаус.— Там то, что мы просили.

— Карандаши и молотки? — иронически спросил Рихард.

— Вот именно,— без тени усмешки ответил Клаус.

Затарахтел мотор.

...К дому Клауса они подъехали около шести вечера. Въехали во двор, откуда в квартиру вел так называемый «черный ход».

Втащили наверх ящик, предварительно убедившись, что во дворе никого нет. Затем Клаус пошарил на кухне, нашел широкую стамеску и стал открывать крышку ящика. Это было совсем нетрудно: она была приколочена лишь несколькими гвоздями.

Минуты через две-три Клаус поднял крышку, и Рихард увидел оружие. В ящике было три автомата «Узи» израильского производства и семь небольших немецких пистолетов «вальтер». Все это было завернуто в отдельности в промасленную бумагу... Клаус долго прятал оружие.

Время уже приближалось к семи вечера.

— Мы забыли с тобой об одном,—сказал, посмотрев на часы, Клаус.— Поесть. С раннего утра у нас, кроме пары глотков виски, ничего во рту не было.

— Ты голоден?—спросил Рихард.

— Это роли не играет. Человеку положено есть хотя бы два раза в день. В десятке шагов от моего дома есть пивная. С горячей едой, разумеется. Я предлагаю спуститься вниз и...

Они сытно поели, выпили по кружке пива и съели по порции «шлагплатте». Около восьми уже вернулись домой к Клаусу. А в восемь из прихожей стали доноситься условные звонки.

К четверти девятого вся группа была в сборе, те же самые ребята, которые собирались здесь несколько дней назад, накануне митинга. Особенно сердечно, как со своим старым знакомым, Рихард поздоровался с Куртом.

Как и в прошлый раз, Клаус принес из холодильника пиво, расставил кружки и сказал с сожалением:

— Простите, друзья, шнапса на этот раз нет. Правда, кое-что другое будет, бодрящее, но это—в конце нашего разговора.

Затем Клаус подробно изложил план предстоящей «акции».

— Дело проще простого,—сказал он.—Наверное, вы все читали в газетах, что на днях произойдет предварительное судебное заседание по делу Фридриха Борха. На всякий случай напомню, что он обвиняется в изнасиловании и убийстве десятилетней девчонки, которую встретил в лесу, когда та собирала грибы. На беду Борха в лесу оказались свидетели — неподалеку, по проселочной дороге, двое крестьян, муж и жена, возвращались в свою деревню. Они видели, как убегал Борх, нашли труп девчонки и заявили об этом местному полицейскому... Словом, Борха нашли, свидетели опознали его, на предварительном следствии выяснилось, что в прошлом этот Борх принадлежал к молодежной террористической организации, ему, видимо, будет крышка. Но пока что предстоят судебные формальности. Первая—в понедельник. Сегодня у нас пятница, значит, через два дня. Наша задача — нагрянуть в зал суда, погрозить оружием, разбросать листовки и отойти.

— А Борх?—спросил кто-то из сидящих за столом.

— Черт с ним, с Борхом!—ответил Клаус.—Из листовок будет очевидно, что мы из «красных», хотели спасти Борха, но, скажем так, нам это не удалось.

— И это все?—раздался чей-то голос.

— Все, если не считать, что газеты поднимут крик, что коммунисты хотели спасти убийцу и насильника, своего товарища. Как вы думаете, прибавит это популярности им, а заодно и нашим «либералам» на предстоящих выборах? Вся соль в том, чтобы ни один из наших при отходе не попался в руки полиции.

— А откуда мы возьмем оружие?—Этот вопрос задал Вольф, тот самый, который на прошлом собрании ехидно спросил Рихарда, вернется ли он в Аргентину, чтобы танцевать танго.

— За этим задержки не будет,—ответил Клаус.—В воскресенье мы снова соберемся здесь и я вручу вам оружие. Те, кто умеет обращаться с автоматами, получат «Узи», остальные обойдутся «вальтерами». А теперь—к делу.

Клаус вышел в соседнюю комнату и вернулся с большим блокнотом и карандашом в руке. Он раскрыл блокнот, положил его перед собой.



— Сейчас я начерчу план зала суда. Мне уже удалось его изучить. Так вот...

В течение нескольких минут Клаус рисовал. Очертив квадрат зала, он стал помечать места секретаря суда, судьи, стенографистки, прокурора, адвоката, место обвиняемого... Затем ровными полосами прочертил скамьи зрителей, кружочками — вход и выходы из зала, окна, посты полицейских охранников... «Галками» пометил места, которые следует занять участникам «акции».

Закончив чертеж, Клаус подвинул блокнот на середину стола.

— Посмотрите внимательно. Все вам ясно?—Коротко остриженные головы почти сомкнулись над чертежом.—Еще одна деталь,—сказал Клаус,— прошу всех иметь маски, для этого подойдут чулки. Как только раздастся моя команда, все наденут маски. Я не хочу, чтобы какое-нибудь из наших лиц запомнилось бы хоть одному из присутствующих.

...Они сидели еще долго, разглядывали план, забыв о недопитом пиве. Посыпались вопросы: кто именно и на каком месте должен находиться? Через какие двери или окна следует начинать отход? Что делать, если охранники начнут стрельбу и кого-нибудь ранят?

— Этого не должно быть,—твердо и решительно произнес Клаус.— Наша ставка—на внезапность и панику. Мы пользуемся ею и скрываемся. Еще раз показываю, где кто сидит и каким способом выбегаем из зала. Бежать по улицам по одному. Через какие-нибудь пять — семь минут вы будете уже далеко. Потом соберемся у меня. Прошу вас в оставшиеся дни осмотреть здание суда и наметить наиболее удобные пути для отхода. Ко дню акции все прилегающие к зданию улицы, дворы и подвалы должны быть вами хорошо изучены. Ясно? Итак: маски-чулки у каждого из вас должны быть. Оружие и листовки будут розданы здесь, у меня, в воскресенье, в это же время.

Следующие дни Рихард провел в бездействии, если не считать поездок к зданию суда и осмотра прилегающих к нему улиц, проходных дворов—словом, возможных путей бегства после того, как «акция» будет завершена.

Несколько раз Рихард намеревался позвонить Герде, но, уже положив руку на телефонную трубку, так и не поднимал ее.

И все же он звонил ей. Но телефон Герды молчал...

Ему звонил Гамильтон. Но у Рихарда не было желания ни встречаться с ним, ни даже говорить по телефону. Поэтому всякий раз, едва заслышав голос американца, Рихард произносил только одно слово: «Ошибка» — и клал трубку.

Он побывал в университете и выяснил все свои возможности поступить туда с начала нового учебного года. Оказалось, что это будет совсем несложно: просто за две-три недели он должен подать заявление и приложить имеющуюся у него справку об окончании двух курсов университета в Буэнос-Айресе.

И еще одна мысль нередко посещала Рихарда: намерение приобрести небольшую, но собственную квартирку и купить дешевую, пусть подержанную автомашину. Он еще не советовался на этот счет с Клаусом, но, ежедневно читая газеты, внимательно просматривал объявления о сдаче в наем или продаже квартир. Так прошла еще одна неделя пребывания Рихарда в Германии...

## *Суд*

Заседание суда первой инстанции было назначено на понедельник в двенадцать часов дня.

В воскресенье вечером собрались на квартире у Клауса, где хозяин дома раздал участникам акции оружие. Те, кто носил длинные куртки-анараки и мог спрятать оружие под полой, получили автоматы «Узи», остальным, в том числе и Рихарду, достались пистолеты «вальтер».

Каждый продемонстрировал перед Клаусом умение обращаться с оружием. Затем Клаус вынес из соседней комнаты пачку листовок, и Рихард

сразу сообразил, что и те листовки, которые разбрасывались на недавнем митинге, где прогнали с трибуны фон Таддена, были заготовлены и розданы все тем же Клаусом, у которого, по-видимому, была тесная связь с какой-то типографией.

У здания суда Рихард появился часа за полтора до начала, чтобы еще раз запечатлеть в памяти все переулки и проходные дворы, которые можно будет использовать для отхода. Войдя в здание, он увидел на втором этаже закрытую дверь и на ней объявление: «12.00. Дело Борха. Предварительное слушание». «Еще не менее часа должно пройти, прежде чем эта дверь откроется...» — подумал Рихард и снова вышел на улицу. Он нащупал небольшой пистолет, засунутый под ремень в брюки, и его охватило чувство решимости и уверенности.

Но вдруг Рихард ощутил страх. А что если его случайно встретит здесь Герда? Как объяснить ей, что он делает тут, возле здания суда? Это предположение было нелепым: Герда обычно разъезжает в машине и, конечно же, из окна своей «букашки» никогда не обратит внимание на бродящего в толпе пешеходов Рихарда. Но завтра он обязательно позвонит Герде...

В странной ситуации он оказался! От Герды Рихард держал в секрете свою связь с НДП. Она понятия не имеет, что он участвовал в митинге, слушал фон Таддена, теперь же готовится к акции, цель которой возбудить ненависть к коммунистам. А от Клауса у Рихарда была тайна прямо, так сказать, противоположного характера: ведь вопреки его строгому приказу он поддерживал связь с Гердой, один раз провел с ней почти день, разговаривал по телефону...

Эта раздвоенность мешала Рихарду жить. «Верность — наш девиз!» — говорили в старой нацистской партии. И он, Рихард, с радостью принял бы участие в любой операции партии, даже с опасностью для собственной жизни, однако никогда не изменил бы этому девизу. Но, обманывая Клауса, разве он не обманывал партию?

Стал накрапывать дождь. Рихард пожалел, что не захватил плащ, однако идти за ним теперь, когда стрелки на его часах показывали уже десять минут двенадцатого, было рискованно.

Рихард перешел на другую сторону улицы, зашел в какой-то подъезд и оттуда стал наблюдать за зданием суда.

Никто из группы пока не появился. Рихард продолжал ждать, ему не хотелось входить в зал суда первым, хотя свое место — на скамье, перед загородкой, за которой должны находиться обвиняемый и охранник, — он хорошо знал. Рихард нащупал в кармане пиджака нейлоновый чулок-маску, а потом еще раз дотронулся до пистолета.

И в этот момент увидел, как на противоположной стороне ко входу судебного здания подходит Клаус. Он был в плаще, левая рука его была прижата к бедру, значит, он решил взять с собой автомат, оружие куда более надежное, чем пистолет.

Еще несколько незнакомых Рихарду людей вошли в подъезд суда. Часы Рихарда показывали 11.40. Он быстро, лавируя между машинами, перешел, вернее, перебежал на другую сторону и лицом к лицу столкнулся с входящим в подъезд Куртом.

Оба сделали вид, что не знают друг друга. И все же по движению губ Курта Рихард понял, что тот шепотом произнес слово «хайль!». Рихард в ответ приподнял правую руку.

Дверь в зал суда была уже открыта, около нее стоял полицейский, однако вход был свободным, и Рихард вошел в зал.

Первым делом он огляделся, чуть задержавшись у входа. Все было именно таким, как он себе представлял, судя по описанию Клауса.

Перед Рихардом тянулось несколько рядов соединенных друг с другом деревянных стульев, это были места для зрителей, и некоторые из них были уже заняты. Между рядами было достаточно широкое пространство. Впереди виднелся пока еще пустой длинный судейский стол, за ним дверь в стене, а перед ним другой стол, маленький. Слева от них стояли еще два небольших стола, очевидно, для обвинителя и адвоката.

Рихард занял крайнее правое место в первом ряду и оказался всего в двух-трех шагах от огороженного круглыми деревянными перилами пространства. Там одиноко стоял стол, а позади него, в стене, виднелась плотно прикрытая дверь: очевидно, за ней сейчас находился обвиняемый.



Клауса Рихард увидел тотчас же, как вошел в зал: он занимал крайнее левое место в первом ряду, у слегка приоткрытого большого окна. Другие члены группы — Курт, Герман, Вольф, Макс и Герберт — сидели на предназначенных им местах, в последнем ряду у входа. Словом, при желании все входы и выходы из зала, включая окна, по первому же сигналу могли быть заблокированы.

Прошло еще несколько минут, дверь за столом судьи раскрылась. Из двери появились двое мужчин, они заняли места обвинителя и защитника, девушка-стенографистка уселась за маленьким столиком, стоявшим перед судейским столом...

И наконец, появился сам судья с папкой в руке. Все на мгновение встали.

— Введите подследственного! — громко объявил судья, усаживаясь за своим столом.

Дверь, ведущая в огороженное пространство, открылась. Оттуда вышел полицейский, а следом человек средних лет. На нем была помятая одежда, да и лицо его показалось Рихарду каким-то помятым. Полицейский указал этому человеку — он, конечно, и есть Борх! — на стул, а сам встал за его спиной.

Судья начал читать обвинительное заключение...

Но Рихард не вслушивался в его слова, а все время поглядывал в сторону Клауса, ожидая условного сигнала. Он прозвучал скоро. Не успел судья дочитать заключение, как Клаус вскочил и, оглушительно крикнув: «Всем оставаться на местах!» — выхватил из-под плаща свой автомат, стал водить стволом над головами сидящих в зале людей — зрителей и участников судебного заседания.

На Клаусе уже была маска. «Когда только он успел ее надеть?» — подумал Рихард, мгновенно вытаскивая из кармана свой чулок и натягивая его на голову, — операция, которую он много раз репетировал дома. Затем выхватил револьвер и, направляя его на полицейского, крикнул:

— Всем лечь, стреляю!

Ошалевший от страха и неожиданности полицейский грохнулся на пол. Теперь из разных концов зала неслись крики: «Лежать! Стреляем!», «Свободу Борху!», «Да здравствует ГКП!»

Все люди уже лежали в проходах между рядами. Прокурор и защитник сидели на корточках, вытянув вверх руки, судья исчез где-то за своим столом.

В этот момент с нескольких сторон зала взлетели листовки. Они медленно опускались, покрывая лежащих людей точно дырявым саваном.

Рихард, держа на мушке своего «вальтера» распластавшегося полицейского, вдруг увидел, как Борх, который только что лежал рядом со своим охранником, внезапно вскочил, одним резким движением перемахнул через перила и очутился почти рядом.

Мысль, что его нельзя отпускать, иначе весь смысл операции пойдет насмарку, едва не заставила Рихарда выстрелить в Борха в упор, но полученный от Клауса приказ: «Не стрелять!» оказался сильнее. Какие-то доли секунды Борх озирался, ища, очевидно, наиболее безопасный путь для бегства, но в этот момент Рихард изо всех сил ударил его рукояткой своего пистолета в висок. Тот упал. И тут же раздалась громкая команда Клауса: «Отходим!» Рихард бросился по заранее намеченному пути к ближайшему окну, вскочил на стоящий у окна стул, затем на подоконник, разбил стекло и, почти не чувствуя боли от порезов, спрыгнул вниз.

Окно располагалось на уровне второго этажа, но Рихарду повезло, он спрыгнул удачно: внизу, под окном, стоял большой металлический ящик, наполненный мусором. Рихард угодил прямо в него, а мусор, наполовину заполнивший бак, самортизировал прыжок. В эту минуту сверху послышались выстрелы, очевидно, полицейские, тот, который охранял Борха, и те двое, что стояли снаружи у запертых входных дверей в зал, пришли наконец в себя и открыли огонь.

Перебравшись через край бака, Рихард спрыгнул на землю и устремился к воротам, ведущим на улицу.

Только выскочив из двора и пробежав несколько метров, отпугивая

своим видом встречных прохожих, Рихард на ходу стянул с головы маску и помчался дальше, стремясь скорее достичь тихого переулка.

И вот теперь он несся, не разбирая пути, с единственной целью как можно скорее добежать до этого переулка, в котором — он знал это — есть два проходных двора. Рихард не замечал ни людей, ни едущих по улице машин, в том числе и большого черного «лимузина», который почему-то медленно ехал вдоль кромки тротуара, двигаясь примерно с той же скоростью, с которой бежал Рихард. Но он не замечал этого автомобиля. Призывным маяком был теперь уже видный Рихарду угол переулка, спасительного переулка, в который ему предстояло свернуть.

Наконец он достиг этого угла и свернул направо, не замечая, что черная машина не отстает и теперь снова движется вровень с ним, бегущим к воротам проходного двора.

До ворот оставалось метров пятьдесят, не больше, когда Рихард услышал командный голос:

— Садись в машину! Быстро!

Он обернулся и только теперь заметил движущуюся вровень с ним автомашину. Задняя дверца ее была приоткрыта, и виднелась придерживающая ее изнутри чья-то рука.

Почему Рихард соскочил с тротуара прямо к машине? Почему, отрывая дверцу от придерживающей ее руки, бросился в кабину и сел, точнее, упал прямо на мягкое сиденье? Понял ли он, что в этой машине его спасение? Или, измученный стремительным бегом, задыхающийся, мокрый от пота, просто подчинился инстинкту самосохранения и, не раздумывая, нырнул в так кстати оказавшуюся рядом машину?

Откинувшись на спинку сиденья и протерев залитые потом глаза, он увидел, что рядом сидит какой-то человек. Полиция! Он метнулся было к ручке теперь уже закрытой двери, чтобы выскочить из машины, но человек схватил его за плечо и с силой отбросил обратно на спинку сиденья.

— Ты что, и в самом деле сошел с ума?! Сиди! — властно прозвучал над ухом Рихарда голос.

Машина рванулась вперед, с каждой секундой увеличивая скорость. Рихард опустил голову на грудь, чувствуя, что попал в ловушку. И в этот момент снова ощутил на своем плече прикосновение руки. Только теперь оно было мягким, даже дружеским.

— Ты что, не узнаешь меня, Рихард?

Рихард повернул голову к своему соседу и вдруг...

— Гамильтон? — Рихард едва шевелил внезапно пересохшими губами и поспешно, еще не веря самому себе, повторил: — Мистер Гамильтон?!

— Ну, конечно, это я, Рихард, — ответил по-немецки Гамильтон, — неужели ты сразу не узнал меня?

— Но как я мог подумать, что это вы? — пробормотал Рихард. — Такие совпадения случаются раз в сто лет.

— А вот это совпадение произошло именно тогда, когда ему и следовало произойти.

— Но это же невероятно!

— Я увидел тебя не случайно, Рихард. Я ждал твоего появления на улице.

— Вы хотите сказать... — начал было Рихард, но Гамильтон прервал его:

— Да, именно это я и хочу сказать.

— И все-таки я не могу понять, герр Гамильтон, каким образом вы заметили меня. На тротуаре было столько народа...

— Но не все бежали так, точно за ними гнался сам дьявол, — усмехнулся Гамильтон.

Рихард не нашелся, что ответить. Пролепетал что-то насчет автобуса, который якобы догонял, но умолк на полуслове. Потом сказал:

— Как же вы оказались здесь?

— Ехал мимо, — коротко ответил Гамильтон.

— Слишком странное совпадение, чтобы поверить.

— А если я скажу, что ждал тебя, ты поверишь?

— Конечно, нет!



— Тогда остановимся на первом предположении. Оно, как видно, тебе понятнее.

И тогда невероятная на первый взгляд догадка пришла в голову Рихарда.

— Вы что... знали?

— Знал, не знал, какая теперь разница? Главное, что ты в безопасности. Итак, что же ты делал в здании суда?

Рихард на мгновение задумался, прежде чем ответить. Он уже понимал, что американцу, видимо, многое известно, но все еще пытался как-то выбраться из паутины, которой обволакивал его Гамильтон.

— Я... Я просто зашел в суд. Ну, ради любопытства, — неуверенно проговорил Рихард. — Я и в Аргентине часто заходил в суды послушать какое-нибудь уголовное дело. Это все равно, что читать детективный роман.

— Какой же роман тебе попался на этот раз?

— Так, чепуха. Изнасилование какой-то девчонки. Скука. Потом увидел, что времени — уже второй час, а в два мне должны были позвонить домой. Вот я и сорвался с места.

— И еще кто-нибудь сорвался со своих мест? — прищурившись, спросил Гамильтон.

«Знает. Ну, конечно же, он все знает! — подумал Рихард. — Играет со мной, как кошка с мышью».

Он не ответил на вопрос Гамильтона. Лишь постарался переменить тему разговора:

— Куда мы едем? — настороженно спросил Рихард.

— А куда бы ты хотел?

— Если можно, домой, в гостиницу, улица...

— Хорошо, — согласился Гамильтон. — Домой, так домой. Только не к тебе, а ко мне. Я думаю, что возвращаться к себе домой тебе в ближайшее время не вполне безопасно. Никто не может поручиться, что твое присутствие в суде, ну... и все последующее прошло никем не замеченным. А у людей из полиции хорошая зрительная память. Особенно на лица.

«Но я же был в маске!» — чуть было не воскликнул Рихард, но сдержался. Этому Гамильтону и так, по-видимому, многое известно. Ни к чему пополнять запас его знаний. Может быть, и в самом деле лучше провести с ним час-другой и постараться рассеять его подозрения.

Рихард промолчал. Он стал пристально глядеть в окно машины, стараясь вспомнить, как выглядела та улица, на которой располагалось бюро Гамильтона.

Но чем дальше они ехали, тем более Рихард убеждался, что они находятся совсем в другом районе города. Гамильтон ничего не говорил шоферу. Это был не тот человек, который приезжал за Рихардом несколько дней тому назад. Он был старше и в отличие от того, первого, носил усы. Гамильтон ни разу не обратился к нему, да и тот все время молчал, видимо, зная, куда ему надлежит ехать.

Наконец машина остановилась возле небольшого трехэтажного дома явно старинной постройки. Окна первого этажа были прикрыты белыми складчатыми шторами — «маркизами», а сам дом казался сделанным из серого неотшлифованного гранита. Три широкие каменные ступеньки вели на крыльцо, прикрытое от дождя и снега темно-красным металлическим козырьком.

— Ну, вот мы и приехали!

### *Итак, снова Гамильтон*

— Ну, вот мы и приехали! — удовлетворенно произнес Гамильтон. — В этом доме, — он легким движением руки показал на крыльцо, — я и живу.

Шофер поспешно вылез, обошел машину и открыл дверь, у которой сидел Рихард.

Гамильтон преодолел ступеньки первым. Вытащил из кармана ключи, открыл дверь и, чуть отойдя в сторону, сказал Рихарду:

— Ну, входи же!

Рихард нерешительно переступил порог и очутился в передней, оклеенной красноватыми, «под кирпич», обоями. Боковая, ведущая, очевидно, в кухню дверь открылась, и на пороге появилась женщина в коричневом платье, белом переднике и такой же белой наколке на волосах.

— А это наша Амальхен,— сказал из-за спины Рихарда Гамильтон,— мой менеджер и ангел-хранитель. Знакомьтесь, это Рихард, я надеюсь, что вы еще не раз увидите его здесь.

— Господа хотят что-нибудь перекусить?— с мягким баварским акцентом спросила Амалия, которую Гамильтон предпочитал называть уменьшительно-ласково «Амальхен».

— Да, но немного позже,— ответил Гамильтон.— А сейчас Рихард хочет принять ванну... или душ. Видите ли, Амальхен, с нами, точнее с Рихардом, случилось происшествие. Какой-то болван поехал на красный свет и едва его не сшиб. Рихард споткнулся и упал буквально в нескольких сантиметрах от автомашины, и, хотя она его не задела, он... ну, сами понимаете... Но до этого мы просто посидим минут десять. Рихарду необходимо, как это говорится по-немецки?.. Отдышаться!

— Яволь, яволь, майне геррен!— защебетала Амальхен.— Ах, какое несчастье! — Она всплеснула руками.

— Могло бы быть несчастье!— многозначительно сказал Гамильтон.

Амалия широко открыла другую, центральную дверь, а сама скрылась в глубине боковой комнаты.

Первая комната, в которой очутились Гамильтон и Рихард, была, очевидно, гостиной. Относительно небольшая, она казалась гораздо объемнее из-за зеркал, висящих на стенах одно против другого. Гамильтон подошел к окну и, потянув за шнурки, поднял гардины. Если до этого в комнате царил полумрак, то теперь она наполнилась дневным светом.

— Что ж,— спросил Гамильтон,— осмотрим квартиру? Впрочем, нет, сначала тебе надо вымыться. Кстати, ты поранил руку? Каким образом?

Действительно, с ладони к запястью у Рихарда стекала струйка крови.

— В стуле был гвоздь,— пробормотал он.

— Как только вымоешься, немедленно смажем,— в голосе Гамильтона Рихард почувствовал встревоженность.— Теперь пойдем дальше.

Они перешли в следующую комнату — несомненно, кабинет.

Рихард окинул быстрым взглядом большой письменный стол, на нем телефон, груду каких-то папок, раскрытый блокнот и распечатанный конверт, который Гамильтон сунул в стол, когда они проходили мимо; перед столом стояли два кожаных дивана, у стены — комод, один из ящиков которого был наполовину выдвинут.

Из кабинета дверь вела в спальню, где все дышало теплом и уютом, за ней была ванная комната. Гамильтон, указывая путь, вошел туда первым. Рихард — за ним. Ослепительной белизны ванна была обложена голубыми плитками, такие же плитки прикрывали стены. На крючках висели халаты, полотенца, большая махровая простыня.

— Все это к твоим услугам, Рихард,— сказал Гамильтон.— Остается одна нерешенная проблема: во что тебе переодеться. Нижнее белье я сейчас принесу. Оно будет тебе велико, но неважно, под верхней одеждой не видно. Брюки придется надеть свои, мои тебе будут не впору. Твой пиджак надевать нельзя, его надо будет отдать в чистку, а мой тоже будет слишком велик. Сделаешь так — наденешь мой свитер. У тебя дома есть во что переодеться?

Пока Гамильтон перечислял все, что Рихарду надлежит сделать, он молчал, может быть, потому, что американец произносил все это безоговорочным тоном, точно отдавал приказы. Но теперь, когда он задал прямой вопрос, Рихард, как бы вновь обретя дар речи, протестующе произнес:

— Да что вы, мистер Гамильтон! Спасибо большое, но все это ни к чему. Вымыться мне действительно надо, а потом доберусь домой и переоденусь. У меня дома все есть: и белье, и новый костюм... Я...

— Домой ты попадешь еще нескоро,— прервал его Гамильтон,— а до тех пор тебе надо в чем-то ходить. Сделаешь все так, как я говорю. Сейчас я принесу белье.



С этими словами Гамильтон, не ожидая ответа, вышел из ванной, оставив дверь полуоткрытой. Через две-три минуты до Рихарда донеслись звуки открываемых и закрываемых ящиков, а затем Гамильтон снова появился на пороге, держа в обеих руках стопу белоснежного белья.

— На, держи. Свитер подберем потом. Выбери себе, что больше подойдет по росту. И не торопись. Ничто так не успокаивает, как теплая ванна или душ.— С этими словами Гамильтон плотно прикрыл дверь ванной комнаты.

Сняв пиджак, Рихард увидел, что в нем и впрямь неприлично было бы идти по городу. Пыльный, в каких-то пятнах, один рукав порван: видимо, задел за что-то, когда прыгал в окно, и измазался, угодив в спасительный металлический ящик с мусором. Из полуоторванного кармана высовывался чулок-маска — как Гамильтон не заметил?

И тут Рихард вспомнил о своем «вальтере». Пистолета не было. Очевидно, он, ударив Борха, выронил его и теперь, несомненно, получит серьезный нагоняй от Клауса.

Рихард был уверен, что Клаус благополучно выбрался из зала суда, и теперь он, наверное, тщетно звонит ему, Рихарду, домой. И хотя Гамильтон оказался его спасителем, неприязнь к американцу стала нарастать в душе Рихарда. «Какого черта ему от меня надо?» — подумал он. Ведь совершенно ясно, что сегодняшняя встреча не была случайной. Но, как ни странно, Рихарда особенно не удивлял сам факт осведомленности Гамильтона в делах группы Клауса. Навязчивое стремление американца опекать его, Рихарда, не только учить, «как жить», но и помогать ему материально, можно было объяснить старинной дружбой с отцом. Но все имеет границы. Если у Гамильтона и был какой-нибудь долг перед отцом, то он в прошлый раз заплатил его сполна и в переносном, и в прямом смысле этого слова.

«Ну, довольно! — оборвал свои мысли Рихард.— Прежде всего надо мыться!»

...Множество тонких струек впились в его тело, окатывая с ног до головы, и спустя несколько секунд Рихард испытал блаженство. Он мылся долго. Не только потому, что это было ему приятно, но и из-за сознания, что после мытья ему наверняка предстоит тяжелый разговор с Гамильтоном, который хотелось оттянуть.

Наконец Рихард смыл с себя последние остатки мыла, стянул с батареи теплую простыню и стал усердно растираться. Одевшись, он ощупал содержимое карманов своих, к счастью, непорванных брюк и вышел в спальню, с удовлетворением отметив, что кровь из царапины на ладони исчезла. Комната была пуста. Рихард открыл дверь в кабинет. За письменным столом сидел и что-то писал Гамильтон. При виде Рихарда он поспешно встал, улыбнулся и, идя ему навстречу, добродушно спросил:

— Ну, как, Рихард, не утонул в моем белье?

— Почти как раз,— в тон ему, заставляя себя ответно улыбнуться, ответил Рихард.

— Сейчас дам свитер,— сказал Гамильтон и, проходя мимо Рихарда, направился в спальню.

Через минуту-другую он вернулся с коричневым свитером в руках и, протягивая его Рихарду, сказал:

— Вот, держи. Я не носил его уже лет десять. Тогда был помоложе и потоньше.

Рихард взял свитер и, видя, что Гамильтон выжидающе смотрит, стал натягивать его.

— Отлично! — удовлетворенно проговорил Гамильтон, осматривая Рихарда. Потом неожиданно положил руки ему на плечи и на мгновение прижал к себе. И вдруг спросил: — Сколько же тебе теперь лет?

— Двадцать четыре, скоро двадцать пять...

— Да... двадцать четыре...— как бы про себя повторил Гамильтон.— Быстро же летит время...— И вдруг громко крикнул, раскрывая дверь в гостиную: — Амальхен!

Раздался чуть слышный скрип дальних дверей, и на пороге появилась горничная.

— Ну вот, теперь мы что-нибудь поедим! — сказал Гамильтон и, оборачиваясь к Рихарду, произнес: — Мы, конечно, можем пойти в ресторан.

Это тут, недалеко. Но я бы предпочел поесть в домашней обстановке. А как ты?

Рихард хотел отказаться, но, поняв, что этим обидит Гамильтона, послушно наклонил голову.

— Вот и прекрасно! — сказал Гамильтон. — Сейчас Амальхен приготовит нам сосиски, даст сыр, масло, кофе... Ну, и пиво, конечно. Так, Амальхен?

— Яволь, майн герр! — точно эхо, откликнулась горничная. Она слегка поклонилась и исчезла в дверях.

— Присядем, друг мой, — сказал Гамильтон, указывая на кресла у маленького круглого стола.

Но Рихард колебался. Ему снова не давала покоя мысль о Клаусе и других ребятах. Не совершает ли он предательство по отношению к ним? Ведь Клаус распорядился, чтобы после операции они собрались у него. Наверное, сейчас все уже в сборе и гадают: что случилось с ним, с Рихардом? Может быть, он попал в полицию, перетрусил и рассказал, как было дело? И о заранее подготовленном скандале в суде, и о листовках, а может, и о том, что «акцией» руководил он, Клаус... И теперь к нему на квартиру может каждую минуту нагрянуть полиция.

— Мне надо идти, — стараясь не глядеть в глаза Гамильтона, проговорил Рихард. — Срочно!

— Уйти сейчас? Не поев? Не посидев со мной? — недоуменно и недовольно проговорил Гамильтон. — Да еще срочно?!

И тогда Рихард решился.

— Мистер Гамильтон! Вы ведь наверняка знаете, что произошло в суде. Не говорите мне больше о случайности нашей встречи, я все равно не поверю!

Наступила короткая пауза. Гамильтон сощурил свои почти не мигающие глаза.

— Ну... предположим. И что же из этого следует?

— То, что Клаус и другие ребята сейчас меня ждут.

— Ну, и подождут, невелика важность! — пренебрежительно произнес Гамильтон.

— Тогда... тогда разрешите мне хотя бы позвонить ему по телефону.

— Это... можно, — как показалось Рихарду, после некоторого колебания согласился Гамильтон.

Рихард бросился к телефону, но резкий окрик Гамильтона: «Подожди!» остановил его. Рихард замер у стола, уже подняв руку, чтобы снять трубку.

— Подожди, — уже спокойнее повторил Гамильтон, — это служебный телефон. Не надо вести по нему частных разговоров. — Он нагнулся, открыл тумбу стола, выдвинул один из ящиков и вынул из него телефонный аппарат. За ним тянулся, уходя в глубь ящика, шнур.

Гамильтон поставил аппарат на стол.

— Теперь можешь звонить.

Рихард снял трубку, набрал номер телефона Клауса. Стал считать гудки. Первый, второй, третий... Четвертый сигнал оборвался сразу же, и Рихард услышал голос:

— Слушаю!

«Это Клаус, Клаус!» — с радостью и успокоением подумал Рихард.

— Это я! — крикнул он в трубку, из осторожности не называя ни своего имени, ни имени Клауса.

Но тот, видимо, плевал на предосторожности.

— Рихард! Какого черта?! Где ты? Что-то случилось?

— Нет, нет, ничего! — торопливо успокоил его Рихард. — Я просто задержался! Расскажу при встрече.

— Ты что же, думаешь, мы тебя всю ночь будем ждать? — недовольно спросил Клаус.

— Я смогу приехать через час, — ответил Рихард, вопросительно посмотрев на стоящего рядом Гамильтона и, увидев, как тот нахмурился и поднял руку с вытянутыми двумя пальцами, поспешно добавил: — Максимум через два!



— Но где ты торчишь? — продолжал допытываться Клаус. — Твой домашний телефон не отвечает.

— Я не дома, — сказал Рихард.

— Так где же?

— Расскажу потом. Случайно встретил знакомого моего отца.

Рихард произнес эти слова, сознавая, что его объяснение звучало глупо. И, чтобы увести разговор в сторону, спросил:

— Как ребята?

— Пьют пиво и ругают тебя.

— Но я все объясню при встрече...

— Хватит! — вполголоса, но решительно произнес Гамильтон и положил ладонь на рычажки аппарата. Рихард услышал частые гудки.

Он опустил трубку и с упреком спросил Гамильтона:

— Зачем?

— Еще успеешь с ним наговориться, — пробурчал Гамильтон. — Думаю, еда уже на столе. Пойдем!

С этими словами Гамильтон сунул аппарат обратно в ящик, задвинул его, закрыл дверцу тумбы и повернул торчавший в замке ключ.

— А это что за телефон? — с любопытством спросил Рихард.

— Частная линия. Ею пользуются серьезные бизнесмены, журналисты, ну и так далее. К обычной, городской, иногда может ухитриться подсоединиться конкурент, чтобы урвать передаваемую информацию. В данном случае я имею в виду крупные газеты, агентства новостей. Однако хватит о делах!

Они перешли в гостиную. На покрытом красной скатертью большом круглом столе уже были расставлены приборы, на белой стеклянной подставке лежали нарезанные ломтиками сыр, ветчина, рядом возвышались две запотевшие пивные бутылки.

— Садись! — сказал Гамильтон, отодвигая один из стульев с высокими спинками. — Хочешь выпить? Я имею в виду не пиво.

— Нет, спасибо, — покачал головой Рихард.

— Ну, и я не буду, — сказал, усаживаясь, Гамильтон. И добавил: — Нам предстоит серьезный разговор, мой молодой друг. Его лучше вести на трезвую голову.

Гамильтон произнес эти слова каким-то до сих пор несвойственным ему задушевным и вместе с тем серьезным тоном. Это удивило, точнее, насторожило Рихарда, но он промолчал.

Амальхен принесла сосиски, разложила их по тарелкам, исчезла, снова вернулась с большим фарфоровым кофейником в руках и поставила его в центре стола, рядом с пивными бутылками.

— Что-нибудь еще, господа? — спросила она, складывая на животе руки.

— Нет, — быстро ответил Гамильтон. — Нам надо поговорить. Поэтому посуду уберешь позже.

В ответ раздалось привычное «яволь!», и горничная ушла, плотно притворив за собой дверь.

...Они ели в полном молчании. Рихард не мог понять, почему именно, но он ощущал какое-то безотчетное чувство тревоги. Нет, его уже не волновал Клаус, Рихард знал, что с ним все в порядке, отодвинулись куда-то вдаль, в прошлое, история в суде и стремительный бег по улице... Что же тревожило теперь Рихарда? Может быть, предупреждение о предстоящем «серьезном разговоре»? Что это будет за разговор? Наверное, этот Гамильтон станет читать ему нотации за невыполнение советов, которые он давал Рихарду во время прошлой встречи.

Когда с едой было покончено Гамильтон предложил Рихарду перейти за другой, маленький стол.

— Значит, ты не прислушался к тому, о чем я тебе говорил? — произнес наконец Гамильтон.

«Ну, конечно! — со злостью подумал Рихард. — Я был прав! Тоже гувернер-воспитатель нашелся! И почему я должен ему подчиняться?!» Но вслух сказал:

— Я действую так, как мне подсказывают мои убеждения... и совесть.

— В чем же они состоят, твои убеждения? В желании восстановить гитлеровский рейх?

Гамильтон произнес эти слова, как показалось Рихарду, с оттенком иронии. Это возмутило его, и он еле сдержался, чтобы не ответить грубостью.

— Мистер Гамильтон,— сказал он,— для вас Германия — чужая страна. А для меня — родина. Мой отец едва не пожертвовал жизнью во имя ее процветания. И если бы не нападение России — при содействии Штатов, хочу добавить,— то сейчас Германия была бы властительницей мира!

— Если бы Россия не напала...— иронически повторил Гамильтон, но Рихард не дал ему договорить.

— Знаю, знаю, что вы сейчас скажете! — прервал он американца.— Слышал я все эти сказки! На поверженную страну можно валить все что угодно! Но я-то знаю правду! Мой отец занимал достаточно важный пост, был приобщен ко многим государственным тайнам. И он рассказывал мне, как обстояло дело в действительности. Наше выступление против России было чисто превентивным. И если бы фюрер не приказал начать реализацию плана «Барбаросса», Сталин бросил бы все свои славяно-монгольско-еврейские орды против нас. Он уже был готов к этому!

— Хорошо, Рихард,— примирительно сказал Гамильтон,— не будем заниматься историческими экскурсами. Речь сейчас идет не о Германии в сороковых годах, а о тебе — в конце шестидесятых. И это совсем разные вещи.

— Я неотделим от Германии! — воскликнул Рихард.

— Оставим громкие слова. Ведь речь идет о твоей судьбе. В конечном итоге о твоей жизни!

— Мистер Гамильтон,— сказал Рихард, стараясь говорить уважительно и даже с оттенком благодарности,— поверьте, я очень ценю вашу заботу обо мне. Но мы — разные люди. И дело тут не только в возрасте. Вы состоите на службе в своей газете или не знаю уж где. А я служу Германии. Моей Германии! — Рихард сделал ударение на слове «моей».— Это разные вещи. Между нами барьер!

— Ну, не такой уж высокий, как ты думаешь,— с незлой усмешкой проговорил Гамильтон.— И кроме того, барьер не мешает мне многое видеть и знать.

— Что вы имеете в виду? — спросил Рихард, не понявший смысла последней фразы.

— Ну, например, видеть тебя среди участников того митинга, знать о неудаче Клауса в Дюссельдорфе и о получении оружия на нашей авиабазе. Быть в курсе вашей сегодняшней проделки в суде...

Теперь Гамильтон смотрел прямо в глаза Рихарду.

— Вы... все знали?

— Мне пришлось тебе это сказать, чтобы ты понял наконец, что я не бросаю слов на ветер. У меня есть... ну, как бы тебе это сказать... магический кристалл.

— Да...— тихо произнес Рихард,— я понял. Значит, вы считаете, что путь к победе не тот, которым я иду?

— Сначала я хочу тебе сказать, что ты несколько примитивно представляешь себе путь, по которому пойдет страна. Не спорь! Ты полагаешь, что Германия повторит то, что происходило с ней три с половиной десятка лет назад. Сначала вы, сегодняшние штурмовики, терроризируете своих политических противников и привлекаете на свою сторону мелких бюргеров, безработных, ну и так далее. Потом получаете абсолютное большинство на выборах. Затем сегодняшний Гинденбург приглашает к себе сегодняшнего фюрера, назовем его фон Тадден, и вручает ему пост канцлера и с ним всю полноту власти.

— Я не так наивен, как вы думаете, сэр! — сердито сказал Рихард.

— И все-таки я не ошибаюсь. Ход твоих мыслей примерно таков, как я его обрисовал. Может быть, ты сам не отдаешь себе в этом отчета.

— Так вы предлагаете мне отказаться от борьбы? — с вызовом спросил Рихард.

— Нет,— покачал головой Гамильтон,— я предлагаю тебе другое...



— Что именно?

— Рихард, поверь мне, я лучше тебя знаю обстановку в Германии. НДП переживает сейчас кризис, хотя ее представители и были избраны в ландтаги некоторых земель. И все же на протяжении двух последних лет влияние НДП падало. У этой партии нет шансов набрать на предстоящих выборах пять процентов, необходимых для того, чтобы получить места в бундестаге.

— Не пророчьте! — грубо сказал Рихард.— В Германии скоро будет создана группа «хранителей порядка», а потом мы создадим «гвардию фонда национального освобождения». Наши демонстрации на границах с так называемыми социалистическими странами — с ГДР, Польшей, Чехословакией — станут постоянными. Мы не остановимся против физического уничтожения тех руководителей средств массовой информации, которые повинны в разлагающей деятельности. Все это, вместе взятое, склонит на нашу сторону подавляющее большинство честных немцев...

...Не отдавая себе отчета, Рихард выкладывал Гамильтону все, что говорил ему Клаус,— и в Аргентине, и здесь, в Мюнхене. Рихарду, порывистому, легко воспламеняющемуся, сейчас и в голову не приходило, что он, сам того не замечая, выдает партийные тайны. Он буквально захлебывался словами и закончил свою сбивчивую речь восклицанием:

— Германия еще будет хозяйкой Европы, и вы это увидите!

— Надеюсь, что я этого не увижу. Потому что хозяйкой Европы станет в конечном итоге Америка.

— Нет, никогда! Мы с радостью примем помощь Штатов в борьбе с коммунизмом, я знаю, что у вас существует Международная антикоммунистическая лига, нам рассказывал об этом Райт там, на авиабазе...

— Когда по моему поручению снабдил вас оружием?

— Мне нечего от вас скрывать, раз вы и так все знаете. Но вы не знаете одного: мы победим! И, когда мы встретимся после нашей победы, я напомню вам все, о чем вы сейчас говорите.

— Если все пойдет так, как идет, то мы не встретимся, Рихард! Я скоро уеду...

— Уедете? Но куда? И почему?

— Срок моего пребывания в Германии заканчивается, и меня отзывают домой, в Штаты...

Почему он произнес эти слова с печалью? Неужели ему, проведшему столько времени в Германии, не хотелось на старости лет вернуться домой? Правда, там, за океаном, его никто не ждал. У него был дом, особняк в Филадельфии, уже четверть века стоявший пустым,— у Гамильтона не было семьи. Но он уже не ощущал в себе достаточно сил, чтобы начинать жизнь сначала.

Была у Гамильтона и другая причина, чтобы разочароваться в жизни: в Ленгли в последнее время им явно были недовольны. Главный резидент ЦРУ, находившийся в Бонне, уже несколько раз намекал, что ему не удастся обеспечить победу НДП на предстоящих выборах, что победить могут социал-демократы или двухпартийный союз ХДС/ХСС, и тогда... тогда дело кончится советско-германским договором и осуществление заветного желания НДП восстановить Германию в границах 1937 года отодвинется куда-то вдаль...

Не так давно курьер из Вашингтона передал Гамильтону прямое указание готовиться к скорому отъезду.

Что ж, Гамильтон был теперь богатым, до конца своей жизни обеспеченным человеком, и перспектива спокойного существования на родине не так уж страшила его...

Если бы не одно важное обстоятельство. Оно, это обстоятельство, потрясло всю душу Гамильтона, окаменевшую, зачерствевшую уже много лет назад, недоступную почти никаким чисто человеческим эмоциям.

И это потрясение заставило его через свою агентуру в группе Клауса следить за каждым шагом Рихарда, оно же заставило Гамильтона ждать сегодня его появления у здания суда, прервать бег Рихарда и привезти его сюда...

И все нынешние разговоры с Рихардом, касавшиеся и немецкой истории, и будущего Германии, и дальнейших перспектив НДП, Гамильтон вел, все еще будучи потрясенным и мучительным усилием воли скры-

вающим это потрясение. Но когда вырвалась фраза о предстоящем отъезде в Америку, он уже не мог больше сдерживаться. Не мог потому, что видел, чувствовал — Рихард воспринял это сообщение как совершенно обыденное, мало его трогающее, может быть, даже чем-то радующее: ведь тем самым он избавлялся от навязчивого попечительства, а то, что забота его, Гамильтона, вызывала у Рихарда с трудом сдерживаемое раздражение, он видел.

И тогда Гамильтон, чувствуя бесцельность, бесперспективность своих попыток переубедить Рихарда, остановить его на пути к собственной гибели, решил сделать первый шаг...

— Да,—повторил он,—я скоро уезжаю. И в этой связи хочу сделать тебе одно предложение...—Я бы хотел, чтобы ты уехал со мной в Америку,—с трудом сбрасывая часть мучающего его груза, произнес Гамильтон.

— В Аме-рику?—изумленно переспросил Рихард.—Вы что это, всерьез?

— Послушай меня, Рихард, послушай без предубеждения.— Гамильтон положил руку на подлокотник кресла, в котором сидел Рихард.—Тебе скоро исполнится двадцать пять лет, верно? У тебя до сих пор нет законченного образования. Какие перспективы открывает перед тобой жизнь здесь, в Германии?

— Осенью я поступлю в университет! — протестующе сказал Рихард.— И вообще... вообще то, что вы мне сейчас предложили, звучит просто нелепо!

— Но почему? — пожал плечами Гамильтон.— В Америке ты мог бы закончить свое образование...

— Плевать я хотел на образование!—воскликнул Рихард.—Я немец, солдат фронта, пусть пока еще тайного!

— Понимаю. Но тайная борьба тоже требует особых знаний, навыков, профессионализма, если хочешь. При желании ты мог бы окончить в Соединенных Штатах специальную школу. И наконец, если твое желание не изменится, вернуться в Германию уже зрелым офицером-разведчиком.

— А до тех пор отсиживаться в глубоком заокеанском тылу? — возмутился Рихард.—Я оставил семью, мать, любимого отца. Я решился на это только потому, что поставил долг перед родиной превыше всего. Отец отговаривал меня, боялся за мою жизнь. Но в конце концов понял меня и согласился. А теперь... Как я буду выглядеть в глазах отца, когда он узнает, что я променял жизнь под его крышей не на Германию, а на то, чтобы, прожив в ней меньше месяца, удрать в Америку?

— В глазах отца?..—с какой-то странной задумчивостью повторил Гамильтон. И после короткой паузы медленно, с усилием, точно преодолевая внезапный спазм, произнес: —Я твой отец, Рихард!

— Что?!—Рихард вскочил со своего места.

— Сядь! — повелительно произнес уже овладевший собой Гамильтон.

— Вы хотите сказать, что забота обо мне дает вам права моего второго отца?—все еще стоя, сжимая кулаки, продолжал Рихард.—Или вы полагаете, что купили это право за деньги, которые мне в прошлый раз дали? Так я готов швырнуть вам эти деньги обратно!

— Сядь, я тебе говорю!—уже более жестко повторил Гамильтон.

Рихард почувствовал, что силы покидают его. Он невольно опустился в кресло.

— Еще раз говорю тебе: я твой настоящий отец,—сказал на этот раз тихо, даже мягко Гамильтон.—Адальберт Хессенштайн, ныне Альбиг, которого ты всю свою жизнь считал своим отцом,— мужественный и честный солдат. Я уважаю его заслуги в борьбе с коммунизмом, иначе не помог бы ему и Ангелике перебраться в Аргентину. Но... он не твой отец.

— Но какие же у вас основания...—начал было Рихард, однако Гамильтон остановил его:

— Подожди. Я понимаю, как тяжело тебе все это слышать, но ты должен знать правду. Война—это не только сражения с оружием в руках. Война меняет судьбы людей, ставит их в такие отношения друг к другу, о которых они и подумать не могли в мирное время. Словом, тогда, в сорок пятом, меня послали на работу в Нюрнберг. Предоставили хороший номер в гостинице. Но мне хотелось иметь свою личную, пусть небольшую, но удобную, тихую квартиру. В американской комендатуре дали несколько адресов на выбор. Я и сейчас помню, как позвонил в дверь небольшого особняка. Мне открыла невысокая молодая белокурая женщина, к которой я сразу почувствовал необъяснимую симпатию. Потом я узнал ее имя— Ангелика.



— Перестаньте! —снова сжимая кулаки, воскликнул Рихард.

— Нет, подожди. Ты должен выслушать все это, иначе не поверишь... На мне была форма американского военного корреспондента. Я представился фрау Ангелике и показал бумажку из комендатуры. Ангелика сказала, что живет одна, что ее муж или убит, или пропал без вести на фронте и что на втором этаже дома есть две свободные комнаты... Я решил взять их. Сказал, что буду платить продуктами или долларами... Мы договорились...

— Я все понял, все!—снова воскликнул Рихард.—Остальное можете мне не рассказывать! Моя мать голодала, жила с черного рынка, и вы купили ее, да, да, купили, своими продуктами, своими проклятыми долларами!

— Нет, нет...—смущенно пробормотал Гамильтон, а потом продолжил уже более твердо:—Ей действительно было тяжело... Продавала или выменивала на продукты оставшиеся ценности. Кроме того, она жила одна в доме из пяти комнат, три внизу занимала сама, две верхние оставались свободными... Ее могли выселить как жену бывшего гестаповца или, во всяком случае, заселить верх... Мое пребывание стало для нее своего рода охранной грамотой...

— И вы потребовали компенсацию за эту грамоту?!

— Я ничего не требовал, Рихард, пойми! Но ты представь себе ситуацию: одинокая женщина и одинокий мужчина, еще далеко не старые, живут вместе в пустом доме... Ты уже достаточно взрослый человек, Рихард, и не можешь не понимать... Да, очевидно, я не был ей противен...

— Прекратите! Я не хочу слушать всю эту грязь!—отворачиваясь от Гамильтона, крикнул Рихард. Потом овладел собой и спросил холодно и отчужденно:—Как долго... это продолжалось?

— Вплоть до неожиданного появления мужа Ангелики. Того, кого ты считаешь своим отцом. С этого момента наши отношения, естественно, прекратились.

— Но откуда же у вас уверенность...

— Я знал, что ты задашь этот вопрос. И у меня не будет выхода, кроме как...— Он запнулся, встал с кресла и сказал:— Подожди минуту.

С этими словами Гамильтон вышел в соседнюю комнату и быстро вернулся, держа в руках какой-то конверт.

— Я получил это по своим каналам спустя день после твоего приезда. Я не хотел давать тебе это письмо. Но если все мои слова бессильны... На, прочти.—И Гамильтон протянул Рихарду конверт.

Тот взял письмо, едва удерживая его в руке, пальцы внезапно точно окостенели. Конверт был распечатан. Рихард вытащил из него сложенный вдвое листок плотной бумаги. Развернул этот листок, и сердце его забилось так сильно, что он ощущал его биение не только в груди, но и в висках: едва взглянув на покрывающие бумагу строчки, Рихард узнал почерк своей матери. Она писала:

«Арчи, милый! Это письмо—из прошлого. Тебя окликнули, ты оглянулся, внезапно увидел за собой пропасть, и вот оттуда, из ее бездонной глубины, до тебя доносится сейчас мой голос.

В Германию отправляется наш сын, Рихард. Я подчеркиваю это слово «наш». Да, да, Рихард—наш сын, мой и твой. Никаких сомнений быть не может, я все высчитала, как только он родился, уже здесь, в Аргентине, в первый же день нашего приезда. Высчитала и поклялась богу и себе, что сохраню это в тайне до конца моих дней не только от мужа—это бы его убило,—но и от тебя, Арчи. Я никого не виню в том, что произошло между нами столько лет назад, никого, кроме себя.

Но сейчас речь идет не обо мне, Арчи. Речь идет о Рихарде, о моем единственном сыне, по существу, еще юноше, который сейчас

находится рядом с тобой. Рихард уехал в Германию для того, чтобы, как он говорил, бороться за дело, которому его «отец» посвятил всю свою жизнь...

Я знаю Рихарда так, как может знать только мать. Он честен, порывист, неудержим... А в Германии сейчас, судя по газетам, неспокойно, там бросают бомбы, стреляют, и кто знает, может быть, одна из пуль предназначена для нашего Рихарда...

Заклинаю тебя, Арчи, возьми его под свою опеку. Защити, оборони его словом, действием, но только сохрани, удержи, если увидишь, что он идет навстречу смерти. Я не хочу, не могу думать о том, что Рихард станет жертвой во искупление нашего греха.

Твоя когда-то Гели.

P. S. Умоляю, уничтожь это письмо, но пусть оно живет в твоем сердце. И еще: если Рихард последует твоим наставлениям, то сохрани от него нашу тайну. Иначе... пусть он узнает все.

Г.»

...Рихард уже давно прочел эти несколько десятков строк, но попрежнему держал письмо перед глазами, держал окостеневшими пальцами, чувствуя, что не в силах их разжать.

— Ты что, плохо разбираешь почерк своей матери? — раздался в ушах Рихарда голос Гамильтона. — Отдай письмо!

С этими словами он взял, скорее, вырвал письмо Ангелики, вложил в конверт и спрятал его во внутренний карман своего твидового пиджака.

Потом сказал, стараясь говорить мягко и проникновенно:

— Я представляю себе, Рихард, что происходит сейчас в твоей душе. Да, я мог и не показывать тебе это письмо, твоя мать предусмотрела такую возможность. Но... вспомни последние строки: там говорится об условии, при котором я могу сохранить письмо в тайне от тебя. Однако я вижу, ты не следуешь моим советам. Более того, я подозреваю, что ты и впредь не будешь меня слушаться, и тогда я понял, что должен показать тебе письмо... Ты молчишь?

...Рихард сидел, не произнося ни слова. Все окружающее как бы отодвинулось от него, ушло в почти неразличимую даль. Рихард не видел сейчас ничего и никого: ни Гамильтона, ни комнаты, в которой находился... Теперь у него никого нет — ни отца, посвятившего жизнь служению рейху, ни матери. Он проклинал ее в душе. И сам он был не тот, каким считал себя раньше: не чистокровный немец, не ариец, а полукровка. В его жилах течет не только американская, но, может быть, даже и еврейская кровь, кто знает происхождение этого Гамильтона...

Наконец Рихард пришел в себя. Он встал. Тихо сказал:

— Я пойду.

— Куда ты пойдешь? — спросил, тоже вставая, Гамильтон.

— Домой.

— Тебя отвезут, Рихард. Я понимаю, тебе хочется сейчас остаться одному. Ты воспринимаешь все, что узнал, как драму. Но ты переживешь ее, я знаю. Ведь ты сильный человек, Рихард. То, о чем ты узнал, не сможет и не должно заставить тебя воспринимать жизнь иначе, чем до сих пор. В конце концов то, что я предложил тебе, — на время уехать в Штаты, было вызвано не только желанием, пусть эгоистическим, еще какое-то время быть рядом со мной. Ты прошел бы там школу, которая удвоила, утроила бы твои силы, твой опыт. И ты смог бы вернуться в Германию созревшим для больших дел. В малом отражается большое. Германия не добьется господства в Европе без американской помощи. Так и ты, не пройдя американскую школу, останешься здесь всего лишь мальчиком на побегушках, к тому же постоянно рискующим жизнью. Разве тебе это неясно?.. Ну, почему ты молчишь?

— Я уже сказал: нет! — твердо ответил Рихард.

Теперь им постепенно стала овладевать новая мысль. Да, то, что он узнал, было ужасно. Но он должен искупить вину своей матери. Отстоять право быть подлинным немцем. Нет, не советам этого американца, чужого для него человека, будет он следовать. Наоборот, он еще смелее пойдет навстречу любым подстерегающим его опасностям. Горькое сознание того, что произошло, лишь укрепит его волю к борьбе.

— Может быть, ты переночуешь у меня? — спросил Гамильтон.



— Мне надо быть дома! — резко оборвал его Рихард.

— Хорошо. Тогда я сейчас вызову машину. — Гамильтон вышел из гостиной в кабинет.

Рихард услышал, как Гамильтон произнес несколько слов по телефону. Потом он вернулся, сказал:

— Машина будет минут через пятнадцать, — и опустился в кресло.

И снова наступило молчание.

Рихард старался не смотреть на Гамильтона, а тот, откинувшись на спинку кресла, сдавил ладонями свои седеющие виски. Наконец он откинул голову и, тоже не глядя в сторону Рихарда, спросил:

— Ты никогда не простишь мне того, что случилось?

Рихард молчал.

— Встань на мгновение на мое место, — продолжал Гамильтон, — я одинокий человек. У меня никогда не было детей. И вдруг я приобрел сына. Могу ли я не радоваться этому?

— Приобрели? — с презрением спросил Рихард. — Вы, американцы, всегда что-нибудь приобретаете. И в Южной Америке. И в Германии, на черном рынке после войны. Вы хотели бы приобрести и саму Германию. Да, мы можем и хотим быть вашими союзниками в борьбе с коммунизмом. И здесь, в Германии, и во всем мире. Но «приобрести» нашу страну так же просто, как вы «приобрели» сына, вам не удастся. Да я и не верю вам!

— Не веришь... во что?

— Что я ваш сын. Мать могла ошибиться.

— В таких вопросах женщины никогда не ошибаются, Рихард.

— Пусть так. Вы «приобрели» сына. Но я не приобрел отца. Он у меня уже есть. И если я поначалу откликнулся на ваш телефонный звонок и пришел к вам, то только потому, что видел в вас друга моего отца. А вы его предали!

— Опомнись, Рихард, что ты говоришь! Ты не в силах перенести себя в обстановку тех лет, в обстановку хаоса, разорванных войной семейных связей, поисков душевного пристанища...

«И вы нашли его в постели моей матери?!» — эти слова чуть было не сорвались с губ Рихарда. Но он сдержался. Однако Гамильтон, видимо, прочел его мысли.

— О каком предательстве ты говоришь? — с наигранным, как показалось Рихарду, негодованием воскликнул Гамильтон. — Твоя мать считала, что ее муж убит!

— Но потом он вернулся и какое-то время вы жили в доме втроем... Словом, я тоже умею считать, мистер Гамильтон!

...В этот момент в дверь осторожно постучали. Вошла Амалия.

— Пришла машина, майн герр! — негромко сказала она.

— Пусть подождет, — недовольно проговорил Гамильтон.

— Нет! — поднялся Рихард. — Если это за мной, то я поеду.

Когда машина уже подъезжала к гостинице, Рихард вспомнил, что на нем свитер Гамильтона.

— Подождите несколько минут, — сказал он шоферу.

Быстрым шагом, задержавшись у стойки портье лишь для того, чтобы взять ключ, Рихард поднялся в свою комнату, снял, точнее, содрал с себя свитер Гамильтона и завернул его в старую газету. Накинув пиджак, не запирая дверь, он сбежал вниз и отдал сверток шоферу.

— Это мистеру Гамильтону. Лично, в руки. Спасибо.

### *Отчаяние и надежда*

...И вот он снова один. Мысль о том, что надо позвонить Клаусу, даже не приходила ему сейчас в голову. Он сел в кресло и, опустив подбородок на грудь, закрыл глаза. И тогда его со всех сторон обступили нюрнбергские призраки.

Да, он никогда не был в Нюрнберге, но у матери сохранился семейный альбом, который не раз просматривал Рихард. На одной из фотогра-

фий был запечатлен дом, в котором жили его родители,— красивый двухэтажный особняк. И сейчас он как бы «примысливал» к этому дому, к его комнатам своих отца и мать, еще молодых, таких, какими они выглядели на других фотографиях. В своем воспаленном воображении он видел сейчас Гамильтона и свою мать выходящими из дома, представлял себе их в различных ситуациях: за утренним кофе, обедающими в ресторане, видел — воочию видел! — как Гамильтон обнимает его мать, и тогда ногти сжатых в кулаки пальцев Рихарда впивались в его ладони и ненависть к американцу охватывала все его существо. Потом перед Рихардом возник образ его обманутого отца, да, в мыслях своих он не мог думать о нем иначе, как о своем отце, единственном, незаменимом, представлял себе его в эсэсовской форме, с молниями-рунами в петлицах и с нацистской повязкой на левой руке,— красной лентой с белым кругом и свастикой в центре...

Несгибаемый борец за дело фюрера, за торжество Германии, одним росчерком пера вычеркивавший из жизни предателей, жидомасонов и прочих недочеловеков, он сам стал жертвой предательства, причем в собственном доме.

Как гордился Рихард своим чисто немецким — и, по рассказам отца, во многих поколениях — происхождением, да и мать его была чистокровная немка... Этот факт, помимо многих других, с детских лет укреплял Рихарда в убеждении, что его место в Германии, в рядах мстителей за поражение родной страны в минувшей войне. Он читал и перечитывал не только «Майн кампф», но и все статьи, брошюры, которые были написаны фюрером еще до того, как, будучи вместе с Гессом заключенным в Ландсбергскую тюрьму, он стал диктовать своему соседу по камере главный труд своей жизни и самую великую книгу, которую когда-либо рождало человечество. Он читал и перечитывал Розенберга, знатока расистской теории, мечтал, что когда-нибудь посетит то таинственное племя, живущее где-то среди вершин и пропастей Гималаев, племя, от которого произошла тысячи лет назад истинная арийская раса... Но это — это потом размышлял Рихард, а до тех пор он должен жить и бороться в Германии, среди своих соплеменников... И вот оказалось, что немцы, истинные немцы, лишь наполовину могут считаться его братьями по крови. Он — полукровка!..

Кто может точно проследить происхождение этих проклятых янки? Кто может быть уверен, что большинство этих пришлых со всего мира людей не ведут свое происхождение от каких-нибудь индейцев, негроидов, метисов и уж, конечно, евреев?..

Могла ли жизнь нанести ему, Рихарду, удар сильнее? Неожиданно ему пришла в голову мысль: уничтожить, убить этого проклятого Гамильтона! Тогда все сохранилось бы в тайне, и он, Рихард, по-прежнему оставался бы сыном Хорста Альбига, истинного немца, арийца, верного борца за дело фюрера.

Но нет, это утопия. Убийство такого человека, как Гамильтон, с его связями, явными и тайными, было бы обязательно раскрыто, и ему, Рихарду, грозило бы пожизненное заключение, если не смертная казнь.

«Так что же мне делать? — снова и снова в этот час мучительных раздумий спрашивал себя Рихард.— Как смыть позор своего рождения?» И каждый раз он находил только один и тот же ответ: в борьбе. Он должен брать на себя самые рискованные, самые опасные поручения, пусть смерть всегда стоит за его спиной, он все равно не будет оглядываться! И пусть отступит перед ним все то, что он мысленно назвал «нюрнбергскими призраками». Пусть само слово «Нюрнберг» отныне вызывает в нем не тот час, когда он был зачат в грехе и предательстве, и не позорный суд над вождями рейха, но воспоминание о том, что этот город был вторым по значению в истории национал-социализма — любимой фюрером ареной торжественных партийных съездов, символом притягательности его непобедимых идей.

...Раздался резкий телефонный звонок. Он как бы вернул Рихарда из прошлого в настоящее.

Но лишь после третьего звонка он снял трубку.



— Алло!

— Рихард? — услышал он голос Клауса.— Какого черта, Рихард?! Где тебя носит?

— Но я же тебе сказал... Встретил знакомого моего отца. Он оттуда, из Аргентины.

— Нашел время ходить в гости! Из-за тебя...— Клаус запнулся.

— Что «из-за меня»? — встревоженно спросил Рихард.— Если надо, я сейчас приеду.

— Все давно разошлись,— по-прежнему недовольно ответил Клаус.— Приеду к тебе я. Что ты сейчас делаешь?

Рихард посмотрел на часы.

— Ничего. Я недавно вернулся.

— Ладно, жди! — буркнул Клаус и повесил трубку.

«Что случилось? — подумал Рихард.— Может быть, все дело в том, что я выронил там, в суде, свой пистолет и его подобрала полиция? Но ведь все остальное я сделал точно по инструкции!»

Мысль, что он все же в чем-то поступил неправильно, вытеснила из сознания Рихарда все, что мучило его. Нет, неверно! Теперь к ощущению собственной неполноценности присоединился, усилил его недовольный тон, каким говорил с ним Клаус, и, главное, фраза, которую он не докончил: «Из-за тебя...»

...Клаус появился скоро. Он вошел в комнату без стука.

— Ты все еще мальчишка, парень! Из-за тебя чуть не сорвалась вся операция!

— Но почему, Клаус?! — воскликнул Рихард.— Что я сделал такого?

— На кой черт ты ударил этого Борха пистолетом? Он грохнулся на пол как убитый! Вспомни, как была задумана операция. Коммунисты и другие красные решили освободить своего единомышленника Борха. С этой целью и было предпринято нападение в зале суда. Но попытка не удалась. Коммунисты, то есть мы, были вынуждены оставить Борха в покое и разбежаться. Но какой был смысл похитителям нападать на самого Борха? Это же нелепость! Что завтра напишут газеты? О какой попытке выручить Борха может идти речь, если один из «похитителей» бьет его пистолетом по голове? И к тому же в качестве улики оставляет там, на полу, свой пистолет! Ты что, не знаешь, что каждое оружие имеет свой номер и полиции ничего не будет стоить выяснить, откуда к нам попал этот пистолет?

Да, всего этого Рихард не учел. Он не только сорвал операцию, но и оставил след, ведущий далеко, к американскому «Клану».

Клаус был прав. Он, Рихард, лишил всю задуманную «акцию» какого-либо смысла. И пистолет... Номер! — об этом Рихард и вовсе не подумал. А Борха он ударил потому, что иначе тот мог сбежать, снова попасть в руки полиции, и там бы легко установили, что никто не собирался его похитить!

— Я ударил его потому, что боялся, что он убежит тем же путем, что и я, через окно,— растерянно проговорил Рихард.— А пистолет выронил при ударе. Если бы я начал искать его в этой суматохе, то меня наверняка бы задержали. Конечно, мой пистолет в руках полиции — это катастрофа.

— На наше общее счастье, катастрофы не произошло,— сказал сумрачно Клаус.— Вот твой пистолет!

И Клаус, засунув руку в задний карман брюк, вытащил оттуда так хорошо знакомый Рихарду «вальтер».

— Клаус, друг, как тебе это удалось?!

— Такая моя судьба — выручать разгильдяев! Я успел подобрать пистолет там, где ты его уронил.

— Отдай мне его, прошу! — умоляюще воскликнул Рихард, протягивая руку к пистолету.

Но Клаус резким движением опустил его обратно в карман брюк и презрительно сказал:

— Сначала научись обращаться с оружием.

— Значит... ты больше мне не доверяешь? — упавшим голосом проговорил Рихард и подумал при этом: «Боже, если бы Клаус знал, что я не просто разгильдяй, но даже и не чистокровный немец! Он вышвыр-

нул бы меня из своей группы! Что бы мне оставалось делать? Вернуться назад, в Аргентину? Или... или принять предложение Гамильтона и уехать в Соединенные Штаты?..»

Наконец Рихард собрался с духом.

— Клаус, я прошу тебя, умоляю! Назначь мне еще одно испытание, такое, где ставкой была бы только моя жизнь! Разреши мне рассказать на собрании группы, как все это произошло! Я надеюсь, они поверят мне! Поймут, что все случившееся объясняется только стечением обстоятельств. Что я так же верен нашему общему делу, как и до сих пор!

— Будущее покажет,— коротко ответил Клаус, но Рихарду показалось, что в его голосе появились нотки снисходительности.— Кстати,— сказал он,— что это за «аргентинский знакомый», у которого ты проторчал столько времени, вместо того чтобы явиться на сбор?

— Это... Гамильтон,— ответил Рихард нерешительно, потому что не знал, как Клаус воспримет его слова.

— Га-миль-тон?— с удивлением, как показалось Рихарду, переспросил Клаус.

— Да. Он увидел меня из окна своей машины, когда я удирал из здания суда. Предложил подвезти. Мы заехали к нему домой...

«Ни слова больше, ни слова!» — мысленно приказал себе Рихард. Но, к его удивлению, Клаус и не задавал больше никаких вопросов. Видимо, ответ Рихарда хотя и удивил, но все же удовлетворил его.

А Рихард по-прежнему хотел объясниться.

— Уверяю тебя...

— Ладно,— прервал его Клаус.— Подождем до завтра. А теперь я ухожу. Приехал для того, чтобы выложить все, что я о тебе сейчас думаю. Прощай! — И вышел из комнаты.

Рихард опять остался один. И уже очень скоро нюрнбергские призраки снова окружили его со всех сторон. Но теперь среди них был и Клаус. Рихарда теперь мучило не только то, что он услышал от Гамильтона, но и сознание, что ему, уже ему лично, предъявлено обвинение в срыве операции...

И в этот момент Рихард подумал о Герде... «Герда... Герда!..» — мысленно повторял Рихард. Он должен увидеть ее, говорить с ней, забыть обо всем на свете, кроме нее...

Но сможет ли он, перегруженный горестями, вести себя с Гердой как ни в чем не бывало, разговаривать о посторонних, чуждых ему вещах— об исторических местах Мюнхена, о его архитектуре, словом, о чем угодно, но не о том, что сейчас терзало его? И, кроме того, увидеться с Гердой значило бы еще раз нарушить один из категорических запретов Клауса и, следовательно, ко всем своим мукам прибавить еще одну...

И все же... Герда! Он хочет, должен увидеть ее... Рихард бросился к аппарату, стал лихорадочно набирать номер Герды.

— Слушаю!

В первое мгновение Рихард был не в состоянии произнести хоть слово— горло сдавил спазм. Но уже в следующую секунду со страхом, что Герда, не услышав ответа, может положить трубку, он крикнул:

— Герда! Здравствуй, дорогая! Это Рихард...

— А-а, Рихард! — доброжелательно отозвалась Герда.— Куда же ты пропал?

Эти ее слова, тон, каким она их произнесла, прозвучали для Рихарда чуть ли не признанием в любви. Сам не отдавая себе отчета в том, что он говорит, почти не слыша своего голоса, задыхаясь от волнения, Рихард обрушил на Герду поток слов:

— Я скучаю по тебе, Герда, мне очень одиноко, мне надо увидеть тебя, на улицах я высматриваю твою машину, дома гляжу на телефон в надежде, что ты позвонишь, что я снова услышу твой голос, прошу тебя, давай встретимся, где хочешь, когда хочешь, но мне надо... надо...

Рихард произнес все это без пауз, на одном дыхании и теперь запнулся, умолк.

— Ты знаешь,— после короткого молчания прозвучал в трубке голос Герды,— я... я тоже чувствую себя одиноко...

Тон, которым Герда произнесла эти слова, был несвойственным для нее. Обычно Герда говорила с ним несколько нравоучительно, или иронически, или даже чуть заносчиво. Но сейчас голос ее как-то поблек. В нем не было страшившего Рихарда безразличия, скорее в нем звучала какая-то затаенная грусть. Но, видимо, и в его голосе Герда ощутила что-то необычное. Во всяком случае, она спросила:



— А как твои дела, Рихард? У тебя какой-то странный голос. Какие-нибудь неприятности?

— Нет, нет, у меня все в порядке! — поторопился ответить Рихард.— Если не считать, что мы не виделись уже больше недели. У меня все... все в порядке. Кроме одного— я скучаю по тебе, хочу тебя видеть... Прошу, Герда, не отказывайся! Я знаю, ты сейчас скажешь, что занята, что у тебя срочная работа, что ты...

— Откуда тебе известно, что я скажу?— прервала его Герда.— Вовсе не то, что ты предполагаешь.

— Значит, мы встретимся?— с внезапно вспыхнувшей надеждой воскликнул Рихард.

— Ну, если тебе верить и ты только об этом и думаешь, давай. Когда?

— Сегодня, сейчас!

— С тобой и впрямь что-то происходит,— на этот раз с явным удивлением произнесла Герда.— Почему такая срочность? Сколько сейчас времени?

— Не знаю и не хочу знать! — вскричал Рихард, однако посмотрел на свои часы.— Всего четверть восьмого, время еще детское!

— Но это только для детей,— с усмешкой сказала Герда,— а мы люди взрослые. Словом, хорошо. Давай встретимся.

— Во сколько?

— Ну, давай в восемь часов. Я подъеду за тобой так же, как в прошлый раз.— И она повесила трубку.

Рихард стал торопливо переодеваться, надел свой лучший костюм и без четверти восемь уже стоял у входа в гостиницу, всматриваясь в поток автомашин.

...И вот они снова вместе, рядом, на переднем сиденье ее «фольксвагена».

В отличие от того, первого, раза Герда не отказалась пойти где-нибудь посидеть, только призналась, что терпеть не может пива, и предложила поехать в известное ей итальянское кафе-закусочную, съесть настоящие спагетти и выпить кофе «капучино».

...Они сели за маленький двухместный столик, заказали макароны «по-неаполитански» и графинчик вина «Кьянти».

Рихард неотрывно смотрел на Герду. Ему казалось, что если он отведет от нее взгляд, то Герда исчезнет, растворится в клубах сигаретного, сигарного и трубочного дыма, плавающих в воздухе.

На Герде, как и в прошлый раз, была синяя кожаная куртка, и белокурые волосы ее были закручены в тугой клубок на затылке. Вот только глаза...

Рихарду показалось, что голубые глаза Герды как-то поблекли, потеряли свой обычный цвет. Или это только почудилось, потому что их голубизна стала не столь заметной, сливаясь с какой-то странной синевой под глазами.

«Косметика?» — подумал Рихард. Но, вглядевшись, понял, что никакой косметики на лице Герды не было. Что же изменилось в ее глазах? Ну, может быть, белки слегка порозовели, точно после бессонной ночи.

В ресторанчике играл одинокий скрипач, очевидно, итальянец. Играя, он прохаживался между столиками, иногда задерживаясь то у одного, то у другого, и наклонялся к посетителям, прежде всего к дамам...

Герда показалась Рихарду на этот раз сдержанной и даже печальной. И тем не менее никогда еще с момента совместного полета из Аргентины, никогда раньше Рихард не ощущал такой близости к ней, как сейчас. Он сказал Герде, что мучительно хотел позвонить ей все эти дни, но девушка ответила, что это было бы бесполезно, потому что три последних дня она провела во Франкфурте: у нее умерла мать. На Рихарда, который только что узнал о своей собственной семейной трагедии, слова Герды произвели тяжелое впечатление.

Он понял, почему так изменился цвет ее глаз, откуда синева под ними...

Конечно же, Герда плакала. Наверное, много плакала. Может быть, даже и тогда, когда она говорила с ним по телефону, лицо ее было мокрым от слез.

Рихард пробормотал:

— У меня дома тоже не все в порядке...— Подумал немного и добавил: — Тяжело заболел отец.— Потом, положив ладонь на лежащую на столике руку Герды и, сочувственно глядя в ее печальные глаза, заговорил снова: — Мне так хочется утешить тебя, милая Герда! Только знаю, словами, какими бы они ни были, горя не поправишь. Есть раны, залечить которые может только время.

— Спасибо, Рихард,— тихо сказала Герда.— Мы часто по самым случайным поводам произносим слово «никогда». Но истинное его значение познаешь только, когда теряешь близкого тебе, родного человека. Я не помню своего отца, но ведь я знала, что никогда его не увижу. Никогда... И вот теперь — мать. И снова «никогда»! Это... это просто не умещается в моем сознании.— Глаза Герды наполнились слезами.— Пока человек жив,— продолжала она,— всегда остается надежда. Я уверена, твой отец поправится.

«Нет, дорогая, нет! — мысленно произнес Рихард.— Для меня он фактически умер».

В этот момент скрипач подошел к их столику и, наклонившись вместе со своей скрипкой к Герде, стал играть что-то веселое, бравурное.

Герда торопливо открыла сумочку, достала пятимарковую монету и сунула ее в карман желтой курточки скрипача.

— Зачем, Герда?! — воскликнул Рихард.— Я мог бы сам...

— Какая разница! — пожала плечами она.

— Ну, раз ты такая богачка, что швыряешься деньгами... — укоризненно начал было Рихард, но Герда прервала его:

— Да, перед «гастарбайтером» я богачка. И должна была поделиться с ним своим богатством.

— Откуда ты знаешь, что он «гастарбайтер»?

— Все они такие. Турки, итальянцы, алжирцы... Приехали в поисках куска хлеба.

— Я знаю, что их не любят в Германии. За то, что отнимают у немцев рабочие места.

— Да, да,— усмехнулась Герда,— не любят и говорят, что при Гитлере не было безработицы.

— Но ведь это правда? — вырвалось у Рихарда.

— Сущая правда! Сегодняшние безработные в те времена производили бы пушки вместо масла или гнили бы заживо в концлагерях.

Рихард промолчал и подумал: «Она — коммунистка!» Но — странное дело, он чувствовал, сознавал, что его ненависть к коммунистам не распространялась на Герду. Даже если бы она и была коммунисткой, его отношение к ней не изменилось бы. Рихард, готовый расстреливать из своего «вальтера» всех коммунистов, наверняка опустил бы пистолет, когда очередь дошла бы до Герды. «Да и никакая она не коммунистка! — успокоил себя Рихард.— Просто, как многие немцы, не любит нынешнее правительство. А разве мы, национал-демократы, его любим?»

Они молча принялись за спагетти, густо посыпанные тертым сыром, запивая их глотками белого, очень терпкого вина. Потом официант принес «капучино» — кофе в длинных, прозрачных стаканах, над которыми возвышались горки взбитых сливок.

— Почему ты вдруг замолчал? — неожиданно спросила Герда.

— Я не могу, Герда,— ответил Рихард, которого ее вопрос не застал врасплох.— Я все время мысленно разговариваю с тобой. Говорю, как рад, что мы снова встретились, что все это время думал о тебе, что уже несколько раз порывался позвонить по телефону, но боялся, понимаешь, боялся!

— Чего же?

— Твоего отказа. Твоих слов: «Позвони как-нибудь в другой раз».

— Теперь я бы уже так не сказала... — задумчиво произнесла Герда.— Похоронив мать и вернувшись домой, я почувствовала себя очень одиноко. И подумала: почему ты не даешь о себе знать?



— Это правда, Герда?

— Я бы не хотела, чтобы в наших отношениях была ложь.

Рихард ничего не ответил, но с горечью подумал, что все-таки они не совсем откровенны друг с другом. Она... она не до конца говорит ему о своих политических убеждениях, а он скрывает от нее горе, которое его постигло. И тем не менее как хорошо, что они сейчас вместе! Волнуясь, Рихард опять накрыл ладонью лежащую на столе руку Герды.

«Какая у нее мягкая кожа .. и рука такая теплая...» — подумал он.

— Не надо,— сказала Герда,— на нас смотрят.

— А мне наплевать, пусть! — горячо произнес Рихард.

Однако Герда убрала руку, несмотря на то, что ей было приятно его прикосновение. «В чем дело? — спросила она себя.— Что со мной происходит?»

Да, во время предыдущей встречи она не испытывала никаких особых чувств к Рихарду. Что же влечет ее к нему сейчас? Горе, столь неожиданно пришедшее со смертью матери, чувство одиночества? Но в последнее время она и так нечасто общалась с ней, не чаще, чем два-три раза в год вырывалась во Франкфурт. Однако Герда никогда не забывала, что мать существует, что она всегда рада ее приезду, хотя и не хочет переезжать к ней, в Мюнхен, покидать Франкфурт, где все напоминало ей о погибшем муже, срываться с насиженного в течение многих-многих лет места. Но и Герда не хотела покидать Мюнхен, где прилично зарабатывала и могла посылать матери небольшую сумму денег.

Теперь Герда уже никогда не увидит ее. Она снова подумала, какое это страшное, не знающее снисхождения слово «никогда»!

— Что ж, пойдем? — спросила Герда, когда кофе был выпит.

— Да, пойдем,— согласился Рихард.

Он подозвал официанта и поспешно, опасаясь, как бы Герда снова не полезла в свою сумочку, расплатился.

Когда они проходили мимо стоявшего теперь к ним спиной скрипача, Рихард сунул в карман его куртки десять марок.

Они вышли на улицу. Было еще не поздно, стрелки на часах Рихарда показывали всего без десяти десять.

— Давай погуляем немного,— предложил Рихард.— Видишь, какой хороший, теплый вечер! Специально для нас...

Он взял Герду под руку и повел в сторону, противоположную той, где стояла ее машина. Герда не сопротивлялась. Движением руки она слегка подтянула рукав своей кожаной куртки, и Рихард смог сжать своими пальцами ее оголившееся запястье. Хотя, судя по всему, они находились далеко от центральной части города, улица была хорошо освещена светом витрин магазинов, неоновыми рекламами...

Неподалеку Рихард увидел какой-то сквер. Между деревьями был виден свет. Очевидно, там располагалось какое-то кафе или пивная.

— Пойдем, посидим где-нибудь на скамейке под деревом.— И Рихард повел Герду в сторону сквера.

Герда подчинилась Рихарду столь послушно, что ему показалось, куда бы он ее ни повел, что бы ни предложил, она так же покорно подчинилась бы его желанию. Они уселись на скамье под старой ветвистой липой, и Рихарду захотелось, чтобы ее ветви скрыли его с Гердой от прохожих, от всего мира.

— Герда,— немного задыхаясь от вновь охватившего его волнения, сказал Рихард,— тебе может показаться, что я обманываю тебя, когда говорю, что не могу без тебя, не могу знать, что ты где-то рядом, но невидима и недостижима... Я понимаю, у меня нет никаких прав на тебя, я ни на что не могу надеяться... Да, мы провели долгие часы вместе в самолете. Потом встретились еще, но только один раз. И вот сейчас — это наша третья встреча. Только третья!.. Могу ли я поверить, что у тебя есть какое-то чувство ко мне? И можешь ли ты поверить в мою искренность? И потом, кто я такой? Недоучка, без специальности, без работы, живущий на деньги, которые посылают мне родители. Кому я нужен?

Он не придумывал, не подготавливал слова и фразы, которые про-

износил, они рождались где-то в глубине души и срывались с его губ как бы помимо воли... Да, так было, и Герда не могла не почувствовать этого.

— Мне тоже хорошо с тобой, Рихард,— тихо сказала она, чуть придвигаясь к нему. И тогда Рихард решился... Он обнял Герду, обнял не сильно, робко, едва касаясь ладонью ее плеча. Так они сидели, не произнеся больше ни слова, точно их души и в самом деле молча разговаривали между собой.

...Больше между ними ничего не произошло. Когда Герда подвезла Рихарда к его гостинице, он, прежде чем выйти, неуверенно сказал:

— Может быть, зайдешь ко мне, Герда? Всего на несколько минут.

Она отрицательно покачала головой.

— Тогда,— сказал Рихард, теряя последнюю надежду,— может быть, мы подъедем к твоему дому и я зайду к тебе? А потом я дойду домой пешком...

— Нет,— тихо, но решительно произнесла Герда. И после паузы добавила: — Не сейчас... не сегодня...

И вот Рихард снова в своей комнате. И снова один. Но это было уже совсем другое, непохожее на недавнее одиночество. Сознание, что он вновь обрел Герду, ощущение, что она и сейчас рядом с ним, не оставляли Рихарда ни на минуту. Он боялся потерять это ощущение, боялся, что его вновь захватят мысли, которые еще недавно так угнетали его. Он посмотрел на часы, увидел, что время близится к одиннадцати, и сказал себе: «Спать! Немедленно спать! Утром решу, что делать дальше».

Рихард быстро разделся и потушил свет. Но и в наступившей тьме ему чудился образ Герды. Ему хотелось как можно скорее уснуть, уснуть, пока Герда еще где-то здесь, рядом...

Сколько он проспал? Час, два, три?.. Рихард не смог бы ответить на этот вопрос. Он вздрогнул, как от сильного толчка, не сразу поняв, что именно его разбудило. Но спустя несколько секунд уже догадался: это телефон. Звонки следовали один за другим.

«Кто бы это мог быть?— с тревогой подумал Рихард.— Кому я понадобился среди ночи?»

— Алло, слушаю! — поспешно крикнул он.

— Это я,— услышал Рихард голос Клауса.— Ты что, нарочно не подходишь к телефону?

От звонка Клауса Рихард не мог ждать ничего хорошего.

— Я уже спал,— недовольным тоном ответил он.

— Спа-а-л?— удивленно протянул Клаус.

Рихард взглянул на часы: было двадцать минут первого — и резко ответил:

— А что я должен был бы делать в такое время?

— Ну, мало ли что! — с усмешкой, как показалось Рихарду, произнес Клаус.— Мог бы, например, посмотреть ночные «Последние известия».

— А что интересного я бы там увидел? — на этот раз уже почти грубо произнес Рихард.

Но на Клауса резкость тона Рихарда, видимо, совсем не подействовала.

— Ну, кое-что увидел бы, вернее, услышал. Например, о попытке коммунистов похитить из зала суда некоего Борха.

Рихард вздрогнул и крепче прижал трубку к уху.

— Что ты говоришь?— еще не до конца осознавая то, что сказал Клаус, переспросил Рихард.

— То, что ты слышишь. Красные совсем распоясались в нашей стране! И куда только смотрит полиция?! Диктор сказал: на суд напали коммунисты в масках, разбросали свои большевистские листовки, хотели похитить Борха, но им это не удалось. Борх снова заключен в тюрьму. Словом, интересное сообщение, прямо как детективный роман. Посмотрим, что завтра будет в газетах.

— Спасибо, что рассказал мне, Клаус! — взволнованно произнес Рихард.— Это все?

— А тебе этого мало? Ладно, желаю сладкого сна. Кстати, завтра заходи ко мне, я верну твою игрушку... Ну, этот... магнитофон. Все. Пока!



Короткие гудки возвестили, что Клаус положил трубку.

Какое счастье, что все так хорошо складывается! Рихард восстановил в памяти весь разговор и, вспомнив последнюю фразу Клауса, вдруг подумал с недоумением: «Какую игрушку он хочет мне вернуть?»

Ну, конечно же, Клаус имел в виду пистолет! Он хочет вернуть ему оружие! «Но это значит, что я прощен, окончательно прощен, мне не надо каяться перед товарищами, я не буду изгнан, мне это больше не угрожает, Клаус по-прежнему мне доверяет, я остаюсь в рядах борцов за Германию будущего! А Гамильтон? — неожиданно вспомнил Рихард.— Как быть с ним?»

«А очень просто! — ответил он сам себе.— Я никогда больше не встречусь с ним, я буду бросать трубку, если услышу его голос по телефону, ведь просто невероятно, что Гамильтон откроет кому-нибудь тайну моего рождения, ему это ни к чему... Так пусть отправляется в свою Америку, а я был и остаюсь сыном коренного немца, бывшего бригадефюрера СС Хорста Альбига, я родился Рихардом Альбигом и останусь им до конца своих дней!»

## *Герда*

С тех пор прошло больше двух месяцев. В начале каждого из них Рихард получал из Буэнос-Айреса от того, кого по-прежнему считал своим отцом, письма и довольно крупные денежные суммы, получил письмо и от Гамильтона, уже из Соединенных Штатов. Он писал Рихарду, что все его попытки встретиться с ним до отъезда или хотя бы поговорить по телефону ни к чему не привели и ему стало ясно, что Рихард избегает его. Одновременно с письмом на имя Рихарда от Гамильтона пришел довольно солидный денежный перевод. Присланные деньги Рихард тут же отправил назад, по адресу, указанному в письме.

После того, памятного Рихарду вечера, на другой день, он прочел в газетах сообщения, схожие по содержанию с той телепередачей, о которой ему рассказал Клаус. Большинство из них изложили происшествие в суде как попытку «красных» вызволить сообщника. Цель «акции» оправдалась. И лишь одна газета, которую Рихард не удосужился прочесть, коммунистическая «Унзере Цайт», охарактеризовала налет как нацистскую провокацию. Но Клаус, который показал Рихарду эту газету, сказал, что на нее не стоит обращать внимания, что тираж ее ничтожен, а занятая ею позиция никого не убедит.

Заметка в «Унзере Цайт» была напечатана без подписи как редакционная информация, но Клаус не без ехидства заметил Рихарду, что, «наверное, тут не обошлось без твоей Герды».

— Нет, уверен, что нет! — вырвалось у Рихарда.

— Откуда такая уверенность? Ты что, видел ее после того, как приехал в Мюнхен? — с подозрением спросил Клаус.

— Если бы заметку написала Герда, то она должна была бы находиться вчера в зале суда. И тогда я наверняка бы увидел ее. Да и ты тоже. Верно?

Клаус пожал плечами и ничего не ответил: видимо, довод Рихарда показался ему убедительным.

За время, прошедшее с момента того памятного свидания с Гердой, многое в жизни самого Рихарда изменилось. Он осуществил свое желание и с помощью Клауса приобрел за относительно небольшую сумму маленькую двухкомнатную квартиру в доме, принадлежавшем доживающему свой век бывшему национал-социалисту, знавшему, как оказалось, по совместной службе отца Рихарда, которого тогда еще звали Адальбертом Хессенштайном.

За квартирой последовала покупка машины, подержанного, прошедшего уже несколько десятков тысяч километров «оппеля-кадета». Текущий счет Рихарда в «Коммерц-банке» значительно «потощал», но все же обеспечивал ему безбедный прожиточный минимум, учитывая регулярные поступления из Буэнос-Айреса.

Все это время Рихард не раз встречался с Гердой в городе, стараясь организовывать свидания в таких местах, где почти не было шансов на случайную встречу с Клаусом. А потом... Потом Герда после очередного свидания подвезла Рихарда не к гостинице, в которой он тогда еще жил, а к своему дому. И тихо сказала: «Зайди!»

...Вот тогда это свершилось... Они ни о чем не договаривались заранее и, может быть, еще за полчаса не знали, не думали, что это произойдет.

Герда приготовила кофе, они сидели в ее однокомнатной квартире, в креслах возле маленького столика, на три четверти заваленного газетами и журналами. Они пили кофе молча, в последнее время Рихард получал особое удовольствие от этих бессловесных бесед, которые исключали какие-либо неожиданные вопросы, не заставляли Рихарда искать осторожные, окольные ответы. В эти минуты они, по крайней мере Рихард, чувствовали, что им хорошо вдвоем, просто хорошо без всяких попыток как-то выяснить, объяснить друг другу свое состояние.

А потом... уже потом они молча и опять-таки безмолвно лежали в темноте, время от времени освещаемые фарами проезжающих мимо дома автомашин. Наконец Рихард тихо, точно кто-нибудь, кроме Герды, мог его услышать, сказал:

— Милая моя! Я вот сейчас лежу и думаю, как это могло произойти, что мы бо́льшую часть нашей жизни не знали друг друга? Наверное, у бога слишком много было дел и он не смог раньше свести нас!

— Ты веришь в судьбу? — так же тихо спросила Герда.

— А ты?

— Нет, не верю. Человек в конце концов поступает так, как подсказывает ему разум.

— А сердце?

— Да, конечно, и сердце. Но и то и другое в отдельности может обмануть. А вместе — никогда.

— Ты всегда поступаешь так, как тебе велит разум и сердце?

— Я стараюсь так поступать.

Рихард просунул руку под голову Герды. А она стала гладить его лицо, едва-едва прикасаясь кончиками пальцев. Когда они доходили до губ Рихарда, он целовал ее пальцы и еще крепче прижимался к ней. Потом приподнялся и стал целовать ее глаза. И вдруг почувствовал на своих губах легкий соленый привкус. Он быстро высвободил руку, которой обнимал Герду, и положил обе ладони на ее глаза. Да, они, конечно, были влажными.

— Что с тобой, Герда, дорогая? — с испугом воскликнул Рихард.— Ты плачешь? Ты раскаиваешься в том, что случилось?

— Нет, Рихард, нет! — поспешно ответила Герда.— Прости меня. Прости, что в такой момент я вдруг вспомнила о своей бедной матери. Представила, как она лежит в земле... одна... одна в бесконечности. И я, ее единственная дочь, уже ничего не могу для нее сделать. Освободить от пластов земли... сбросить крышку гроба... помочь ей подняться, встать...

— Герда, родная моя, забудь об этом, забудь хотя бы на время, не растравляй свою душу!

Рихард мучительно думал, какие найти слова, что бы сказать, чтобы утешить ее. И вдруг у него вырвалось:

— У меня тоже недавно случилось горе. Я тоже потерял отца!

— Ты?! — с удивлением спросила Герда.— Но почему ты мне ни слова не сказал об этом? От чего он умер?

— Рак,— произнес Рихард первое пришедшее ему в голову. И тут же подумал о том, что опять сам же воздвиг между ними недоговоренность и умолчание.

— Но почему же,— с еще большим недоумением повторила Герда,— почему ты ничего не сказал мне об этом?

— Я не хотел прибавлять к твоему горю еще и свое,— продолжал лгать Рихард, одновременно уговаривая себя, что, по существу, говорит правду. Он крепче прижал к себе Герду и почти прошептал ей на ухо: — Герда, давай забудем... На какое-то время забудем о своих горестях. Мы оба не виноваты в том, что случилось. Давай думать о будущем! Ведь мы теперь очень близкие друг другу люди.



— Хорошо,— покорно согласилась Герда.— Попробуем забыть и думать о будущем.

Рихард нежно провел ладонью по ее ставшим уже сухими глазам, погладил ее голые плечи, как бы желая усыпить ее, отвлечь от грустных мыслей...

Да, все это время Рихард жил как бы двойной жизнью. Принимал активное участие в деятельности группы Клауса,— в налетах на коммунистические собрания, охраняя собрания национал-демократов, срывая по ночам предвыборные плакаты ГКП или рисуя на них свастику.

Он жил двойной жизнью и как бы в двух мирах. Одним из них был мир борьбы за восстановление Германии как четвертого рейха, за победу НДП на предстоящих выборах. В этом мире для Рихарда царил, распоряжался его судьбой Клаус, его приказы были для него непререкаемы...

Все, кроме одного: запрещение не только видеться с Гердой, но даже думать о ней. Потому что Герда с каждым днем все более и более олицетворяла для Рихарда другой, чуждый тому, первому, мир.

Нет, для Рихарда этот мир был далек от политики, он даже не интересовался, действительно ли Герда связана с компартией. Рихард знал, чувствовал лишь одно: ставшие теперь близкими отношения с Гердой задевали в его душе какие-то донные, неведомые ему струны, его безотчетно, неумолимо влекло к ней.

Ну, а Герда? Чем мог завоевать ее этот странный, импульсивный парень, сочетавший в себе зрелость мужчины с инфантильностью подростка? Очевидно, она сердцем ощущала всю глубину чувства, которое испытывал к ней Рихард, и противостоять этому чувству была не в состоянии.

Да, он еще не знал, что Герда была коммунисткой, членом Германской коммунистической партии. И, хотя Рихард никогда прямо не говорил ей о своих симпатиях к НДП, она подсознательно чувствовала, что он придерживается чуждых ей политических взглядов. Но и она, и он, подобно двум кораблям, идущим по изобилующим мелями и подводными рифами житейскому морю, сознательно и в то же время инстинктивно избегали опасных мест, старательно их обходили.

Может быть, Рихард думал, что своей любовью, пусть не сейчас, позже, но все же сумеет привлечь ее на свою сторону и политически? Но, может быть, Герда то же самое думала о Рихарде?

Так или иначе они продолжали встречаться. Когда Герда разрешила Рихарду приходить к ней домой, ему стало легче соблюдать свою тайну от Клауса. Тем более что после истории с Борхом тому не в чем было упрекнуть Рихарда. Он аккуратно, дисциплинированно выполнял все решения группы и личные приказания Клауса. Рихарду казалось, что чем активнее он будет принимать участие в «акциях», чем безжалостней будет к врагам национал-социализма, тем менее преступной станет его связь с Гердой, тем скорее искупит он позор своего рождения.

Утром одного из августовских дней толпы народа стояли на тротуарах Мюнхена. Люди, запрокинув головы, смотрели в голубое небо, в котором хорошо различимый самолет проделывал фигуры высшего пилотажа.

Время от времени он оставлял за собой струю белого дыма, рисуя огромные буквы: НДП.

Такую «воздушную рекламу» жители города видели впервые. Самолет время от времени исчезал, очевидно, продолжая свой акробатический полет над другими, соседними городами, потом возвращался вновь, оставляя за собой белый след — НДП.

Днем телевидение сообщило, что самолет пилотировался старым немецким летчиком ГельмутомВаскампом, который, заключив соответствующий договор с руководством НДП, в солнечные дни стартовал с дюссельдорфского аэродрома и на своем одномоторном самолете «АТ-6» «отрабатывал» количество закупленных букв.

Вечером телевидение передало интервью с Васкампом. На вопрос, не чувствует ли он угрызений совести, рекламируя столь близкую нацизму партию, старый летчик ответил: ничего подобного он не испытывает, что «все эти разговоры о нацизме — полная чушь, да к тому же НДП, во всяком случае, лучше, чем ГКП».

На другой день последовало новое сообщение, связанное с Васкампом. На этот раз телевидение известило, что его корреспондент обратился к муниципальным советам городов, над которыми совершал свои полеты Васкамп, с вопросом о законности такого рода пропаганды. И получил ответ, что в законе имеются лишь подробные предписания, касающиеся рекламных полетов с транспарантами и листовками, но нет ничего, что касалось бы надписей в небе.

На соответствующий вопрос, адресованный телевидением самому фон Таддену, тот самоуверенно ответил, что не видит в полетах Васкампа никакого криминала, поскольку «НДП — это нормальная партия в рамках нормальной демократической системы», и резко критиковал мюнхенскую газету «Байернкурир», которая констатировала в программе НДП «роковые параллели с коричневым прошлым».

...Днем на квартире Клауса состоялось очередное собрание группы. Клаус сказал, что руководство одобрило предложенный им от имени группы план захвата какого-нибудь универмага, и приказал, чтобы за предстоящую неделю, оставшуюся до реализации плана под кодовым названием «Супермаркет», члены группы выбрали подходящий магазин, познакомились бы с расположением прилавков, кабин для примерки одежды, входов и выходов...

Рихард с нетерпением ждал окончания собрания. На вечер у него было назначено свидание с Гердой. Даже после приобретения квартиры Рихард остерегался приглашать ее к себе домой, где всегда можно было ожидать внезапного, без предварительной договоренности, посещения Клауса.

К восьми вечера Рихард поехал к Герде, оставил свою машину на параллельной улице, включил противоугонную «секретку» и пошел к дому, где жила Герда, пешком.

Она, увидев Рихарда, развела руками, сказала, что дома у нее ничего нет, даже кофе, что она лишь полчаса назад вернулась из редакции своего «женского журнала», очень спешила, боялась, что Рихард ее не застанет, и поэтому ничего съестного по дороге не купила.

Герда призналась, что хочет есть, Рихард ответил, что тоже еще не обедал, и они решили пойти в тот самый, расположенный неподалеку в сквере, на открытом воздухе, ресторанчик, защищенный от любопытных взглядов густыми кронами деревьев.

Еще совсем недавно они с Гердой сидели неподалеку от этого кафе или ресторана на скамейке, укрытые густыми ветвями деревьев. Это была их «переломная» встреча...

Они вышли из дома и направились в сквер, туда, где меж деревьев пробивался свет расставленных на столиках свечей. Сев за столик, заказали самую обычную немецкую еду — сосиски с тушеной капустой, пиво, несмотря на то, что Герда его не любила, и кофе.

Все главное между ними уже было сказано, и сейчас они просто наслаждались тем, что снова вместе... И в этот момент раздался чей-то громкий возглас:

— Герда!

Рихард вздрогнул. Привычный страх, что его может увидеть с Гердой если не сам Клаус, то кто-нибудь из членов группы, охватил Рихарда. Он поспешно огляделся и увидел, как из-за одного из столиков, едва заметных среди зеленых ветвей, встал какой-то человек и направился к ним.

При тусклом свете свечей Рихард не сразу разглядел его лицо, не смог определить, молод или стар. На нем был хорошо сшитый костюм из поблескивающей материи.

— Чао, Герда! — сказал он, подходя вплотную к столику, за которым сидели они с Рихардом.— Как ты сюда забрела?

Рихард увидел, что человек этот молод, лет тридцати, не больше, аккуратно подстрижен и причесан.

По фамильярности его тона, по тому, что он называл Герду на «ты», Рихард понял, что они старые знакомые.

— Ты отлично знаешь, Герберт, что я живу тут рядом.

— Да, это я знаю. Но, может быть, ты познакомишь меня со своим кавалером? — Герберт иронически сощурил глаза.



— Это не мой кавалер, а просто хороший знакомый,— сухо ответила Герда.— Его зовут Рихард Альбиг.

— Хелло, герр Альбиг! — прежним своим тоном произнес Герберт и протянул Рихарду руку. Тот встал и пожал ее.— Вот что, друзья,— весело проговорил Герберт,— а можно я присоединюсь к вам? Я один, окруженный свечами, точно покойник в гробу.

Рихард заметил, как дрогнули губы Герды, и подумал, что этот Герберт, наверное, не знает о ее недавнем горе, иначе не стал бы напоминать о покойниках. Тем не менее Герда гостеприимно сказала:

— Давай перебирайся к нам!

Герберт быстро перетащил свою тарелку и недопитую кружку пива на их столик, сел на свободное плетеное кресло и, подняв кружку, провозгласил:

— Ну, прозит. За знакомство!

Они с Рихардом сделали по глотку каждый.

— А что делаешь в этом районе ты? — спросила Герда.

— Если говорить откровенно, хотел повидать тебя. Но наткнулся на запертую дверь.

— Почему же ты сначала не позвонил?

— Сам не знаю,— с улыбкой пожимая плечами, ответил Герберт.— Я был на совещании. А когда оно кончилось раньше, чем ожидалось, вышел на улицу, вспомнил, что ты живешь тут неподалеку, и решил зайти, как говорится, «на огонек». Но никакого «огонька» не было, ты в это время уже пировала здесь. К счастью, я проголодался, иначе не забрел бы сюда, в этот «эдем», и не увидел бы тебя.

Рихарду не понравилось, что они — Герберт и Герда — разговаривали сейчас друг с другом, как бы забыв о его присутствии. И он решил вмешаться в разговор, причем сделал это не самым удачным образом. Рихард спросил, обращаясь к Герберту на «вы»:

— А что за совещание у вас было?

— Ну... в связи с предстоящими выборами,— ответил Герберт.

Рихард заметил, что при этом он вопросительно посмотрел на Герду, а та сделала еле заметный отрицательный знак головой. Рихард почувствовал острую неприязнь к этому Герберту. Ему захотелось спровоцировать его, вызвать на политический разговор, заставить раскрыться.

— Видели вчера самолет, который рисовал в воздухе буквы?

— НДП? — спросил Герберт.— Один из предвыборных трюков так называемых национал-демократов.

— Рихард плохо осведомлен о наших межпартийных распрях,— поспешно вмешалась в разговор Герда.— Он недавно приехал из Аргентины. Хочет поступить в наш университет. На исторический.

— А-ах, вон оно что! — с пониманием и вместе с тем с удивлением произнес Герберт.— Значит, вы познакомились, когда ты была там, в Аргентине?

— Мы познакомились в самолете, на пути в Германию.

То, что между Гердой и Гербертом явно существовали какие-то отношения, и ироничный, насмешливый тон, которым говорил, обращаясь к нему, Рихарду, этот человек, и тот самый кивок, которым Герда явно дала знать Герберту, чтобы тот не распространялся на политические темы,— все это, вместе взятое, вызвало у Рихарда еще большее раздражение.

Ему стало казаться, что если он не перейдет в наступление, то явно уронит себя не только в глазах Герберта, но и Герды. Еще совсем недавно зорко следивший за тем, чтобы не выдать Герде своих политических взглядов, не говоря уже о прямом участии в деятельности НДП, Рихард сейчас хотел только одного: любым способом как-то скомпрометировать этого Герберта в ее глазах.

— По-вашему, НДП не имеет права на предвыборную кампанию? Это вы называете демократией? — глядя прямо в глаза Герберту, едко спросил Рихард.

— Ну,— с коротким смешком ответил тот,— по-моему, НДП и демократия — понятия, далекие друг от друга так же, как северный и южный полюса.

«Он коммунист,— подумал Рихард.— несомненно, коммунист!» Тот факт, что Рихард видел перед собой живого врага, раздразнило его еще больше.

— Почему вы с такой злостью говорите об НДП? — спросил он. — Насколько я знаком с программой НДП, она просто отстаивает право народа Германии на формирование своей судьбы.

— Поживете в нашей стране подольше, тогда поймете, что к чему, — снисходительно произнес Герберт.

— Вы, как я догадываюсь, коммунист?

— Гм-м, — неопределенно промычал тот и сказал уже внятно: — Во всяком случае, в чем-то сочувствующий.

— Друзья, перестанем говорить о политике, — неожиданно вмешалась в разговор Герда. — Давайте лучше закажем еще пива... или кофе.

Но Рихард и Герберт как бы пропустили ее слова мимо ушей.

— Значит, вы сочувствуете и захватнической политике коммунистов? Их насильственным притязаниям? — продолжал провокационные вопросы Рихард.

— Что вы имеете в виду?

— А вам неясно? Значит, вы не считаете захват исконных немецких земель и расчленение Германии насильственными действиями? Вы за признание окончательного раздела Германии?

— Послушайте, герр Альбиг, — спросил, уже не скрывая своей неприязни, Герберт, — вы что, национал-демократ?

— Я... я просто немец, человек, который считает, что примирение с этим разделом означает предательство интересов народа!

Герберт ничего на это не ответил, наступило напряженное молчание...

Стремление этого Герберта высмеять политические взгляды Рихарда, непроницаемую завесу которых он так неосторожно приоткрыл, свидетельствовало не только о явной враждебности Герберта этим взглядам, но и о желании унизить его, Рихарда, высмеять перед Гердой. И та не произнесла ни слова в его поддержку, даже не постаралась дать ему понять, что Герберт просто ее старый знакомый, может быть, сослуживец и только...

На другой день, вечером, приехав домой к Герде, Рихард попытался заговорить о вчерашней встрече, иронически, неприязненно отозвался о Герберте, стараясь по тому, как будет реагировать на это Герда, определить ее подлинное к нему отношение. Но ничего подозрительного не заметил. Герда сказала, что уже давно знакома с Гербертом, что он работает в издательстве, издающем «женский журнал», и что никогда не интересовалась его политическими взглядами, хотя и предполагает, что они достаточно «левые».

«Нет! — уже несколько успокоенный, сказал про себя Рихард. — Между ними ничего нет. Так притворяться Герда бы не смогла».

...Расставшись с Гердой после полуночи, Рихард вернулся домой, а на другой день с утра приехал на своем недавно приобретенном «опеле» в центр города, оставил машину в одном из переулков и, выполняя поручение Клауса, стал обходить встречающиеся ему, расположенные на первых этажах универсальные магазины, стараясь определить, какие из них наиболее подходят для предстоящей на следующей неделе «акции».

Но к вечеру, когда Рихард вернулся домой, в свою новую квартиру, мысли о Герде и Герберте снова нахлынули на него. Ему стало казаться, что Герберт сейчас находится у Герды или она ждет его прихода. Сначала Рихард решил позвонить ей, но тут же понял, что в этом случае ничего не сможет узнать. И вдруг ему пришла в голову нелепая мысль: он сейчас, немедленно должен поехать к дому Герды и проследить, не войдет ли в него Герберт или не выйдет ли он из подъезда.

Он быстрым шагом дошел до ее дома и занял наблюдательный пункт в подворотне одного из дворов, на противоположной стороне. Отсюда он хорошо видел подъезд и окна первого этажа дома Герды. Окна были освещены — значит, она у себя.

Как уже не раз в последнее время, Рихард находился сейчас в состоянии «амока» — смятения чувств. Он не думал о том, сколько ему придется ждать. Сейчас было около восьми вечера. Если Герберт появится, думал он, то скоро, а если он уже у Герды, то выйдет из подъезда, возможно, часам к двенадцати ночи. Рихард установил себе контрольный срок — с восьми до двенадцати — четыре часа.

Единственное, что Рихард еще не решил, это что он сделает, если увидит Герберта приближающимся к подъезду или выходящим из него. Да он и не думал об этом сейчас. Им владело непреодолимое желание, своего рода категорический императив: убедиться в верности или неверности Герды.

Не думал Рихард и о нелепости своего намерения: ведь если даже предположить, что между Гердой и Гербертом существовала какая-то интимная связь, то почему они должны были встретиться именно сегодня вечером, а не завтра или в любой другой день недели? И почему, если Герберт придет к Герде сегодня, то должен уйти к двенадцати, а не остаться у нее до утра?..

Рихард не помнил, сколько он простоял таким образом, переводя взгляд с подъезда на освещенные окна Герды... Иногда ему казалось, что он видит за тюлевыми шторами, прикрывавшими эти окна, сначала силуэт Герды, потом еще какой-то другой, силуэты двигались, приближались друг к другу, сливались воедино... Один раз Рихард не выдержал и перебежал на противоположный тротуар, чтобы оказаться рядом с окнами... Но, простояв под ними несколько минут, понял, что эти силуэты были просто игрой его воображения.

Лавируя в потоке движущихся машин, Рихард вернулся на свой наблюдательный пункт.

...Он не заметил, каким образом возле него оказался полицейский.

— Что вы здесь делаете, майн герр? — сверля Рихарда взглядом и держа правую ладонь на кобуре пистолета, спросил он. — Я наблюдаю за вами уже около двух часов. Мой пост на той стороне улицы.

Все это было для Рихарда столь неожиданно, что он не сразу сообразил, что ответить. Потом сбивчиво произнес:

— Я... у меня... Мне здесь назначено свидание. — И добавил уже более определенно: — С девушкой.

— Если девушка не приходит на свидание в течение двух часов, то она недостойна того, чтобы уважающий себя мужчина ее ждал. Если, конечно, у нее нет уважительной причины.

— Да, да, вы правы, — уцепившись за последнюю фразу полицейского, быстро проговорил Рихард. — Наверное, с ней что-то случилось... Может быть, заболела. Я сейчас уйду, господин полицейский, и позвоню ей из дома по телефону.

— На вашем месте я сделал бы это по крайней мере полтора часа назад, — снисходительно заметил полицейский.

### *Выстрел*

Предвыборная борьба в Германии разгоралась. Теперь против НДП стали наиболее активно выступать профсоюзы. В Эссене, например, НДП арендовала большой зал, чтобы провести очередной предвыборный митинг. Но когда члены партии подъехали на автобусах, то оказалось, что зал заседаний заняли две тысячи рабочих и проводят там свое собрание.

Американская «антикоммунистическая лига» прислала в Германию своего представителя, профессора из Чикаго, который на большом митинге, организованном НДП в Даррингене, произнес речь, почти целиком напечатанную в «Дойче Националь Цайтунг», в «Дер Таг» и в «НДП Курир».

В этой речи искушенный в красноречии профессор заявил:

«...Если НДП обзывают нацистской партией, то такой ярлык ей приклеивают не за границей: это делают здесь, в Германии... Мы, американцы немецкого происхождения, — продолжал оратор, — и поныне храним верность Германии и боремся за ее восточную территорию. Мы от этого не отступимся, потому что землю, которую немцы возделывали на протяжении восьмисот лет, нельзя просто так отдать за какие-нибудь два десятилетия. И если находятся политические деятели, которые уже сейчас готовы отказаться от этих территорий, то — не обижайтесь на меня — в моих глазах они предатели!»

Профессор закончил свою речь следующими словами:

«В рамках демократической системы нельзя запретить партию, будь то христианские социалисты, социал-демократы или какую-либо другую. Все они имеют право на свое мнение и на деловую дискуссию. И если против этой новой национальной партии всеми средствами ведется борьба, то мы должны сказать: видимо, кое-кто в Бонне чувствует, что под ним шатается стул...»

Еще в недавнем прошлом многое говорило о том, что НДП идет от успеха к успеху. Ее представители стали депутатами в ландтагах Рейнланд-Пфальца, Шлезвиг-Гольштейна, Нижней Саксонии, Баден-Вюртенберга, а также в парламенте Бремена. Но в 1969 году положение стало меняться. Если еще совсем недавно наиболее право настроенные избиратели отходили от ХДС/ХСС вследствие создания «Большой коалиции» и стали поддерживать НДП, соблазненные ее радикальными обещаниями в кратчайшие сроки не только ликвидировать безработицу, но и вообще восстановить былое могущество Германии, то, убедившись, что слова остаются только словами, обманутые в своих ожиданиях, перестали поддерживать НДП.

Более того, «Большая коалиция», то есть ХДС/ХСС совместно с социал-демократами, перешла к более гибкой «восточной политике», сделала проблему формирования отношений с социалистическими странами предметом широких, открытых дискуссий, это тоже возбудило брожение умов, в особенности у тех немцев, которые до сих пор воспринимали как «истинно германские» только лозунги НДП.

Снова в повестку дня различных митингов и дискуссий стала нота Советского правительства правительству ФРГ, с которой Москва выступила еще два года назад в связи со съездом НДП в Ганновере. В этом документе Советское правительство напоминало и правительству Федеративной республики, и правительствам ряда других стран — тех, кто раньше входил в антигитлеровскую коалицию, а теперь объединенных в агрессивном блоке НАТО,— об их международно-правовом долге.

Но тот факт, что советская нота была оставлена Бонном и вообще странами НАТО без внимания, усилил в ФРГ антифашистскую борьбу, активизировал профсоюзы. Антифашистские настроения в стране все более усиливались. В 1968 году в Мюнхене был создан комитет «Январь-68». Его председателем стал писатель и президент «Немецкой лиги в защиту прав человека» Франк Арнау, а заместителями — баварский профсоюзный деятель Ксавер Зенфт и писатель Бернт Энгельман. В связи с тридцать пятой годовщиной прихода нацистов к власти «Январь-68» провел в Мюнхене антифашистскую демонстрацию. В том же году в Дахау состоялся Европейский слет протеста против фашизма и неонацизма. В нем участвовали 15 тысяч человек. Его участники выступили за европейскую безопасность и взаимопонимание между народами...

Какой вывод сделало из всего этого руководство НДП? Только один и главный: надо действовать — объявить беспощадную войну антифашистам и прежде всего коммунистам, натравить на них ту часть еще окончательно не сформировавшего своих взглядов населения, которая смогла бы сыграть решающую роль на выборах в сентябре нынешнего, 1969 года.

Неоштурмовики из группы Клауса, конечно же, не проникали в хитросплетения западногерманской политики. Но, связанные через тайные каналы с ее различными сторонами, они глубоко усвоили главную цель своего нынешнего существования. Эта цель определялась двумя словами — провокации и террор.

«Политика» группы Клауса, если ее действия можно было называть этим словом, развивалась в двух направлениях: во-первых, показать населению, что НДП существует, что она является единственной в Германии партией дела, а не слова, а во-вторых, восстановить немцев против Коммунистической партии Германии. Для этого они прибегали к несколько однообразным, но обычно успешным провокациям,— вступали в драки с коммунистами и социал-демократами, громили книжные магазины, в том числе и принадлежавшие НДП, и обязательно оставляли на месте преступлений листовки, из которых следовало, что инициатором драк и погромов неизменно была Германская компартия.

Рихард целиком одобрял тактику НДП и если видел в ней какие-нибудь недостатки, то прежде всего в том, что главное направление ее политики, то есть явный, почти открытый террор, несколько отставало от акций чисто пропагандистского характера.

«Действовать, надо действовать!» — неоднократно повторял мысленно Рихард. Он сравнивал заискивающие, как ему казалось, интервью и речи фон Таддена, нынешнего руководителя НДП, со множеством оговорок чисто парламентского характера и думал о том, как бы повел себя на его месте подлинный вождь, то есть фюрер...



Когда Рихард узнал из газет, что в Касселе Клаус Коллей, один из телохранителей фон Таддена, выстрелил в двух антифашистов, то этот неизвестный Рихарду Коллей стал на какое-то время его героем...

Он спрашивал себя: почему прошлогодний налет на здание, где помещалось боннское бюро ГКП, налет, сопровождавшийся стрельбой по окнам, не имел никакого продолжения? Почему подобные акции не производятся сейчас?

Рихард, этот еще молодой, но уже сформировавшийся нацист, никак не мог понять, усвоить разницу между Германией далеких двадцатых — тридцатых годов и нынешней ФРГ, хитросплетения боннской политики казались ему легкоразрешимыми, если десятки тысяч людей возьмут в руки пистолеты и дубинки...

За два дня до предполагаемой «акции», налета на универмаг, основной состав группы Клауса вновь собрался у него на квартире.

Каждому было предложено слово для сообщения, какой именно универмаг он предлагает в качестве объекта для нападения. Одно за другим предложения отвергались по различным причинам: или в предлагаемом районе было слишком много полицейских постов, или пути отхода оказывались неудобными, или кассы предлагаемого магазина располагались слишком близко одна от другой.

Общее одобрение вызвал только один план, тот, который предложил Рихард. Он недаром потратил много времени, обходя «супермаркеты». В «его» магазине было только два входа и выхода, кассы находились на значительном расстоянии друг от друга; только в двух местах, на серых, поддерживающих потолок колоннах, под стеклом, располагались кнопки противопожарной сигнализации, хотя это, конечно, не исключало наличия под прилавками другой сигнализации, связанной с полицией.

Клаус предложил, не теряя времени, всем вместе отправиться и осмотреть этот магазин, а через полтора часа вновь собраться и обсудить все еще раз.

Предложенный Рихардом объект, как выяснилось, удовлетворил всех. Затем Клаус провел последний инструктаж. Он сводился к тому, что члены группы должны, как и при налете на суд, получить у него оружие, иметь при себе маски-чулки. Сигналом для того, чтобы надеть их и приступить к действиям, послужит отданный через мегафон приказ Клауса «Всем лечь!» и предупредительный выстрел в воздух, который произведет он же.

Одновременно все должны будут натянуть маски, выхватить оружие и направить его на тех, кто к этому времени будет находиться в магазине; трое должны стоять у касс и держать под прицелом кассиров, двое других блокируют застекленные двери и наклеивают изнутри объявление «Закрыто», чтобы никто с улицы не мог ни войти в магазин, ни выйти из него. Остальные изымают из кассы все имеющиеся там деньги.

На всю операцию отводится пятнадцать минут. Затем по команде «Отход!» все разбрасывают листовки и устремляются к дверям, оказываются на улице, стараются смешаться с прохожими или скрываются в ближайших дворах или подъездах.

Сбор для подведения итогов операции на другой день в девять утра здесь, на квартире Клауса. Захваченные деньги необходимо принести с собой.

Затем посыпались вопросы. Клауса спрашивали, в каких случаях можно будет пустить в ход оружие, не целесообразно ли дать очередь из автоматов поверх уложенных на пол людей, чтобы сразу же парализовать их волю к какому-либо сопротивлению, и, главное, что будет написано в листовках, поскольку прежние тексты вряд ли подойдут: изъятие денег не характерно для тактики коммунистов. Когда был задан именно этот вопрос, Клаус встал из-за стола, вышел в соседнюю комнату и, вернувшись с листовкой, сказал, поднимая руку:

— Это копия с оригинала. Оригинал заканчивают печатать в типографии. А копию я вам сейчас прочту.

И Клаус, по-прежнему стоя, начал читать:

— «Немцы! Мы, члены единственной до конца честной партии Герма-

нии — НДП, приносим свои извинения за экспроприацию некоторых находившихся в кассах сумм. И мы, и вы знаем, что террор, ограбления и т. п. чужды нашей партии, — это свойственно коммунистам и прочим левакам, желающим обобрать и физически уничтожить своих политических противников, а честных предпринимателей лишить их собственности, которая в цивилизованном государстве является священной. Но у нас нет выхода. Избирательную кампанию коммунистов, социал-демократов и прочих врагов Германии, как известно, субсидируют Москва, так называемая ГДР и компартии других стран. Мы же — НДП, партия порядка, можем использовать в своей мирной деятельности только добровольные пожертвования своих членов. А за аренду помещений для собраний, за изготовление предвыборных плакатов и за все другое надо платить. Мы остались без средств. А выборы, как говорится, на носу. Поэтому мы позволили себе занять деньги у немецких налогоплательщиков, которые выиграют гораздо больше, если НДП получит места в бундестаге. Итак, простите нас!

Национал-демократическая партия Германии».

Окончив чтение, Клаус опустил руку с зажатой в пальцах листовкой и после паузы спросил:

— Ну как?

Какое-то время все молчали, точно ошарашенные. Как, открыто признаться, что вину за ограбление магазина берет на себя НДП?! Почувствовав общую растерянность, Клаус усмехнулся, снова занял свое место за столом и, положив перед собой листовку, поучительно сказал:

— Вы, кажется, слишком привыкли к штампам в нашей оперативной работе. А надо отвыкать. В чем сила этой листовки? В том, что, признаваясь в своей акции, мы аргументируем ее тем, что коммунистов кормят Москва и ГДР. И что если, упаси боже, они выиграют на выборах, то ФРГ грозит превращение в советского или восточногерманского сателлита. Добавлю, что текст этой листовки, с которым я вполне согласен, составлен не мной, а с помощью наших руководителей и... американских друзей.

Именно эти последние слова Клауса привлекли особое внимание Рихарда. Ему уже давно было ясно, что между спецслужбами Соединенных Штатов и НДП существует тайная связь. И, более того, несомненно, какая-то связь существовала между американскими и германскими спецслужбами. Потому что в ином случае трудно было предположить причину, по которой «акции» НДП, как правило, проходили без особых для нее последствий, если не считать столкновений с обычной полицией и шума, поднимаемого газетами.

В то время как остальные члены группы, оправившись наконец от непривычного для них содержания листовки, начали задавать Клаусу различные вопросы и высказывать свои сомнения, Рихард взял лежавшую на столе листовку, внимательно ее перечитал и сказал:

— Я голосую за эту листовку!

В конце концов к его мнению присоединились и остальные.

... На другой день члены группы получили от Клауса оружие и пластмассовые сумки-пакеты, в которые были уложены листовки. Вручая Рихарду его «вальтер», Клаус с многозначительной улыбкой сказал:

— Надеюсь, на этот раз ты докажешь, что умеешь им пользоваться.

Вечер, предшествующий налету, Рихард провел один в своей маленькой квартире. Он не звонил Герде с того времени, как они были в кафе «Под липами». Что же удерживало его? Во-первых, чувство стыда после слежки за ее домом. Стыд при воспоминании о том, как он, будто ожидающий подаяния нищий, два часа проторчал в подворотне, вместо того чтобы зайти к Герде и рассеять свои подозрения или убедиться в их справедливости. Но он не зашел... И кто знает, может быть, именно в это время Герберт был у нее или пришел позже, когда его, Рихарда, уже прогнал полицейский...

И, кроме того, завтра предстояла «акция». Не думать о ней он не сможет, даже если рядом будет Герда. Значит, снова раздвоенность! А смысл своего общения с Гердой Рихард видел прежде всего в слитности, не только в физической близости, но именно в слитности душ...

Рихард, не раздеваясь, лег на постель, закрыл глаза и стал думать о завтрашней «акции». Итак, они входят в застекленные двери...



... Итак, они вошли двумя группами в обе двери разом. Большинство членов группы было вооружено пистолетами, двое скрывали под своими куртками автоматы «Узи». В пластмассовых сумках лежали листовки.

Рихард помнил последнее напутствие Клауса: операция может пройти успешно только в том случае, если займет максимум 15 — 20 минут, желательно даже меньше. В ином случае они так или иначе привлекут внимание полиции. А если ей удастся блокировать входы и выходы, вся группа окажется в мышеловке и придется вступить в перестрелку с полицией, что вовсе не входило в планы «акции».

Итак, все шло по расписанию. Рихард и еще двое членов группы прошли в дальний конец магазина, к серой колонне, близ которой находилась одна из касс. Здесь помещался отдел готового платья. Покупатели снимали вместе с вешалками пальто, куртки и примеривали их тут же или забирали с собой в прикрытые легкими шторами специальные кабинки-примерочные.

Рихард не видел, как оставшиеся у дверей члены группы сразу заперли их изнутри на задвижки и наклеили объявления «Закрыто».

Ему казалось, что время тянется очень медленно, но фактически прошло лишь три — пять минут до того, как раздался громкий, усиленный мегафоном голос Клауса: «Всем лечь!»

Следом прозвучал негромкий, очевидно, пистолет Клауса был снабжен глушителем, выстрел.

...Сначала легли не все. Многие, очевидно, еще не отдавали себе отчета в происходящем и растерянно озирались. Тогда Рихард выстрелил поверх голов людей — пуля ушла в противоположную стену — и зычно крикнул:

— Всем лечь!

Люди стали поспешно опускаться на пол, некоторые были с детьми и старались прикрыть их своими телами...

Через минуту-другую все, в том числе и кассирша — объект особого внимания Рихарда, — лежали на полу. Рихард видел, как его товарищи в масках обегают кассы и засовывают в карманы захваченные деньги... Операция пока что проходила удачно и приближалась к концу.

В этот момент Рихард заметил, как лежащий у основания колонны рослый, светловолосый молодой человек стал медленно подниматься на колени с явным намерением встать и дотянуться до выделяющейся на сером фоне красной кнопки пожарной тревоги. И вдруг... вдруг Рихарду показалось, что лицо этого человека ему знакомо. Спустя еще мгновение Рихард уже не сомневался, что это был Герберт, да, да, тот самый проклятый Герберт, который отравил его отношения с Гердой, враг — не только по убеждениям, но и враг личный. Чувство ненависти охватило Рихарда. Он забыл обо всем, забыл все указания Клауса, не видел лежащих на полу, обхвативших головы руками людей, перед глазами его маячил сейчас только Герберт, который уже успел встать на колени, втянув голову в плечи, и рука которого медленно шарила по поверхности колонны.

— Лежать! — истерично выкрикнул Рихард. Но на Герберта это не произвело никакого впечатления. Больше того, он уже сделал движение, чтобы подняться с колен, теперь его ладонь отделяли от кнопки какие-нибудь два десятка сантиметров.

На весь магазин прозвучал голос Клауса:

— Отход!

И тогда Рихард снова выстрелил. На этот раз прямо в него, в этого проклятого коммуниста, его соперника... Тот рухнул на пол.

Все, кто был в масках, кинулись к дверям, на ходу разбрасывая листовки. Потом к ним присоединился и Рихард. Достигнув дверей, они стянули с голов свои маски и бросились в открытые теперь двери на улицу.

Оказавшись на тротуаре, они увидели спешащих к магазину полицейских, на ходу вытаскивающих пистолеты и дубинки. Откуда-то издалека донеслось завывание полицейской сирены.

На проезжей части напротив магазина столпились люди, привлеченные выстрелами, донесшимися из-за закрытых дверей магазина.

Вместо того чтобы бежать прочь, Рихард нырнул в толпу и остановился там среди людей. Это был ловкий ход. В то время как полицейские устремились в погоню за теми, кто бросился врассыпную, Рихард спокойно стоял в толпе, наблюдая, как из дверей магазина стали наконец выхо-

дить задержанные там покупатели, взлохмаченные, растерянно озиравшиеся, как вскоре подъехала полицейская машина, а несколько минут спустя и фургон «скорой помощи». Затем пришла машина телевидения.

Не став дожидаться того, что произойдет дальше, Рихард выбрался из толпы и спокойно, неторопливо направился к своему оставленному за два квартала от магазина «оппелю».

Вскоре он уже был дома.

...До сих пор Рихард держал себя в руках. Но, повернув ключ от входной двери и перешагнув порог своей квартиры, он вдруг почувствовал, как сильно бьется его сердце. Стук его ощущался не только в груди, но и в висках, руках — словом, во всем его теле.

Рихард опустился в кресло и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, как после напряженной физической зарядки, поднимая и опуская на колени кисти рук.

Но сердцебиение не проходило.

Сидя в кресле и закрыв глаза, Рихард как бы заново переживал все происшедшее. Ему вдруг стало казаться, что полицейские заметили его, преследовали его машину и с минуты на минуту ворвутся сюда, к нему, в его квартиру.

Рихард уговаривал себя, убеждал, что это нелепость, что никто не мог его заметить, когда он стоял в толпе или шел к своей машине.

Но о чем бы сейчас ни думал Рихард, какие бы картины ни восстанавливал в памяти, на первый план все время выступала одна: рухнувший на пол после выстрела Герберт.

Он убил его! Конечно, убил! Потому что стрелял почти в упор. Ну, а что ему оставалось делать? Дожидаться, пока тот нажмет кнопку пожарной сигнализации? «Нет, я поступил правильно, другого выхода не было»,— убеждал себя Рихард.

Он гнал от себя мысль о том, что выстрелил в Герберта именно потому, что узнал его, что им руководила возможность, желание — пусть подсознательное — уничтожить человека, чье существование отравило ему жизнь, его отношения с Гердой, внезапно вставшего между ними.

Рихард позвонил Клаусу, чтобы узнать, всем ли участникам «акции» удалось благополучно скрыться. Но телефон Клауса не отвечал.

Позвонить Герде? Сделать это было не в его силах. Он не сможет говорить с ней как ни в чем не бывало. «Позвоню завтра»,— сказал себе Рихард, а если она сама сообщит ему, что во время налета на магазин был убит Герберт, что ж... придется разыграть удивление, высказать соболезнование... Но хватит ли у него сил сохранить в этом разговоре самообладание? Рихард не мог ответить на этот вопрос, только, представляя, что слышит голос Герды, снова почувствовал сердцебиение.

«Нет, надо подождать утренних газет,— подумал Рихард,— тогда будет ясна официальная версия сегодняшней «акции». И поскольку, судя по выстрелам, предупредительному, произведенному Клаусом, и двум другим, сделанным Рихардом, был убит только один человек, то не исключено, что имя коммуниста Герберта будет в газетах названо.

Все это значительно облегчит разговор с Гердой. Конечно, Рихард выскажет ей свое возмущение действиями НДП, перешедшей, по-видимому, от идейной борьбы к террору, и посожалеет о смерти Герберта.

«Впрочем,— подумал Рихард,— зачем ждать завтрашнего утра? Ведь не исключено, что об «акции» будет сообщено в одном из вечерних телевизионных выпусков».

И Рихард включил свой маленький телевизор, который приобрел, когда переезжал на новую квартиру. Шел репортаж с выставки тортов из здания Немецкого театра. По другой программе сообщалось о смерти первого в Германии человека, которому было пересажено сердце; еще по одной программе диктор рассказывал о самой крупной сенсации в мюнхенском зоопарке — девятилетняя самка орангутанга Кесси благополучно родила двойню...

Рихард раздраженно выключил телевизор и посмотрел на часы. Было двадцать минут второго. Это означало, что с момента завершения «акции» прошло совсем немного времени и ожидать каких-либо сообщений по телевидению было пока рано.

Рихард вспомнил, что сегодня еще не обедал, и, хотя есть ему совершенно не хотелось, он, чтобы как-то убить время, вышел из дома и направился в расположенную неподалеку закусочную, предварительно запрятав свой пистолет за решетку вентиляционного отверстия в стене.



Долгожданное телесообщение было передано лишь в девять вечера. Впившись взглядом в экран, Рихард наблюдал знакомое ему здание, скопление людей возле него, видел, как подъезжают полицейские машины. И вот на фоне так хорошо теперь знакомой Рихарду картины появился диктор и объявил, что сегодня, после полудня, группа замаскированных налетчиков ограбила универмаг «Все для вас». Нападающие похитили наличные деньги из касс и разбросали листовки, в которых ответственность за нападение берет на себя партия национал-демократов, оправдывая свои действия недостатком средств для ведения предвыборной кампании, в то время как ГКП, главный противник национал-демократов, щедро субсидируется из Москвы и других так называемых социалистических стран.

«Во время налета,— продолжал диктор,— нападающие произвели три выстрела, одним из которых был тяжело ранен покупатель, согласно оказавшимся при нем документам, тридцатилетний инженер-электрик Бруно Циммерман, член партии ХСС, чья кандидатура была выставлена на предстоящих выборах в ландтаг Баварии».

В то время как диктор произносил эти слова, на заднем плане показались люди в белых халатах. Они держали носилки, на которых лежал до половины прикрытый простыней человек, и направлялись к стоявшей у тротуара санитарной машине-фургону. Задние двери фургона были распахнуты, и, когда санитары втаскивали в него носилки, лицо раненого на мгновение оказалось хорошо различимым. Это было лицо того самого человека, которого Рихард принял за Герберта.

Ужас сковал Рихарда. Его неподвижный взгляд был прикован к телеэкрану, хотя санитарная машина уже уехала, а спустя минуту-другую изображение магазина и все, что было с ним связано, исчезло и на экране остался только диктор, который рассказывал что-то о конкурсе говорящих птиц... Рихард оцепенело сидел перед экраном.

Наконец он пришел в себя. Выключил телевизор и стал поспешно ходить взад и вперед по комнате, мысленно повторяя: «Нет, нет! Не может быть... Это был Герберт! Я узнал его! Это был Герберт, Герберт! — Он остановился на мгновение.— Хорошо,— решил он,— сейчас я проверю!»

Он схватил телефонную трубку и набрал номер Герды. Она ответила тотчас же.

— Здравствуй, дорогая,— сказал Рихард, стараясь ничем не выдать своего волнения.

— Здравствуй, Рихард, милый! — послышалось в ответ.— Рада тебя слышать! Куда ты пропал?

Герда говорила дружески, даже ласково. Ничто не показывало, что она взволнована его звонком.

— Немного простудился и пару дней не выходил,— произнес Рихард первое пришедшее ему в голову объяснение.

— Так почему же ты не позвонил? Я бы приехала к тебе, вызвала бы врача.

— Да ерунда! — небрежно ответил Рихард.— Я просто не хотел тебя волновать. А сейчас уже все в порядке, температура нормальная.

— Тогда, может быть, приедешь?

— А не поздно? — Рихард бросил взгляд на часы.

— С каких пор ты стал беспокоиться о времени? — то ли с усмешкой, то ли с обидой в голосе спросила Герда.

— Тогда, если не возражаешь, я сейчас приеду.

— Жду! — Герда положила трубку.

По дороге Рихарда неотступно преследовала мысль о том, что вместо Герберта он убил или тяжело ранил ни в чем не повинного человека. О, насколько бы легче ему было, если бы тот человек оказался Гербертом, коммунистом! Оставалось только одно оправдание: рука этого Бруно, или как там его звали,— была уже вблизи кнопки сигнала тревоги.

...И вот Рихард входит в квартиру Герды. Она встречает его с радостной улыбкой. На ней домашний халат, туго перетянутый поясом, отчего и без того тонкая талия кажется еще тоньше, ее обычно собранные в тугой пучок волосы сейчас распущены, на лице Герды нет никакой косметики,

даже губы не подкрашены, и поэтому глаза ее кажутся Рихарду еще более голубыми, чем обычно.

И снова, как всегда, когда он встречал Герду, Рихарда покинули все мысли, все, кроме одной: сознание, что Герда рядом, что они опять вместе и ничто и никто не в силах их разлучить.

Впрочем, на этот раз одна затаенная мысль все же как бы скреблась глубоко в душе Рихарда. Ведь если Герберт жив, значит, по-прежнему есть основания предполагать, что между ним и Гердой существуют отношения не только дружеские... Это подозрение все еще копошилось в душе Рихарда даже в тот момент, когда они обнялись и поцеловались.

— Идем на кухню! — сказала Герда, опуская свои руки и мягко освобождаясь от объятий Рихарда.— Когда ты позвонил, я решила приготовить кофе. Вода, наверное, уже закипела.

В кухне стоял небольшой квадратный стол, покрытый цветной клеенкой, и возле него, по обеим сторонам, два стула. На газовой плите похлопывал крышкой кипящий эмалированный чайник.

— Сейчас я займусь кофе,— сказала Герда, снимая чайник с конфорки.— А ты посиди. К сожалению, почему-то запоздали вечерние газеты. Наверное, из-за этого налета на магазин. Ты смотрел телевидение?

— Да,— коротко ответил Рихард.

— Какое варварское нападение! Я еще понимаю — просто ограбить кассы. Но при этом убить ни в чем не повинного человека!

— Но телевидение сказало, что он не убит, а ранен.

— Тяжело ранен! — поправила его Герда и добавила: — А может быть, он уже умер в больнице.

Рихард ничего не ответил, исподлобья наблюдая, как Герда достает из висящего на стене белого шкафчика банку с кофе, а из холодильника бутылку сливок.

— Я думаю, что сливки надо немного подогреть, иначе кофе будет холодным,— деловито произнесла Герда, отлила из бутылки немного сливок в маленькую кастрюльку с длинной ручкой и поставила на огонь. Затем снова подошла к настенному шкафчику, достала из него пачку печенья, надорвала бумагу и положила пачку на стол. Потом сняла с огня кастрюлю со сливками, достала с полки две чашки, насыпала в них кофе...

— Тебе с сахаром? — спросила она.

— Да, если можно,— ответил Рихард.

— А я считаю, что сахар только портит вкус кофе,— сказала Герда, ставя на стол сахарницу.— Ну... кажется, все. Извини за скудость стола. Я дома не веду никакого хозяйства.

...Они молча выпили кофе и перешли в спальню.

— Ты... останешься? — спросила Герда.

Рихард вздрогнул. Проклятая мысль о Герберте вновь засвербила в душе.

— Да, если разрешишь,— не глядя на Герду, произнес Рихард и неожиданно для самого себя добавил: — И... если ты никого не ждешь.

Подняв голову, Рихард заставил себя посмотреть прямо Герде в глаза. Он увидел в них недоумение.

— В каком смысле «жду»? — удивленно спросила Герда. Она приподняла брови, и от этого ее большие глаза стали казаться еще больше.

— Ну, у тебя же есть знакомые, кроме меня?

— Кого ты имеешь в виду?

«Я скажу! Сейчас я ей все скажу! — внезапно принял решение Рихард.— Я не могу больше мучиться! Я расскажу ей, как стоял в подворотне напротив, расскажу, что двигало моей рукой, когда я стрелял в того человека!..»

Но вместо этого Рихард спросил, пристально глядя на Герду:

— Тебе давно звонил этот... ну, как его... Герберт?

— Звонил сегодня вечером,— пожала плечами Герда.— А что, он тебе нужен?

— Я подумал, что, может быть, он нужен тебе? — сорвались с губ Рихарда слова.

— Ты что имеешь в виду? — спросила Герда, медленно вставая.— Ты предполагаешь, что я могу... с двумя?! Подонок!

Никогда до сих пор Рихард не слышал, чтобы она произнесла что-либо с таким возмущением, обидой, негодованием...



Герда сжала кулаки, повернулась к Рихарду спиной и громко сказала:

— Уходи! Убирайся! И немедленно!

О, с какой радостью воспринял все эти гневные, возмущенные слова Рихард, хотя теперь окончательно убедился, что стрелял не в того, какой тяжкий груз снимали эти слова с его плеч! Теперь он знал, что Герда никогда не обманывала его. Такое возмущение, такое негодование не могла бы сыграть даже самая великолепная актриса! В них кричала правда, неподдельная, чистая правда, и чем резче, чем унизительнее для Рихарда звучала она, тем легче становилось ему дышать, тем больше он любил Герду.

— Герда, прости! — умоляюще произнес Рихард.

— Уходи! — жестко повторила она.

Но Рихард не двигался с места.

— Пойми,— прижимая руки к груди, сказал он,— для меня уйти сейчас от тебя — значит уйти совсем... Может быть, даже уйти из жизни!

Герда повернулась к нему.

— Как ты мог,— уже спокойней произнесла она.— Ты... это... это первый случай в моей жизни... После такого короткого знакомства... всего каких-нибудь два-три месяца... и я... я решилась... а теперь ты...

Герда умолкла. Рихард видел, как ее большие глаза наполнились слезами. И тогда он вскочил, резким, судорожным движением привлек ее к себе и сбивчиво, торопливо, задыхаясь от волнения, заговорил:

— Герда, родная моя, милая, как ты можешь обвинять себя в чем-то? Ты не позволила бы мне даже поцеловать тебя, даже прийти к тебе сюда, если бы не знала, не чувствовала, что ты для меня — все, что я не могу жить без тебя! Я люблю тебя больше всех на свете...

...Поток слов, который Рихард обрушил на Герду, был сумбурным, бессвязным, без пауз, без выделения отдельных фраз. Рихард, еще крепче прижав к себе Герду, стал покрывать ее лицо поцелуями, шепча нежные, безумные слова. Она не отстранялась, не отворачивала лица. И лишь когда Рихард наконец умолк, осторожно освободилась из его объятий, провела тыльной стороной ладони по своим глазам, мокрым от слез.

— Хорошо, Рихард, забудем,— произнесла Герда.— Я снова верю тебе. Верю в твою искренность, в твои чувства... Ведь это главное, что привлекло меня к тебе. В нашей жизни, к сожалению, правда переплетена с ложью, и иногда невозможно их разделить... Ты спросил меня о Герберте... Он близок мне, потому что предан правому делу. Но это совсем другая близость, она совсем не похожа на нашу с тобой. Наша — это другое, она соединяет сердца. А та дружба, с Гербертом... как тебе это объяснить... Она в чем-то больше нашей, а в чем-то гораздо меньше. Словом, мне трудно тебе это объяснить.

— И не надо! — воскликнул Рихард.— Мне вполне достаточно того, что ты сказала. Я счастлив. Еще раз прости!

Герда молчала. Казалось, что в своих словах она дошла до какого-то невидимого порога, переступить который не решалась. И это интуитивно почувствовал Рихард. Он понимал, что Герду и Герберта связывает какая-то тайна, но так же интуитивно ощущал, что она не содержит угрозы его отношениям с Гердой. И все же какая-то недоговоренность между ними осталась.

Рихард понимал, что дальнейшее выяснение отношений может завести их в тупик. Главного — признания Герды, что он для нее единственный,— Рихард добился и теперь понимал, что этот разговор продолжать не нужно.

Он тихо спросил:

— Ты все еще хочешь, чтобы я ушел?

— Нет,— после короткого колебания ответила Герда.— Останься.

... Рихард проснулся поздно — часы показывали двадцать минут десятого. Он лежал в постели один. Приподнявшись на локте, Рихард крикнул:

— Герда, где ты?

Ответа не последовало. Рихард вскочил с постели, выбежал на кухню, открыл дверь в ванную комнату. Ее не было нигде. В недоумении Рихард вернулся в спальню и заметил записку, маленький листок бумаги, приколотый булавкой к зеленому матерчатому абажуру настольной лампы. Он сорвал записку и прочел:

«Рихард, мой дорогой Рихард! Ты так сладко спал, что я не решилась разбудить тебя. А у меня уже в 9 дела в городе. Кофе и печенье там, где и вчера,— на кухонном столе. Если будешь голоден, придется тебе зайти в кафе,— это недалеко, как выйдешь из дома, пройди один квартал налево. «Под липы» не ходи, это место принадлежит только нам и когда мы вместе. И еще — ключ в двери. Можешь оставить его у себя — у меня есть второй. До встречи. До скорой, я надеюсь...

Твоя Герда (я подчеркиваю это слово «твоя»).

P. S. На телефонные звонки не отвечай».

Рихард дважды перечитал записку, поцеловал ее и, сложив, сунул в нагрудный карман висевшего на стуле пиджака. Затем он набросил на плечи халат Герды, вышел на кухню, налил в цветастый чайник воды, зажег газовую конфорку и поставил на нее чайник. Чашка, блюдце и ложечка были уже приготовлены, так же как и банка с растворимым кофе, печенье и сахарница.

Рихард решил, что, пока закипит чайник, он успеет принять душ.

Видимо, Герда рассчитывала, что Рихард захочет это сделать, во всяком случае, чистая мохнатая простыня и полотенце висели отдельно от остальных купальных принадлежностей.

На стеклянной полочке под небольшим круглым зеркалом стояли несколько баночек с кремами, лежали мочалка, зубная щетка в прозрачном футляре и паста. Рихард автоматически стал искать бритву, чтобы, как обычно, побриться перед душем, но ничего похожего не было ни на полочке, ни в шкафчике, где стояли флаконы с шампунем.

Отсутствие бритвы вызвало у Рихарда удовлетворение. Ведь это означало, что никто из мужчин не остается в этой квартире, не остается даже на одну ночь,— ведь не стал бы он каждый раз приносить бритву и уносить ее с собой.

Умывшись и одевшись, Рихард заспешил к кипящему чайнику и приготовил себе кофе.

Затем вернулся в спальню и застелил постель. Случайно взгляд его упал на низкую, плотно прикрытую дверь. «Что там такое? — подумал Рихард.— Кладовая или гардеробная?»

Рихард вспомнил, что при нем Герда ни разу не открывала эту дверь. Оклеенная обоями того же цвета, что и стены, она до сих пор не привлекала его внимания. Но теперь, когда он остался один в квартире Герды, Рихарду захотелось посмотреть, что там, за дверью. Он подошел к ней и попытался открыть. Дверь была заперта, однако ключ торчал в замке. Рихард повернул его, толкнул дверь, и она открылась.

В небольшой комнатке царил полумрак, шторы, прикрывавшие единственное окно, были задернуты. На мгновение Рихарда охватило чувство неловкости: не злоупотребляет ли он доверием Герды? Но желание проникнуть еще глубже в ее личную жизнь, ее интересы, привычки заставило Рихарда зажечь свет. Он исходил от маленькой настольной лампы. Сам стол тоже был маленьким, заваленным какими-то бумагами, в пластмассовом стаканчике виднелись ручки и карандаши, а возле стола, на полу, стояла портативная пишущая машинка. Словом, этот более подходящий для предметов женского туалета столик был превращен в письменный. Слева от столика к стене примыкала небольшая книжная полка, забитая книгами и папками...

Рихард еле удерживался от соблазна покопаться в бумагах, вытащить с полки наугад несколько книг и узнать, что же пишет и что читает Герда, когда остается одна. Но страх, что, вернувшись, она сможет обнаружить, что кто-то рылся в ее бумагах, останавливал Рихарда. Он понимал, что если Герда догадается, что он не только проник в ее запертый на ключ кабинет, но даже сунул нос в ее бумаги, всякое доверие к нему будет потеряно.

«Так что же делать?» — стоя посредине комнаты, размышлял Рихард. Желание проникнуть в скрытую от его глаз сторону жизни Герды, выяснить наконец обоснованность подозрений Клауса в том, что Герда была коммунисткой и под псевдонимом выступала в печати с материалами, направленными против НДП,— это желание было слишком велико. Однако Рихард заставлял себя преодолеть соблазн просмотреть бумаги на столе. Он подошел к полке с книгами и стал изучать корешки книг.



Он увидел «Майн кампф» Гитлера, сборник его речей, двухтомник Маркса, несколько книг Ленина, шеститомник Черчилля, книги Бенедетто Кроче «Германия и Европа», Даллина «Германское правление в России», Даллеса «Германское подполье»...

Рихард понял, что его намерение по книгам узнать политические симпатии Герды безнадежно. Ведь она кончала исторический факультет и, естественно, читала книги самых разных авторов, изучала различные политические направления.

Тогда он, будучи уже не в силах противостоять своему желанию, подошел к столику, чтобы рассмотреть хотя бы лежащие на поверхности бумаги. Взгляд его упал на папку с края стола. Открыть ее, не двигая с места, ему ничего не стоило. Он так и сделал. Сначала Рихард увидел рукописный листок и уже по первым строкам его определил, что это было письмо от матери Герды, наверное, последнее или одно из последних.

Уже несколько осмелев, он приподнял письмо, не перевертывая его, и обнаружил под ним небольшую фотографию. Герда была изображена на ней вместе с пожилой, с морщинистым высохшим лицом женщиной,— очевидно, это и была ее мать.

Рихард стал осторожно перекладывать письма и открытки. Тут было разное: поздравления с Новым годом, с днем рождения — словом, стало ясно, что в этой папке хранится интимная переписка Герды. Рихард уже был готов закрыть папку, но в это мгновение ему попался на глаза плотный картонный квадратик. Наверху крупными красными буквами было типографски напечатано: «Германская коммунистическая партия. Пригласительный билет». Далее из текста следовало, что «Германская коммунистическая партия приглашает Герду Валленберг в город Эссен, на Учредительный съезд ГКП, который состоится 12—13 апреля 1969 года». Далее следовала подпись — чье-то неразборчивое факсимиле.

Рихард резким движением захлопнул папку. От легкого дуновения ветра на пол со стола упала еще какая-то отпечатанная на машинке, сложенная вдвое бумага.

Рихард поспешно поднял ее и прочитал. На плотном листке стоял гриф: «Социалистическая единая партия Германии».

Какое-то «Общество историков-марксистов» приглашало «фройляйн Герду Валленберг приехать в ГДР в конце года и сделать доклад на собрании общества на тему «НДП и международный нацизм».

Рихард поспешно сложил бумагу по прежним сгибам и, не помня точно, с какого места она слетела, положил на край стола.

И в эту минуту услышал звонок у входной двери, а еще минуту спустя громкий стук. В первое мгновение он подумал, что это вернулась Герда, что сейчас она войдет сюда и застанет его за шпионским занятием. Но тут же вспомнил, что в дверном замке торчит ключ. Тогда Рихард на цыпочках подошел к двери узнать, кто мог столь настойчиво звонить и стучать, но в это время услышал шорох, а затем увидел большой белый конверт, который кто-то подсовывал снизу в дверную щель.

После этого звонки и стук прекратились. Какое-то время Рихард не решался поднять конверт, но после короткого размышления взял его и прочел адрес Герды и обратный адрес внизу: штамп газеты «Унзере Цайт». Почтового штемпеля на конверте не было, очевидно, его доставил нарочный.

«Унзере Цайт» была коммунистической газетой, это Рихард знал.

Он отнес конверт в спальню, положил его на видном месте, затем вернулся в кабинет Герды к письменному столу и уже смелее стал проглядывать бумаги, стараясь не смещать их с мест, на которых они лежали. Неожиданно на глаза ему попалась листовка, одна из тех, что были разбросаны в зале суда над Борхом...

Точно обжегшись, Рихард отпрянул от стола. Если раньше он боялся, так сказать, «наследить», то теперь опасался другого: найти явные доказательства, что Герда состоит в коммунистической партии. Ведь если он получит прямые доказательства этому, значит, Клаус был прав в своих подозрениях. Но из этого Рихард должен был сделать вывод, что, с каждой встречей все более сближаясь с Гердой, он совершает прямую измену своему делу.

До сих пор Рихард мог полагать, что подозрения Клауса вздорны, ни-

чем не обоснованы и поэтому связь с Гердой не считал преступлением перед партией.

Но если он убедится, воочию убедится в обратном?!

Рихард еще раз окинул взглядом стол, книжные полки и, быстро выйдя из комнаты, запер дверь. Потом он вынул свой блокнот и написал: «Герда, дорогая моя! Спасибо за заботу. Я отлично выспался, выпил, как ты велела, кофе и теперь ухожу. Ухожу с мыслями о тебе. Буду звонить в ближайшее время. Твой Р.

P. S. Утром принесли конверт. Я положил его на тумбочку. Р.»

Эту записку Рихард приколол к абажуру лампы на то самое место, где Герда оставила свою записку. Затем он прошел на кухню, вымыл чашку, из которой пил кофе, еще раз осмотрел спальню и кухню и отправился домой, заперев за собой дверь ключом, теперь принадлежащим ему.

Только два чувства жили теперь в душе Рихарда. Первым была любовь к Герде. Вторым — еще более остро вспыхнувшая ненависть к Германской коммунистической партии. Она представлялась ему в виде мрачной и грозной силы, пытающейся отнять у него Герду, стеной, непреодолимым препятствием, неумолимо растущим между ними.

Нет, Рихард не распространял свою ненависть на Герду. Вопреки логике, в противоречии со здравым смыслом ему казалось, что эта совсем еще не так давно запрещенная в стране партия еще раньше или теперь, когда стала легальной, захватила своими щупальцами Герду, втянула в орбиту своего влияния, воспользовавшись ее молодостью и политической неопытностью...

О, если бы Герда не скрывала от него своих истинных взглядов! Тогда он, Рихард, сумел бы воспользоваться многолетними уроками своего отца, убедить Герду в том, что так называемая ГКП — это организованная агентура Москвы, что годы, проведенные страной под руководством фюрера, были годами формирования и подъема истинно немецкого духа... Да, он убедил бы ее, привлек на свою сторону, напомнил бы Герде, либерально настроенной девушке, что фюрер также был и за рабочих, и за социализм, недаром эти два слова присутствовали в названии созданной им партии.

Проклятые коммунисты! Как отвоевать у них Герду?! В своем воспаленном воображении Рихард представлял себе ГКП в виде чудовищного спрута, хищного осьминога, которого без колебания расстрелял бы из автомата, из пушки, если бы ему представилась такая возможность! Был ли Рихард теперь уверен, что Герда является членом этой ненавистной ему партии?

Нет, не до конца. Может быть, то, что он обнаружил в ее комнате, и этот присланный из коммунистической газеты пакет, и дружба, которая явно связывала ее с Гербертом, свидетельствовали лишь о симпатиях к ГКП или вообще к радикалам, но не больше. И все же обнаруженные им приглашения на съезд ГКП в Эссене, на марксистское сборище в ГДР и этот пакет из «Унзере Цайт», предупреждения Клауса — все это вместе взятое убеждало Рихарда в том, что Герда — коммунистка, и все более и более возбуждало его не против Герды — нет, любовь Рихарда точно броней защищала ее, но против той силы, которая отнимала у него Герду, — против компартии.

...Даже раздавшийся телефонный звонок не смог оторвать Рихарда от его мыслей, он медленно подошел к телефону, снял трубку и сказал: «Слушаю!»

— Рихард? — раздалось в трубке. — Появился наконец! Ты что, не ночевал дома?

Несомненно, это был голос Клауса. Этот последний его вопрос разом вернул Рихарда к действительности... «Неужели... неужели он знает?!» — подумал Рихард, уже готовый впасть в панику.

— Я... я был в ночном клубе, — пробормотал Рихард первое пришедшее ему в голову объяснение и тут же, поняв всю его бессмысленность, добавил: — Мне необходимо было... словом, мне нужна была разрядка.

— Раз-рядка? — иронически повторил Клаус. — Тогда немедленно приезжай ко мне. Для тебя приготовлена хорошая разрядка.

В тоне Клауса Рихарду послышалась, помимо иронии, и явная угроза.

— А в чем дело? — робко спросил он, имея в виду вчерашнюю акцию. — Ведь все прошло благополучно.



— Прекрати болтать по телефону! — резко оборвал его Клаус. — Мы ждем тебя.

Раздались частые гудки. Клаус повесил трубку.

### *Допрос*

Когда Рихард в сопровождении открывшего ему дверь Клауса вошел в столовую, он увидел, что за хорошо знакомым ему круглым столом сидят все члены группы.

В отличие от прошлых встреч на столе не было ни бутылок с пивом, ни рюмок со шнапсом. Стол был пуст и поблескивал своей полированной поверхностью. Но главное, что почувствовал, едва войдя в комнату, Рихард, была какая-то необычно напряженная, удручающая атмосфера.

Рихард не смог бы объяснить, в чем она выражалась. В том ли, что стол был непривычно пуст, или в том, что большинство сидящих за ним опустили головы, когда Рихард вошел, а те, что поздоровались, отделались едва заметными кивками.

Два стула за столом были незанятыми, — один, разумеется, принадлежал Клаусу, другой, по-видимому, предназначался Рихарду. Именно на этот стул указал ему Клаус. Потом, не садясь, а только облокотившись о спинку второго, пустого стула, сказал:

— Я хочу принести извинения за Рихарда Альбига. Как и все мы, он знал, что сбор назначен на сегодняшнее утро. Тем не менее вовремя не явился. Мои попытки разыскать его по телефону ни к чему не привели, хотя я звонил ему и вчера поздно вечером, и даже ночью, и рано утром. Лишь минут сорок тому назад он оказался дома. Я приказал ему немедленно приехать сюда. Теперь он здесь, и мы можем задать ему необходимые вопросы. Вопрос первый: где ты был все это время и почему не явился утром, как было условлено?

«Что это — допрос, суд?» — подумал Рихард. Резкие вопросы Клауса и непроницаемые лица остальных и впрямь создавали впечатление какого-то судилища.

На вопрос Клауса Рихард не ответил. Он промолчал потому, что не знал, что сказать. Повторить тот ответ, который он дал Клаусу по телефону — насчет ночного клуба, — он не мог, сознавая, что ответ этот был нелеп.

— Почему ты молчишь? — снова раздался резкий, испытующий голос Клауса. — В конце концов нам небезразлично, где ты шатаешься по ночам, нас тревожило, что при отходе ты мог попасть в полицию и там расколоться, выдать всех участников «акции»...

— Нет! — крикнул Рихард. Он мог снести все что угодно, кроме обвинения в сознательном предательстве. — Я не меньше, чем вы, ненавижу коммунизм и предан нашему делу!

— Слова, одни слова! — саркастически произнес Клаус. Потом неожиданно спросил: — Ты встречался с этой девкой? Ну, как ее там? С Гердой?

Этот вопрос прозвучал для Рихарда настолько неожиданно, что он вздрогнул. Мысли, одна обгоняя другую, точно в сумасшедшем хороводе, пронеслись в его голове.

Что известно Клаусу? Знает ли он что-нибудь? Видел ли он или кто-нибудь из сидящих сейчас здесь, за столом, его с Гердой? Или Клаус ничего не знает, а спрашивает просто так, на всякий случай?..

— Нет, — после короткой паузы ответил Рихард, отводя взгляд в сторону.

— Допустим, — с неприязнью сказал Клаус. — Тогда ответь на один главный вопрос: кто тебе разрешил во время «акции» стрелять в человека? О первом выстреле я уже не говорю.

К этому вопросу Рихард был более или менее подготовлен.

— Во-первых, — твердо произнес он, — этот тип лез к кнопке противопожарной сигнализации. Во-вторых, я принял его за коммуниста.

— Во-от как?! — иронически протянул Клаус. — У него что же, на лице это было написано?

— В те минуты, — стараясь до конца овладеть ситуацией, ответил Рихард, — я был убежден, что видел его еще на том митинге, на котором выступал фон Тадден. Он бросал в трибуну тухлые яйца и помидоры. Я его хорошо запомнил.

— Но ведь теперь известно, что этот человек никакой не коммунист! Ты же слышал вчерашнее сообщение по телевидению? Или по крайней мере читал сегодняшние газеты?

— Возможно, я ошибся,— пробормотал Рихард.

— Тогда еще один вопрос,— не унимался Клаус.— Какое ты вообще имел право стрелять уже после, ты понимаешь это, после моего приказа отходить?

Но теперь Рихард уже чувствовал твердую почву под ногами.

— Я выстрелил почти одновременно! Ну, может быть, чуть-чуть позже. А сигнал тревоги, если была бы нажата кнопка, разве он не привлек бы и пожарных, и полицейских? Они появились бы в считанные минуты!

Все сидящие за столом теперь напряженно слушали перепалку между Клаусом и Рихардом, переводя взгляды с одного на другого.

— Да, они появились подозрительно быстро,— не без ехидства произнес Клаус в ответ на последние слова.— В этой связи мы хотим спросить тебя еще кое о чем... Совсем недавно наши люди видели тебя в кафе «Под липами». Ты пришел туда с какой-то женщиной, но уже очень скоро к вам присоединился человек... молодой мужчина.

Такого удара Рихард не ожидал.

«Как это могло случиться? Кто видел? Почему Клаус не спросил меня об этом раньше? Что делать? Как быть? Все отрицать? А если признаться, то как и в чем именно?..»

Наконец он спросил с единственным пока что желанием выиграть время, узнать, кто из присутствующих видел его, и затеять с ним спор:

— Я хочу, чтобы партайгеноссе, который, как ты утверждаешь, видел меня, встал и уточнил, когда и с кем он видел меня.

— Тебя видели другие,— не сводя с Рихарда глаз, ответил Клаус.— Пока ты еще наш товарищ. Не скрою, что нам неизвестно, кто была та женщина. Но зато про мужчину все известно. Это коммунист, активный враг нашей партии. За ним ведется наблюдение, но опять-таки не нами, а другим подразделением НДП. Так что про него можешь ничего не рассказывать. Но кто была та женщина? Герда?

— Ничего подобного! — воскликнул Рихард.— И, кстати, разве я монах и не имею права на личную жизнь?!

— Твоя жизнь принадлежит нашей партии.— Клаус произнес эти слова сухо, без всякого пафоса, и поэтому они показались Рихарду еще более неумолимыми.

— Да,— опустив голову, сказал Рихард.— Ты прав. Вне партии для меня нет жизни.

— Это была Герда? — снова спросил Клаус.

— Да нет же! — чуть не со слезами на глазах крикнул Рихард, понимая, что признание будет означать конец его отношениям с Гердой и еще многое другое, пока что не предвиденное.— Я вышел пройтись, увидел это лесное кафе, зашел, все столики были заняты, кроме одного. За ним сидела и пила кофе неизвестная мне девушка. Не буду отрицать, что она мне сразу понравилась, я попросил разрешения присесть... Ну, вот... А потом к нам неожиданно подошел этот парень. Он тоже искал место. Оказалось, что девушка и он знакомы. Вот и все!

Рихард выпалил это разом и, только произнеся: «Вот и все»,— подумал, сколь неубедительно звучит его объяснение. Но ничего более правдоподобного он придумать сейчас не мог.

— Хорошо,— сумрачно произнес Клаус,— садись.

И он первым опустился на стул. Сел на свободное место и Рихард.

Клаус обвел взглядом сидящих за столом и до сих пор молчащих людей и спросил:

— Кто-нибудь хочет что-либо сказать? Я сейчас оставляю в стороне недисциплинированность Рихарда. Она проявляется уже второй раз. Первый — во время акции в суде. В универмаге — второй. Но, к счастью, и первая, и вторая акции нам удались. Я сосчитал деньги, которые вы мне передали, оказалось восемьдесят шесть тысяч марок. Они будут сданы в кассу партии. Но...— Клаус сделал паузу,— не этот вопрос меня сейчас беспокоит. Мне горько произносить эти слова, но я подозреваю, что Рихард имеет связь с коммунистами. В этом случае все наши дальнейшие акции находятся под угрозой.



— Ты смеешь...— вскакивая со стула и сжимая кулаки, начал было Рихард, но сидевший рядом с ним Курт, тот самый, с которым он встретился в гитлеровской пивной, схватил его за руку и почти насильно усадил.

— Не выходи из себя, Рихард,— сказал он.— Что касается меня лично, то я верю тебе. Но человек, на которого пало подозрение, обязан оправдаться, в этом нет ничего зазорного. Ведь мы все зависим друг от друга.

Рихард тяжело дышал. На лбу его выступил пот.

— Клянусь памятью фюрера,— сдавленным голосом проговорил он,— клянусь именем бывшего бригадефюрера СС — моего отца... я... я ненавижу коммунизм и коммунистов.

В этот момент сидевший за столом напротив Рихарда Вольф, белесый парень в очках — Рихард невзлюбил его со времени первого знакомства,— стукнул ладонью по столу.

— Я еще давно говорил, что этот Рихард не мог пройти в своей знойной Аргентине необходимую закалку. Пусть возвращается и танцует танго.

Рихард мысленно обругал себя за то, что оставил дома, за вентиляционной решеткой, свой «вальтер». Иначе он всадил бы в этого белобрысого мерзавца всю обойму. Но сейчас... сейчас даже ударить Рихард его не мог, очкастый сидел слишком далеко от него.

— Успокойтесь, друзья! — повелительно сказал Клаус.— Мы собрались здесь не для рыночной склоки, а для выяснения важного дела. Рихард, ответь. Вопрос номер один: тебе приходилось еще раз встречать того человека, по имени Герберт? Я прав, его звали Гербертом?

— Да, он назвал это имя, когда девушка, с которой я сам едва познакомился, познакомила нас. Видел я его еще раз? Никогда. Впрочем... впрочем, вы ведь мне все равно не поверите, если я скажу...

Рихард замялся.

— Что скажешь? Почему ты замолчал? Боишься говорить правду? — прикрикнул на него Клаус.

— Я скажу правду,— на этот раз твердо произнес Рихард.— Мне показалось, что тот человек, в которого я стрелял в универмаге, и Герберт как две капли воды похожи друг на друга. Короче, я принял его за Герберта. Коммуниста. Может быть, потому и выстрелил.

— Когда надо будет стрелять в коммунистов, получишь команду. А пока, пожалуйста, без самодеятельности. Итак, какое будет ваше решение? — спросил Клаус, обводя взглядом всех сидевших за столом.

— Я думаю,— сказал Курт,— с него хватит нашего предупреждения. А в его преданности нашему делу я не сомневаюсь.

«Правильно, согласны...» — загудел хор голосов.

Рихард почувствовал облегчение.

— Ладно,— махнул рукой Клаус.

— Но если возникнут подозрения в предательстве...— начал было белобрысый, но Клаус прервал его словами:

— ...Тогда получит пулю в затылок. Понял? — спросил он, обращаясь к Рихарду.

— Понял,— наклонил голову Рихард. Потом резко поднял ее.— Я прошу дать мне поручение. Я готов рискнуть жизнью...

— Когда понадобится, рискнешь,— оборвал его Клаус. И после паузы сказал: — Теперь, когда мы все в сборе, и после того, как Рихард благополучно вернулся, можно не бояться налета полиции. Я хочу вам кое-что рассказать. Этой ночью я был на совещании руководителей охранных отрядов НДП Мюнхена. Кстати,— он посмотрел в сторону Рихарда,— оттуда я и звонил тебе ночью. Я не буду называть фамилию выступавшего на совещании человека. Ограничусь тем, что скажу: это был один из руководителей НДП, ведающий боевыми отрядами партии. Он напомнил нам, что выборы на носу, однако уровень нашей активности не соответствует чрезвычайности положения. Руководитель, я буду называть его просто так, напомнил, что движение национал-демократов не должно рассматриваться как только чисто мюнхенское и даже как только западногерманское. Нам, национал-демократам, нужна не только вся Германия, но и вся Центральная Европа. И это не только мечта. Мы узнали, например, что в Судетах и в северной части Италии — особенно в Австрии — боевые отряды не побоялись перейти к прямому террору против коммунистов и социал-демократов. Почему именно к террору? Ну, в Италии, например, для того,

чтобы сломить сопротивление нынешнего правительства, германизировать Южный Тироль и присоединить его к Австрии, которую мы считаем двенадцатой немецкой землей.

Клаус умолк и обвел глазами присутствующих, как бы желая понять, какое впечатление производят на них его слова. Убедившись, что все смотрят на него неотрывно, Клаус продолжал:

— До сих пор наши акции ставили своей главной целью свалить вину за возникающие беспорядки на компартию. Но теперь этого мало. Накануне выборов мы должны проявить свою силу, запугать коммунистов и показать немцам, кто является в Германии единственной партией действия. Мы должны внушить страх так называемой левой прессе, дать ей понять, что на каждую направленную против нашей партии клеветническую статью мы ответим взрывами бомб и автоматными очередями. Словом, друзья, начинается новый этап нашей борьбы. Не забывайте: времени остается мало! И в этой связи,— после короткого молчания произнес Клаус,— имеется конкретное предложение...

Он снова умолк, как бы подогревая нетерпение, отражавшееся на лицах слушателей.

— Какое?! — выкрикнул Рихард.

— Помолчи, сейчас узнаешь,— осадил его Клаус.— В ходе совещания между представленными на нем «группами действия» были распределены намечаемые на ближайшее время акции. Одну из них я предложил поручить нам. Дело в том, что в конце недели состоится небольшая коммунистическая сходка, на которую соберутся представители отделения ГКП из ряда городов. Дата и место сходки нам известны. Так вот, есть предложение — угостить их на десерт бомбочкой. Ее легко бросить с улицы в окно второго этажа дома, где эти московские агенты будут заседать. Нам надлежит решить два вопроса: первый — согласны ли мы провести эту акцию и второй — кому мы поручим ее осуществить. А теперь — слово за вами.

Раздался одобрительный гул голосов.

— Итак, все «за»? — спросил Клаус.— Значит, вопрос второй...

И тогда с места вскочил Рихард.

— Друзья, партайгеноссен! — захлебывался от волнения Рихард.— Я прошу... я умоляю вас, поручите эту акцию мне! Я все время мечтал о действиях. Не о разбрасывании листовок и не о драчках на митингах, а о настоящих действиях, таких, которые вписали в историю Германии штурмовые отряды СД. Да, теперь наша очередь! Клаус сказал, что акция опасна. Тем больше у меня прав взять ее на себя и тем самым рассеять ваши недавние подозрения. Если вы мне откажете, я этого не переживу!

— Погоди, сядь! — требовательно произнес Клаус. И, когда Рихард подчинился, продолжил: — Откровенно говоря, когда я попросил поручить акцию нам, то подумал о Рихарде. Но потом... потом, когда я после нашего совещания, еще затемно, позвонил Рихарду и не застал его дома... А когда мне передали, что видели его в кафе вместе с коммунистом... Словом, я начал сомневаться... Мне показалось...

— Забудь об этом, все забудьте! — прервал его Рихард.— Уничтожать коммунистов, дожить до основания четвертого рейха — в этом главная цель моей жизни! Я знаю, каждый из вас достоин, чтобы акцию поручили именно ему, но сейчас для меня это стало вопросом смысла жизни. Я не смогу жить, если вы мне откажете!

— Что ж,— после паузы задумчиво произнес Клаус, обращаясь к Рихарду,— у тебя есть некоторые основания претендовать на эту акцию. И главное то, что ты, кажется, не в состоянии держать в руках оружие, чтобы так или иначе не пустить его в ход. Я имею в виду ту историю в суде и ту, что произошла в магазине. Как, друзья,— спросил Клаус, обводя взглядом присутствующих,— окажем и на этот раз Рихарду доверие?..

### *Так во имя чего?..*

В последующие дни Рихард трижды побывал в районе, где находился тот двухэтажный дом на окраине Мюнхена. Здесь не было зданий из бетона и стекла. Деревянные, как правило, дома стояли поодаль друг от друга. Их разделяли небольшие палисадники, огородики, просто зеленые лужайки.



Тот дом выглядел почти так же, как и все остальные. Обычный двухэтажный жилой дом. Никаких вывесок. Крытый железным навесом подъезд, к которому вели несколько широких ступеней. Узкие окошки были прикрыты шторами. Окно, указанное Рихарду Клаусом,— третье слева. К счастью, второй этаж был невысок, примерно два человеческих роста от земли. Если выйти на проезжую часть и оттуда, как следует размахнувшись, метнуть в окно гранату, она наверняка достигнет цели.

Рихард хорошо помнил занятия в нацистском военно-спортивном кружке в Аргентине. Бросок гранаты в приближающийся танк, прямо в люк или под гусеницу, в бетонный дот или просто во вражеский окоп — все эти приемы нападения и защиты тщательно отрабатывались в кружке.

В последние два дня перед акцией Рихард не раз выезжал на окраины Мюнхена, оставив близ шоссе машину, углублялся в лес и, найдя подходящее, большое, одиноко стоявшее дерево, приступал к тренировкам. Гранатами служили камни, которыми он заполнял свою брезентовую сумку...

Итак, отход метров примерно на десять, потом, пригнувшись, рывком по направлению к дереву. Размах, бросок и падение. Затем тут же, после воображаемого взрыва, вскочить на ноги и бегом в сторону.

Тренировки проходили удачно. Из десяти бросков девять камней попадали прямо в дерево.

«Попасть,— говорил себе Рихард,— не фокус. Главное суметь тотчас же скрыться». Да, надо успеть избежать возможных прохожих на улице. Они могут попытаться его задержать.

Впрочем, вряд ли. Грохот взрыва, конечно же, ошеломит их. Кое-кто от испуга бросится плашмя на тротуар или на проезжую часть улицы. Пяти минут Рихарду будет вполне достаточно, чтобы убедиться, что бомба достигла цели, вскочить на ноги раньше других и убежать. Куда? Рихард заранее изучил возможные пути отхода. Сначала налево до первого переулка. Поворот расположен метрах в пятидесяти от боевой позиции. В конце переулка стоит большой полупустой деревянный ящик для мусора. Если возникнет погоня — укрытие в ящике. На всякий случай захватить с собой пистолет. А если полиция сразу не появится, то миновать переулок, выскочить на параллельную улицу и смешаться с пешеходами. Может быть, забежать в закусочную, она буквально в нескольких шагах от угла, спокойно сесть за столик, заказать пиво...

...«Акция» должна была состояться в пятницу, в два часа дня. В это время коммунистическая сходка, которая начнется в час дня, должна уже быть в разгаре, взрыв накроет их всех. Накануне, в четверг, Рихард получил от Клауса оружие — ребристую, похожую на большую грушу гранату.

Рихард чувствовал себя как человек, приговоренный к казни и неожиданно получивший помилование. Все то, что произошло в последнее время,— муки, которые он переживал после признания Гамильтона, терзавшие Рихарда подозрения, связанные с Гербертом и Гердой, наконец, недавнее судилище, которому его подверг Клаус...

Но теперь все это осталось позади. А впереди — только подвиг, который Рихарду предстояло совершить. «Мюнхенский взрыв» — хорошо бы под таким названием вошел он в историю борьбы неонацизма за победу четвертого рейха.

В успехе порученного ему дела Рихард не сомневался. Сколько там, в той комнате, может собраться коммунистов? Судя по размерам дома и по близко расположенным друг к другу окнам, комната небольшая и вряд ли вместит более пяти — семи человек. После взрыва и пожара, который сразу же наверняка возникнет, вряд ли кто-нибудь из собравшихся останется в живых.

...В пятницу Рихард проснулся рано. Первое слово, которое он мысленно произнес, было слово «сегодня»!

Его охватило волнение. Но Рихард усилием воли подавил его, приказав себе: «Спокойствие! Полное спокойствие. Иначе в решительный момент может дрогнуть рука и граната полетит не туда, куда надо».

Его часы показывали семь двадцать утра. Через тридцать — сорок минут можно будет пойти в закусочную. Она открывалась в восемь. Есть Рихарду совершенно не хотелось. Однако никаких изменений режима до тех пор, пока «акция» не будет завершена.

Рихард стал медленно одеваться. Вместо пиджака он надел серую ней-

лоновую куртку. Он выбрал ее из-за глубоких карманов: в них легко могли уместиться и пистолет, и граната. Застегнул «молнию» на куртке и в это время вспомнил, что не переложил в нее из пиджака ни документы, ни деньги. Подумав, Рихард ограничился пятьюдесятью марками, но документов не взял. Если ему суждено будет попасть в полицию, то ей не удастся сразу установить его личность.

Рихард был уже готов покинуть квартиру, но взгляд его упал на телефон, и он подумал, что в его отсутствие может позвонить Клаус. Тогда Рихард решил сам ему позвонить. Голос Клауса показался Рихарду вялым, точно звонок только что его разбудил.

— Ты еще спишь? — спросил Рихард.

— А сколько сейчас времени? — недовольно и явно спросонья спросил Клаус.

— Около восьми,— ответил, бросив взгляд на часы, Рихард.

— Что тебя подняло в такую рань?

— Сегодня пятница, Клаус,— с ударением на слове «пятница», произнес Рихард.

— Знаю,— уже более бодрым голосом ответил Клаус.

Тогда Рихарду пришло в голову спросить:

— Изменений никаких?

— Ты про самолет? Нет, улетает по расписанию, в два. Счастливого тебе полета,— ответил Клаус.

— Спасибо. Как только вернусь, немедленно позвоню,— сказал Рихард и положил трубку.

В закусочной он съел порцию сосисок с тушеной капустой и выпил вместо пива две чашки крепкого кофе без сливок. Часы показывали тридцать пять минут девятого. Еще рано. Еще очень рано!

Сердце Рихарда билось часто то ли от выпитого кофе, то ли от медленно, но все же приближающегося рокового часа. Он вспомнил вычитанную, кажется, в «Штерне» статью о самогипнозе. Надо сказать себе: «Я спокоен, я совершенно спокоен».

Рихард мысленно произнес эти слова, но какой-либо перемены не почувствовал,— сердце колотилось по-прежнему, его удары отдавались возле сонной артерии и солнечного сплетения.

«Надо походить по городу и успокоиться»,— сказал себе Рихард. Он расплатился и вышел на улицу.

Еще вчера он решил не выводить из гаража свою машину. Добраться до нужной ему улицы пешком и на автобусах. На машине, конечно, быстрее, но она его свяжет. И вот сейчас Рихард решил еще раз прорепетировать поездку, благо что времени у него оставалось, как говорится, «вагон».

Ему пришлось сменить три автобуса. Вся дорога заняла сорок минут. Рихард медленно дошел до нужной ему улицы. Пешеходов на ней было мало, а автомашин и того меньше. Он взглянул на так хорошо уже знакомый ему двухэтажный дом. На некоторое время задержался на противоположной стороне тротуара. Потом стал переходить дорогу, приближаясь к дому. Цель сейчас у него была одна: твердо запомнить то место, с которого надо метнуть гранату. Это место он выбрал еще позавчера,— на дороге, метрах в семи-восьми от дома, на мостовой в асфальте была небольшая выбоина. На этом месте Рихард сейчас, пропустив проезжающую машину, задержался. Ровно настолько, чтобы снова и снова представить себе, как выхватывает из кармана руку с зажатой в ней гранатой, как размахивается, бросает гранату в окно и плашмя падает на мостовую. Тут же вскакивает и бежит по намеченному пути отхода. Словом, все это уже смотря по обстоятельствам.

Рихард дошел до тротуара и двинулся по нему в сторону от дома.

Минут через двадцать вернулся обратно и, зажав в кулак опущенную в пустой карман руку, повторил репетицию. Всю сначала. Потом снова взглянул на часы. Времени до совершения «акции» оставалось еще много. Примерно в половине двенадцатого он вернется домой. Более часа проведет у себя, чтобы полностью успокоиться, подождать, не позвонит ли Клаус («А вдруг какие-нибудь перемены?»), потом двинется в обратный путь и около двух будет на месте.

...Все шло по плану. Войдя к себе домой, Рихард снял нейлоновую куртку, туфли и прилег на так и не застеленную с утра кровать. Он закрыл глаза, хотя и с открытыми сейчас ничего не видел, кроме того окна. Только двухэтажный деревянный дом, только это третье слева, если стоять напротив дома, прикрытое шторой окно. В новые японские часы Рихарда был вмонтирован будильник. Если поставить их на нужное время, то часы издавали сигнал — тонкий, прерывистый, похожий на комариный писк.



Рихард лежал неподвижно. Сердце его давно успокоилось, и он уже не ощущал его биения. Рихард, как это делал уже не раз, попытался как бы «примыслить» себя к этому дому, к этому окну. Вот он медленно сходит с противоположного тротуара на проезжую часть. Правая рука — в глубоком кармане куртки. Пальцы крепко сжимают гранату. До выбоины на мостовой остается не более двух шагов. Он быстро вынимает гранату, вытаскивает чеку. Если приближается автомашина, то пропускает ее. Счет идет на секунды. Часы показывают без четверти два. Перед глазами Рихарда то самое окно. Несомненно, что там, за окном, все уже давно в сборе. Но Рихард никого не видит: окно плотно зашторено. Он резким движением отводит назад руку с зажатой в ней гранатой. Рывок рукой назад. Затем резкое движение приподнятой рукой вперед. Граната достигает окна. Слышен звук разбиваемого стекла. Рихард падает наземь... На этом игра его воображения кончается. Он еще не представляет себе, что и в какой последовательности произойдет дальше. Взрыв? Язык пламени из окна? То и другое одновременно?..

...Часы издают комариный писк. Рихард вскакивает с постели, придвигает стул к вентиляционному люку, вынимает оттуда гранату и пистолет. Кладет их на стол. Надевает туфли и куртку. Кладет гранату в правый карман, пистолет — в левый. Опускает в карман брюк лежащие на тумбочке ключи от машины. Он изменил решение и поедет на машине, так будет вернее. Часы показывают десять минут первого. Клаус не звонил. Значит, никаких перемен, все, как условлено. Рихард почувствовал, что не может больше оставаться дома.

Без четверти час Рихард выходит из своей машины на ближайшей к Боннерштрассе улице. До него доносится какой-то странный звук, точнее, мелодия. Да, да, кто-то играет — кажется, на кларнете — хорошо известную Рихарду песенку «O, meine lieber Augustin». Достигнув заветной улицы, Рихард видит, что у того дома, рядом с тем самым окном, почти под ним, стоит, прислонившись к стене, какой-то старик и выводит — и впрямь на кларнете — свою нехитрую мелодию. На старике длинный, порванный в нескольких местах свитер. Седые волосы космами спадают на лоб. У ног его лежит кепка. Рихарду не видно, есть ли в ней деньги.

Подумал ли он о том, что взрыв может так или иначе задеть этого жалкого нищего? Нет.

Часы показывали без двадцати час. Все еще рано.

И тогда Рихарда охватывает чувство любопытства. Почему бы ему не побродить взад и вперед по улице, не упуская, конечно, из вида тот дом? Почему бы не посмотреть на тех, приговоренных им к смерти людей, которые будут входить в подъезд? Заставить себя вернуться домой Рихард уже не мог.

Дул холодный, порывистый ветер. Рихард застегнул воротник, перешел на противоположный тротуар, медленно миновал крыльцо — объект его наблюдений, перешел улицу обратно — словом, стал бродить «вокруг да около» дома, стараясь не выпустить его из поля зрения. Наконец, Рихард увидел, как двое мужчин среднего возраста, один с портфелем, другой с кожаной папкой под мышкой, приблизились к дому, оба взглянули на свои ручные часы, поднялись по ступенькам и исчезли в сумраке подъезда.

Через две-три минуты шторы, прикрывающие слева окно, раздвинулись, впуская в комнату дневной свет. Рихарду стало окончательно ясно: эти двое пришли именно т у д а, в т у комнату. Внезапно он подумал: а не явится ли на эту «сходку» тот самый проклятый Герберт, который, пусть ненадолго, но все же отравил его жизнь? «Вот это было бы очень кстати!» — с чувством неутоленной мести подумал Рихард и нащупал в кармане куртки шершавую поверхность гранаты.

Но нет, Герберта среди входящих в этот дом не было. Пришел еще какой-то совсем молодой парень, потом женщина в спортивном свитере,

серой фланелевой юбке и вязаной шапочке. Еще несколько человек подошли и скрылись в подъезде. Рихард насчитал уже семь человек: шесть мужчин и одну женщину.

«Коммунистические ублюдки!» — с ожесточением произнес про себя Рихард. Он испытывал чувство злобы и одновременно чувство гордости, что в то время, как другие члены группы Клауса занимаются болтовней или организацией пустых скандалов, ему, Рихарду, поручено привести в исполнение единственно справедливый по отношению к врагам Германии приговор: смерть!

...Нищий музыкант по-прежнему не отрывал своих губ от мундштука кларнета. Только теперь он играл не идиллического «Либер Аугустина», а лихую «Розамунду», весьма популярную среди солдат минувшей войны. Он играл, невзирая на ветер, несущий по улице обрывки газет, окурки сигар и сигарет, конфетные обертки.

И вдруг в конце улицы остановилась машина — маленький желтый «фольксваген».

Рихард еще ни о чем не подумал, еще никаких ассоциаций не родилось в его тревожном сознании, но подсознательное чувство страха уже охватило его.

По улице проезжали и останавливались, высаживая пассажиров, машины разных марок и цветов, в том числе «фольксвагены», и желтые мелькали, но ни одна из них не вызвала в Рихарде смутного чувства тревоги. Ни одна, кроме этой. Сам не отдавая себе отчета в том, что делает, он бросился под арку ворот, откуда можно было обозревать всю улицу, в том числе и дом на противоположной стороне.

«Нет, нет! — повторил он про себя, — это не та машина, не та, это совпадение, мало ли желтых «фольксвагенов» ездит по улицам Мюнхена?»

Та, в которой он когда-то путешествовал по городу с Гердой, была иная... Больше! Нет, меньше!.. Словом, это не та, не та!..

Но глаза Рихарда уже видели, как именно из той машины вышла Герда, ему даже показалось, что он услышал стук захлопываемой дверцы.

«Не та, не она!» — стучало в висках Рихарда, но Герда уже шла вдоль тротуара. На ней была так хорошо знакомая Рихарду кожаная куртка, ветер колыхал конец повязанного на шее ярко-синего шарфа, на плече висела большая прямоугольная сумка...

Герда шла быстрым шагом по направлению к тому проклятому дому.

«Нет, этого не может быть, — мысленно кричал самому себе Рихард. — Это ошибка, совпадение, ей просто надо было приехать по каким-то своим делам на эту улицу, сейчас она пройдет мимо дома и даже не взглянет на него!»

Но Герда замедлила шаг, остановилась, вытащила из кармана куртки какой-то клочок бумаги, взглянула на него, потом обежала взглядом стены домов, видимо, сверяя адрес, и уже решительным шагом направилась к подъезду именно этого двухэтажного деревянного дома...

«Стой, Герда, стой, беги отсюда!» — хотелось крикнуть Рихарду. Но горло его перехватил спазм, точно сама невидимая смерть сжала на нем свои костлявые, сильные пальцы. А Герда между тем беспечно поднялась по ступеням и скрылась в подъезде.

Часы Рихарда показывали без двух минут час. Это означало, что двумя минутами позже там, в доме, должно начаться совещание, а после этого его участникам суждено погибнуть или получить тяжелые ранения. Это означало, что и Герда будет убита или ранена... может быть, смертельно...

«Что делать, что делать?! — беззвучно спрашивал себя Рихард. — Уйти, скрыться?!»

Но оттягивающая карман его куртки граната напоминала, что это означало бы не выполнить приказ. Это означало бы предать партию, предать заветы отца, нет, не того проклятого американца, а другого, чистокровного немца, беззаветного борца за дело фюрера...

Рихард представил, как стоит за круглым столом в квартире Клауса, почувствовал на себе полные гнева и презрения взгляды товарищей. Нет, не случайно он нарушил приказ и в зале суда, и в том магазине, не случайными были его тайные встречи с Гердой — это кровь презренного метиса говорила в нем, толкала на измену делу партии!..

«А Клаус? — внезапно задал себе вопрос Рихард. — О, он, конечно, знал, что Герда будет на этом собрании! — И тут же ответил себе: — А если и знал? Или, наоборот, не имел понятия? Какое это может иметь значение, когда речь идет о долге национал-социалиста?! О, она понимала, на что шла, эта Герда, когда связала свою жизнь с врагами Германии! Так пусть свершится неизбежное!..»



«Вперед!» — приказал себе Рихард.

...Издалека приближаются сразу несколько автомашин. Очевидно, их задержал красный свет ближайшего светофора, а теперь они все двинулись на зеленый. Кларнетист продолжает играть. Рихард видит, как какой-то прохожий бросает ему в кепку монету. Старик, не отрывая кларнета от губ, низко кланяется. Часы на руке Рихарда издают едва слышный писк.

Рихард делает рывок на мостовую, стремясь достигнуть той самой выбоины. Он спешит оказаться на избранной им боевой позиции, пока его не отделят от дома приближающиеся автомашины. Кто-то из шоферов, видимо, заметил его и еще издали начинает сигналить.

В эти секунды Рихард не слышит ни сигналов, ни звука кларнета. Он выхватывает из кармана куртки зажатую в кулаке гранату, вырывает из нее чеку, бросает последний взгляд на окно и, прицелившись, со всего размаха швыряет в него смертоносную ребристую грушу.

Что было потом?

Рихард не смог бы восстановить последовательность всего, что произошло в следующие секунды. Звон стекол. Оглушительный взрыв. Язык смешанного с дымом пламени, вырвавшийся из окна. Скрип, визг тормозов. Все, все вместе...

Но в эти последние секунды Рихард ничего не видел. Бросив гранату, он рухнул, распластался на мостовой, предохраняя себя от осколков. Однако репетиции не прошли даром. Он тут же вскочил, петляя, бросился бежать между рядами уткнувшихся друг в друга машин, крича:

— Бомба! Где-то взорвалась бомба!

...Через две-три минуты здесь уже собралась толпа. Откуда-то внезапно появившиеся пешеходы, шоферы и пассажиры, выскочившие из машин... Рихард обернулся, бросил взгляд на раздуваемый ветром язык пламени, рвущийся из окна и все еще лизавший наружную стену дома... Кто-то кричал в толпе:

— Я видел его, я видел! Полиция! Где полиция?!

И тогда смешавшийся с толпой Рихард тоже стал кричать:

— И я его видел, он убежал! Полиция!

Он уже давно скинул с себя куртку, чтобы не быть опознанным по одежде, и теперь размахивал ею, придерживая лежащий в кармане пистолет и делая вид, что рвется к дому, чтобы тушить пожар. Затем, убедившись, что никто не собирается его задерживать, Рихард выбрался из толпы и, постепенно замедляя шаг, пошел в намеченном заранее направлении. Спешившие ему навстречу люди спрашивали:

— Что там произошло? Откуда взрыв?

Он охотно отвечал:

— Бомба! Какой-то негодяй бросил бомбу в окно.

Рихарду везло. Не только он один, но и еще многие прохожие отделялись от толпы и спешили уйти в сторону, боясь повторного взрыва или возможной перестрелки или просто не желая оказаться на месте происшествия, когда появится полиция.

Рихард повернул за угол, миновал переулок и только там уже надел куртку, пригладил растрепавшиеся волосы и свернул на параллельную улицу.

Уже не мысль о спасении, а совсем другая целиком владела теперь Рихардом: акция удалась! Он выполнил приказ! Доказал и Клаусу, и всем остальным, что страх неведом ему, а ненависть к коммунистам беспредельна.

Дойдя до заранее облюбованной пивной, он открыл дверь и вошел. Пивная была наполнена лишь наполовину, и Рихарда встретили десятки любопытных и встревоженных взглядов. Сидевшие за ближайшим к двери столиком люди стали наперебой спрашивать его:

— Вы слышали взрыв? Где он произошел? Кажется, где-то поблизости?

Рихард в ответ пожимал плечами и отвечал, что на улице все спокойно, но взрыв он слышал и думает, что это случилось где-то неподалеку. Он

уселся за свободный столик и заказал подошедшему официанту кружку пива.

В это время откуда-то издалека, но все приближаясь, донеслось завывание полицейских сирен.

Верно это или нет, что преступника часто неотвратимо тянет на место совершенного им преступления? По крайней мере Рихарда тянуло. Это была не мистическая, безотчетная тяга. Ему хотелось узнать, сколько врагов пострадало от взрыва, а если удастся, то увидеть их в лицо. Увидеть, есть ли среди них Герда. Если да, то значит, он, Рихард,— настоящий национал-социалист, что приказ партии для него превыше всего.

Звук сирен постепенно смолк, и Рихард понял, что и полицейские и санитарные машины, очевидно, уже подъехали к дому. Следовательно, если он хочет узнать, сколько там убитых и раненых, то надо вернуться.

Он снова снял куртку, носовым платком вытер лоб, делая вид, что ему жарко, расплатился, не допив пиво, и, проговорив, ни к кому не обращаясь: «Пойти, что ли, посмотреть...», вышел на улицу.

Рихард увидел, что люди на тротуарах явно спешили туда, где произошел взрыв. Он смешался с пешеходами, миновал переулок и скоро оказался на знакомой улице. Еще издали Рихард почувствовал запах гари, а дойдя до конца переулка, увидел, что соседняя улица окутана дымом.

Однако в это время подул ветер. Он раздувал пожар, но постепенно рассеивал дым. На мостовой и на тротуаре напротив того дома стояла большая толпа людей. Над ней возвышались кузова полицейской, пожарной и санитарной машин.

Толпа была разделена широким проходом, образованным двумя шеренгами полицейских, выстроившихся от подъезда дома до того места, где вплотную друг к другу стояли машины — фургоны с опознавательными надписями и знаками на бортах.

Стена, в которой находилось то окно, была черной от гари и копоти, и по ней стекали струи воды,— очевидно, пожарные только что закончили свою работу. Оконная рама с выбитыми стеклами, с разводами сажи вокруг на стене напоминала подбитый глаз какого-то чудовища.

Рихард уже успел втиснуться в толпу и пробраться почти к самому проходу, где, взявшись за руки, стояли полицейские. Его переполняло чувство гордости. Это он, он все устроил, он швырнул прямо в глотку коммунистам гранату, из-за него собралась здесь эта толпа, примчались эти машины! Кто из группы Клауса, включая и его самого, мог бы похвастаться таким же подвигом? Сегодня вечером этот подвиг станет известным всей партии, всему Мюнхену, всей Германии!

Недалеко от порога дома Рихард увидел лежащее на тротуаре тело старика-нищего, недавно игравшего на кларнете. Его длинный свитер был забрызган кровью, кровью и сажей были покрыты седые волосы.

Рихард взглянул на часы: 13.40. Только немногим более получаса заняла вся операция!..

Он подошел уже почти вплотную к шеренге полицейских. Прислушался к говору окружавших его людей. Одни убеждали других, что бомбу бросили коммунисты, для этого, мол, в Мюнхен из Восточной Германии была заслана целая террористическая группа, другие, обрывая их, обвиняли «проклятых нацистов»...

Внезапно все смолкли. В подъезде показался человек в белом халате. Медленно переступая, он сжимал ручки носилок. Второй санитар держал носилки с другой стороны. Неторопливо, буднично выполняя привычную работу, они вошли в образованный полицейскими коридор.

Рихард был доволен, что сумел пробраться так близко к проходу. Отсюда он увидит всех, кого уничтожил или смертельно ранил. Вот этот тип, которого сейчас проносят мимо, конечно, мертв. На вид ему лет тридцать, а может быть, окажется и больше, если смыть с лица кровь, прикрыть рассеченный осколком гранаты лоб. «Туда тебе и дорога!» — подумал Рихард. Еще полчаса назад он, наверное, выкрикивал свои коммунистические лозунги. А раньше подстрекал судетских или эльзасских немцев против национал-демократов. Предатель!..

Гордость за содеянное переполняла все существо Рихарда. Значит, он готов, он может преступить все — дружбу, любовь — ради партии.

Пронесли на носилках второй труп. Убитому было явно за пятьдесят, пустой окровавленный рукав пиджака свешивался с носилок. Ничего, на том свете вторая рука ему не понадобится. Третьей пронесли женщину. У нее была вырвана нижняя челюсть, и на ее месте осталось только черно-красное месиво. « А ты чего полезла? — со злобой подумал Рихард.— Забыла разве старонемецкую заповедь для женщин: кирхе, киндер, кюхе! — церковь, дети, кухня!»



Четвертым из подъезда вынесли мужчину. Его сложенные в кулаки руки были сжаты на груди. Губы чуть шевелились. Еще жив! Ничего, подохнет в больнице.

Шофер одной из санитарных машин завел мотор. Полицейский захлопнул задние двери. Фургон отъехал. На его место встал второй.

А пятые носилки уже показались в подъезде... так сколько же всего их было в этом осином гнезде?!

Санитарные носилки приближались к тому месту, где стоял Рихард. И вдруг он замер, окаменел от ужаса. Голова убитой была повернута слегка набок, ветер сбросил с нее покрывало, светлые волосы слиплись от крови, а глаза, неподвижные голубые глаза, казалось, в упор смотрели на Рихарда. Это была Герда.

Она глядела на него своими мертвыми, но широко раскрытыми глазами. Смотрела, как показалось Рихарду, с мольбой, жалостью и презрением.

— Стойте! — крикнул во весь голос Рихард.— Она ведь жива, жива!

Стоящий впереди Рихарда полицейский резко оттолкнул его, а один из санитаров со злой усмешкой громко проговорил:

— Мертвее, парень, не бывает!..

«Герда, Герда! — закусив губы, чтобы снова не вырвался крик, мысленно кричал Рихард.— Это ошибка, встань, я здесь, рядом, Герда!..» Но носилки уже приближались к автомашине.

Рихард, сам не сознавая, что делает, работая локтями и кулаками, стал выбираться из толпы. Его влекла прочь какая-то необъяснимая сила. Казалось, что кто-то громко кричит ему в уши: «Беги, беги, скрывайся скорее отсюда!..»

Преследуемый взглядом Герды, ничего не видя перед собой, кроме ее широко раскрытых глаз, точно подгоняемый в спину раскаленным железом, Рихард бежал вперед. Только спустя несколько минут он сообразил, что инстинктивно стремится к своей машине.

Сесть за руль, вставить ключ в замок зажигания,— все это отняло у Рихарда считанные секунды. Он повернул ключ, включил сразу вторую скорость, нажал на газ и, развернув машину, бросил ее вперед.

Улица была с односторонним движением. Рихарду надо было повернуть налево, но он, не отдавая себе отчета в том, что делает, повернул направо, против движения...

Встречные машины сигналили ему, шарахались в стороны. Но ничто не могло задержать Рихарда. Он мчался вперед, только вперед, временами заезжая колесами на тротуар, кого-то сбил, но и это не остановило его. Очередной светофор он проскочил на красный свет под оглушительный свисток полицейского, свернул из крайнего ряда влево, «подрезая» поток машин...

Люди на автобусных остановках разбегались в стороны, едва завидев эту бешено мчавшуюся и, казалось, потерявшую управление машину.

Знал ли Рихард, куда мчался, куда спешил? Нет. И тем не менее подсознание, во власти которого он сейчас находился, гнало его к определенной цели. Этой целью был дом, в котором жил Клаус. Еще полчаса назад Рихард не думал о нем, но сейчас, ощутив на себе взгляд мертвых глаз Герды, он был обуян новой, непреодолимой, безотчетной страстью: его вело неистовое желание убить, уничтожить Клауса. Совсем недавно Рихард был упоен своей готовностью пожертвовать во имя партии всем, что у него было дорогого, гордостью, что на его долю выпало свершить подвиг, пожертвовать Гердой во имя национал-социализма, что, если понадобится, он совершил бы подобный подвиг и во второй, и в третий раз...

Но сейчас все это ушло из его души. Жила только месть, месть Клаусу за то, что тот заставил его убить Герду.

...Вскоре раздались гудки полицейской сирены. В зеркале Рихард увидел мигающую фарами машину. Она была еще далеко. Рихард сильнее нажал на акселератор, машина сделала резкий рывок, продолжая

свой сумасшедший бег, и наконец выскочила на ту улицу, к тому дому, к которому Рихард так неудержимо стремился.

Он резко затормозил, выпрыгнул на тротуар, не заглушив мотора, переложил пистолет из левого кармана куртки в правый, бросил взгляд назад, увидел бежавших по улице полицейских, услышал непрерывную трель свистков и вой сирен, бросился к двери, ведущей в квартиру Клауса, и, одной рукой нажимая на кнопку звонка, другой стал колотить в дверь.

Дверь открылась. На пороге стоял Клаус.

— Это ты! — закричал Рихард. — Ты знал, знал, что она там, это ты, ты, ты!

Он выхватил из кармана пистолет и, почти упираясь стволом в грудь Клауса, выпустил в него всю обойму.

Клаус упал, наполовину вывалившись на тротуар. Рихард бросил на труп уже ненужный пистолет и отпрыгнул назад. Повернув на мгновение голову, он увидел полицейских — они были совсем рядом! — и бросился бежать.

За его спиной прогремели выстрелы. Но ни одна пуля не задела его...

Он бежал вперед без цели, без малейшей надежды на спасение, не бежал, а скорее летел вперед, не видя ничего, кроме широко раскрытых глаз Герды. Заметил впереди переулок и решил свернуть туда, чтобы оторваться от полицейских, но в это время ощутил сильный удар где-то в боку, ниже спины.

...Пройдет время, труп Рихарда будет обнаружен, и патологоанатом констатирует смертельное ранение брюшной аорты...

Но пока что Рихард еще бежал, даже не чувствуя боли, не понимая, что ранен... Он свернул в переулок, бросился в ворота первого попавшегося двора и вдруг ощутил, что летит вниз... Секунды спустя он понял, что упал в какой-то открытый люк, в канализационный колодец или в подвал.

...По всем законам медицины, физиологии Рихард должен был быть уже окончательно мертв.

Но он еще жил. Какие-то внутренние, необъяснимые, ранее дремавшие в нем силы пришли в действие и поддерживали тление жизни.

Рихард пошевелил пальцами, и ему показалось, что он опустил их в лужу... Да, это была постепенно увеличивающаяся лужа его собственной крови. Он видел какие-то трубы, тянувшиеся по стенам подвала. Он чувствовал, как жизнь с каждой минутой покидает его.

### *Эпилог*

...И тогда появились крысы. Сначала одна, потом другая. В подвале был полумрак, рассеянный свет едва проникал сюда через открытый люк. Полицейские свистки и сирена постепенно затихали и наконец смолкли. Наступила тишина. Крысы несколько осмелели. Одна из них сделала несколько коротких прыжков туда, где лежал в луже крови Рихард. Вторая, видимо, заметив, что человек лежит неподвижно и никак не реагирует на приближение ее более смелой подруги, тоже осторожно продвинулась вперед.

Не показались ли они Рихарду нюрнбергскими призраками? Ведь отец часто рассказывал ему, как скрывался в нюрнбергских подвалах и как почти вплотную к нему приближались голодные крысы.

Но Рихард ничего этого не видел и ничего не чувствовал. Он был мертв.

Ему не суждено будет узнать, что национал-демократическая партия, ради победы которой он был готов убивать, взрывать, душить, потерпит провал на сентябрьских выборах, что воля большинства народа ФРГ заставит новое правительство заключить мирные договоры не только с Москвой, но и с Польшей, и Чехословакией, что пройдет немного лет и студеные морозы «холодной войны» по инициативе Советского Союза и других социалистических стран сменятся периодом разрядки...

Ничего этого и многого другого Рихарду не суждено было узнать. У него уже давно была изуродована душа, а теперь убита и плоть...

Лишь через несколько дней дворники случайно обнаружили его уже разлагающийся труп...

●

Леонид МАРТЫНОВ

# Из литературного наследия

* * *

Та ночь была тревожна. Облака
Влачил к востоку ветер, черт проклятый,
На профиль очень злого шутника
Похож был месяц желчный и щербатый.
Я все бродил и все не мог устать.
О, эти ночи. Странно в ночи эти
На старых зданьях вывески читать,
Что выглядят уже не в старом свете.
И наконец я прочитал: «Союз
Расстрелянных и умерших в неволе».
И я подумал: «Если постучусь?
Войдя, живой, не причиню им боли?»
И через дверь я слышал их речей
Какой-то разнобой необычайный.
Одни не знали кой-каких вещей,
Другие явное считали тайной,
Одни оправдывались горячо,
Другие были, в общем, недалеки
От истины, но все-таки еще
Не очень понимали подоплеки.
Ну что ж, бывает так и у живых,
Не очень разобравшихся в событьях...

И я бы крикнул:
— Нет сторожевых!
Идите все, друзья, куда хотите
И распустите мрачный свой союз
Расстрелянных и умерших! Довольно.

И только одного я все ж боюсь —
Они не подчинятся добровольно!

* * *

Живем,
Пока хватает сил бороться
Со смертью, чтоб она не загнала
Нас, грешных, в эфемерные воротца,
Которые, как в эпосе поется,
Недостижимы даже для орла.

Но иногда,
Вот именно оттуда
К нам, гордым обличителям богов,
Грядут Христы, Конфуции и Будды,
А мы их принимаем за врагов,
Как будто любы нам одни Иуды!

### *Лежат исполины*

Буксуют колеса...
Откуда намыло
Такие наносы
Тягучего ила?

Все ливни и ливни,
Все новые ливни,
Как будто бы блещут
Слоновые бивни
Из труб водосточных,
Чтоб все трепетало
И вод непроточных
На свете не стало.
На скверы и парки
Июль влажно-жаркий
Швыряет в подарки
Блеск молний неяркий.
И, чтоб бередить
Безмятежную дрему,
По крышам ходить
Не наскучило грому.
Есть смысл в этих тучах.
Затем и нависли,
Чтоб ноги могучих
Колоссов раскисли.
Ведь нижняя часть
Этих чудищ — из глины:
Должны же когда-то упасть
исполины!

О, люди, вы этого ждали,
Добились:
Все идолы ваши упали,
Свалились!
В полях, на дороге
Лежат исполины,
Гранитные боги,
Чьи ноги
Из глины.
Ну вот и намыло
Такие наносы
Тягучего ила,
Что вязнут колеса!

* * *

Стать
Мрачным старцем,
Собранным из складок
Тяжелого обличья своего,
И навести кругом такой порядок,
Чтоб было все ни живо, ни мертво.
И, как бы вековечно существуя,
Немые купола позолотить,
Всю суету, всю смуту мировую
Как будто бы и вправду прекратить,
Со всеми кончить, кто, тебе переча,
Хотя бы и ни слова не сказал.
Все, все пресечь!
И вдруг лишиться речи,
И рухнуть наземь... И — Колонный зал.
И с топотом прут толпы любопытных,
Так мнут друг друга, что земля дрожит,
Как будто бы желаний ненасытных
Ты не изжил и гнев твой не изжит.
Но гнев-то гнев, а есть иная мера!
Всплывает все, что сунуто под спуд.
И поглядишь — Любовь, Надежда, Вера
И даже Софья — тут они как тут.
Они стоят, еще не торжествуя,
И ничего еще не говорят,
Но в небесах уж вычертил кривую
Твоей рукой не пущенный снаряд!



### *Очередь*

Очередь,
Долгая очередь
В черном квадрате дверей.
Очередь, в которой и дочери
Делаются старей старых своих матерей,
Внуки превращаются в дедов —
Смотришь, уже и сед,
Все тут поняв, все изведав
Из бесконечных бесед.

О чародей,
Образователь очередей,
Знай: нет на свете жесточе людей,
Чем ты, основатель и обоснователь очередей.
Это твоя постановка вопроса,
Думал ты этим достичь превосходства,
Предполагая, что рост спроса
Должен быть больше, чем рост производства.

Очередь,
Долгая очередь
Движется за окном.
Можно бы и короче веды!
Будто во сне дурном
Время заставил ты течь,
Даже и в гроб ты лечь
Так ухитрился, чтобы
Масса людей
Сгинула в давке очередей
К твоему гробу.

Нет тебя больше,
Но, чародей,
Ты оставил после себя длинные черные ленты очередей,
Как установок своих продолженье.

Но разгораются очи людей,
Чтобы их женье
Вызвало полное уничтоженье
Всех абсолютно очередей!

### *Демон*

Ангелы,
Тыча бичами,
Демонов заключали
В клетку. И возле перил
Ужас царил.
Я поспешил за ключами,
Дверцы я отворил:
— Взвейтесь, о Духи печали,
Все, кто еще небескрыл!
И над бетонным Эдемом
Взмыли за демоном демон —
Мильтоновский демон,
Мадачевский демон,
Лермонтовский демон,
Врубелевский демон,
И Маяковского демон
Тут же парил.
И вопросил я:

— А где он,
Где он, сегодняшний демон?
Бог, ты его уморил?
Ангелы что-то кричали.
Крикнув им, чтоб замолчали,
Я повторил:
— Где он, сегодняшний демон?
Или замучен совсем он?
Бог,
Освещенный свечами,
Проговорил:
— Мы его не заточали.
Это демон щей ли, борща ли.
Крыльев ему за плечами
Я и не мастерил.

### *Добро и зло*

Есть-таки
Между добром
Все же разница и злом!

Что написано пером —
Вырубают топором,
Ценности продав с торгов —
Барахло несут в музей,

Но в конце концов врагов
Отличают от друзей:

Писанное пером,
Вырубленное топором,
Выметенное помелом,
Выброшенное на слом,
Проданное с торгов
Неразумным, как дитя, —

Втридорога платя,
Выкупают у врагов
Часто много лет спустя!

* * *

Сфинкс
Все молчал, молчал, молчал,
Но вдруг
да и заговорил,
Заголосил и закричал,
Такую кашу заварил,

Что был ничем непоборим
Тот голос девы с телом льва...

Вот так
И мы заговорим,
Еще сорвутся с уст слова!

### *Души*

О, я разглядел их:
Полны равнодушия
Лежали иные, как туши;
Другие стояли как будто бы слушая,
Как будто развесив уши;
Но были, что бились в припадке удушия,
Как рыбы, как рыбы на суше.
Вот так и увидел бессмертные души я,
Бессмертные наши души!

*Публикация Г. СУХОВОЙ-МАРТЫНОВОЙ*

●

## *Литературная критика*

Юлия ЛАТЫНИНА

# В ожидании Золотого Века

### ОТ СКАЗКИ К АНТИУТОПИИ

*«Откуда вы? Вы, наверное, когда-то уже были, ничего не происходит без подобия чему-нибудь, без воровства существовавшего».*

*А. ПЛАТОНОВ. Чевенгур.*

Николай Рубашов, герой романа Артура Кестлера «Слепящая тьма», сидя в тюремной камере, имеет возможность подумать над результатом величайшего в истории эксперимента по спасению человечества, в котором он, убежденный революционер, принимал столь активное участие. Рождающийся мир оказывается не совсем таким, как видел его в мечтах Рубашов, но не для себя бился он с моралью старого мира — во имя нового человека, освобожденного от хлама предрассудков. И вот он пришел, этот новый человек, в лице следователя Глеткина, «чистый в своей безродности», и с железной логикой объясняет Рубашову неизбежность его участи: «Судя по моим сведениям, человечество никогда не обходилось без козлов отпущения. Это — объективно-историческая закономерность, а ваш друг Иванов в свое время рассказывал мне, что она опирается на религиозные воззрения древних народов».

Любопытно уже то, что миф (о козле отпущения) в устах существа «без памяти и традиций» получает название «объективно-исторической закономерности». (Вообще-то у «древних народов» козлов отпущения было два: одного закалывали в жертву господу за народные грехи, другого нагружали всеми беззакониями сынов израилевых и с тем отсылали в пустыню. Смысл ритуала заключался в обретении утраченной гармонии мироздания.) Заставляя недалекого следователя окрестить ритуал «объективно-исторической закономерностью», Кестлер, несомненно, добился комического эффекта. Но сам ход рассуждений Глеткина, увидевшего связь между новаторской идеей о неизбежности жертв на пути построения нового общества и древними обычаями, отнюдь не абсурден. В истории человечества «праведность» коллектива не столь уж редко зависела от числа человеческих жертвоприношений. Глеткин точно уловил логику, лежащую в основе сталинской идеи об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму: это — логика ритуала.

«Слепящая тьма» Кестлера, «Мы» Замятина, «1984» Оруэлла не случайно пришли к нам одновременно, числясь по ведомству наиболее опасных книг для оберегающей свою чистоту идеологии.

Антиутопия ныне — в центре внимания. При этом список произведений, по праву прочитываемых нами в антиутопическом ключе, включает в себя и весьма реалистическую отечественную литературу. Так, в статье Р. Гальцевой и И. Роднянской «Помеха — человек» («Новый мир», 1988, № 12) «Чевенгур» Платонова и «1984» Оруэлла, «Мы» Замятина и «Факультет ненужных вещей» Домбровского, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «Слепящая тьма» Артура Кестлера рассматриваются как некий сверхтекст, описывающий одну и ту же картину мира, антиутопическую по преимуществу.

Для этого есть все основания. Герои Кестлера считали, что они строят небывалое, счастливое общество. Мы считаем, что они реализовали мрачные прогнозы антиутопии. Можно сказать и чуть иначе: воплотили в жизнь утопию.

Утопия — наше больное место. Не оттого ли столь большой резонанс получила статья Г. Лисичкина «Мифы и реальность» («Новый мир», 1988, № 11), в которой высказывалась мысль, что мы построили социализм по Дюрингу, а не по Марксу.

В 1878 году Энгельс критиковал Дю-

ринга и утопических социалистов именно за то, что их системы исходили из неких внеисторических закономерностей и потому были обречены оставаться в области чистой фантазии.

В 1931 году Н. А. Бердяев заметил: «Утопии гораздо более осуществимы, чем это до сих пор думали».

Сегодня популярна мысль, что утопии осуществимы, но в форме антиутопий. Эта концепция лежит в основе статьи А. Зверева «Когда пробьет последний час природы» («Вопросы литературы», 1989, № 1), рассматривающего антиутопию как литературу, «предугадавшую расплату раньше, чем она началась». При этом утопия также оказывается «опытом прорицания будущего», хотя и неудачным.

Но если мы перестаем доверять утопистам, рассуждающим о своей принципиальной непогрешимости, то почему априори доверять им, когда они говорят о своей принципиальной новизне?

Парадоксально уже то, что утопист, с одной стороны, претендует на идеологическое первородство, с другой — обосновывает свою правоту ссылками на далекое прошлое, на «естественное состояние» человечества. «Почти все народы имели или имеют еще и теперь представление о Золотом Веке — очевидно, это то время, когда между людьми господствовала еще совершенная общественность»,— писал в середине XVIII века французский утопист Морелли.

Ссылаться в подтверждение своего новаторства на давно известные образцы? Находить подтверждение научной теории в мифе о Золотом Веке? Антиутопии не преминули отметить странность такой логики. В мире, созданном Евгением Замятиным, новаторская идеология тоже ссылается на прошлое, но на этот раз — не на Золотой Век, а на «древний инстинкт несвободы». Если считать, что утопия и антиутопия описывают один и тот же мир, то, вероятно, и в данном случае они ссылаются — каждая по-своему — на один и тот же *архаический* источник своих идеалов.

Если подходить к утопиям с эстетическими и научными критериями западноевропейской культуры последних веков, то они кажутся изолированной группой текстов, каким-то пороговым явлением: литература — однако ж без сюжета и даже без героев; наука — однако ж основанная на вере; фантазия — однако ж слобренная неприятной рассудочностью. Но положение резко изменится, если рассмотреть утопию в контексте тысячелетий человеческой культуры. Она окажется ближайшей родственницей наиболее распространенных в истории человечества текстов. Причем тексты эти составляют не столько само здание культуры, сколько его фундамент, *котлован*, над которым культура возведена.

Так, утопии и антиутопии составляют лишь небольшую часть текстов, главным действующим лицом коих является государство.

Самой же популярной разновидностью таких текстов были евтопии, описывающие действительность как нечто, полностью совпадающее с идеалом. И это не случайно, ибо большую часть своей истории человечество прожило при тоталитарных режимах, не замечая этого по той разве причине, по которой мольеровский Журден не подозревал, что он говорит прозой. XX век создал не столько новые проекты осчастливливания человечества, сколько новые условия для реализации старых мифов, переименованных отныне в объективно-историческую закономерность.

«Я водворил свободу»,— уверял шумеров узурпатор Урукагина.

«Я устроил в стране благосостояние»,— заявлял Хаммурапи, повелевая отмечать начало своего правления как «год, в который была установлена правда».

«Я устранил все то зло, которое было в стране»,— в очередной раз повторил интернациональную формулу Азитавадда, царь данайцев.

«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек»,— спел по радио наш современник.

За несколько тысяч лет, протекших между этими высказываниями, тоталитарное государство усовершенствовалось лишь в одном отношении: оно научилось поздравлять себя не только от собственного лица, но и от лица всего народа.

Вышеприведенные надписи были чем-то вроде посмертной исповеди владык. Замурованные в гробницах и высеченные в недоступных человеку местах, они были обращены к богам, а не к людям. Цари не врали богам — они говорили истинную правду. Но при этом истинной правдой считалось не то, что *есть*, а то, что *должно быть*. Это была правда не изъявительного, а сослагательного наклонения, иначе говоря — правда ритуала.

Чем менее древняя империя скреплялась экономическими связями, тем сильней в ней были связи ритуальные. Тоталитарному государству можно дать то же определение, что и первобытному обществу: это организация для исполнения ритуала.

Значение слова «ритуал», ключевого для этой статьи, будет здесь по необходимости сужено. Речь пойдет о мире, организованном по законам текста. (Я употребляю слово «текст» в самом широком семиотическом смысле, как упорядоченный набор знаков.) Иначе говоря, этот мир имеет статус не физического объекта, а знаковой системы, состоит не из вещей, а из знаков, и главный принцип его функционирования не причинно-следственные связи, а упорядоченность и целесообразность.

Существование мира ритуала зависит прежде всего от единодушия его участников. В тот момент, когда восхищенный народ наблюдает за шаманом, заклинающим весну, и когда сам шаман упоен сознанием своей абсолютной власти над природой,— именно в этот миг и сам шаман, и власть его зависят не от умения призывать весну, а от веры коллектива в это умение. Лишь единство коллективных представлений позволяет творить чудеса: шаман считает себя владыкой природы, а оказывается рабом ритуала.



Но парадоксальным образом ритуал требует не только единодушной веры, но и единодушного *двоемыслия*. Термин, изобретенный Оруэллом для описания человеческой психики в условиях тоталитаризма, как нельзя лучше подходит, к примеру, и для новогвинейца, разделяющего со всем коллективом веру в чудовище, чью роль он так долго разучивает и так тщательно исполняет в праздник.

Мир ритуала в отличие от действительности полностью регламентирован и полностью объясним. Причем все объяснения протекают по законам самой строгой логики. Беда лишь в том, что логика оперирует не понятиями, а вещами и людьми: это квазилогика не вследствие того, что она плоха, а вследствие того, что она приложена к объектам, не имеющим логического статуса.

Историческое существование Золотого Века, на который так любили ссылаться утописты, столь же сомнительно, сколь неоспоримо его ритуальное существование. Именно в праздник, когда действительность отождествлялась с идеалом, а физическая реальность заменялась реальностью коллективных представлений, на земле воцарялись равенство людей, справедливость правителей и изобилие природы. При этом первотворение одновременно соответствовало предвечным образцам. Странная логика, которой руководствовались и утописты в своем суждении о Золотом Веке.

Утопия, таким образом, не предсказывает будущего. Она лишь вспоминает прошлое, или, вернее, является одним из многих симптомов непреходящих начал коллективной психики.

Утопические проекты, подобно сказкам или видениям, не блещут ни разнообразием героев, ни остроумием авторов, ни реалистичностью описаний. Их сила в другом: как сказка, они отвечают не внешней, а внутренней реальности. Той реальности идеалов, которая существует лишь в голове человека.

Но всегда ли идеалы — положительная величина?

Я не случайно помянула сказку. Даже внешнее ее сходство с классической утопией поразительно. И там, и тут мы видим героев, попадающих на волшебные острова, где справедливое правление устранило возможность не только социальных, но и природных неурядиц, где посреди пышно цветущих садов (возделывание которых — гражданская обязанность жителей Утопии или Икарии) высятся хрустальные дворцы, населенные счастливыми людьми и совершенномудрыми правителями.

Я попытаюсь показать, что сходство утопии со сказкой, с ритуалом, с поэтикой государственных заклинаний обусловлено внутренними закономерностями утопического мира. Осуществление утопий в XX веке связано с апелляцией *к психике массы*. Одновременно оно воскресило самые архаические представления об устройстве человека, общества и природы.

При этом, рассматривая тоталитарное государство как такой же продукт «живого творчества масс», что и фольклор или ритуал, я буду прибегать не только к тексту утопий и антиутопий, но и к «тексту», создаваемому самой историей тоталитаризма.

### *О самом большом садоводе*

В романе Оруэлла «1984» непременным убранством каждой улицы является огромный плакат с надписью: «Большой Брат смотрит на тебя».

Оруэлл оставил вопрос о естестве Большого Брата открытым. Известно, однако, что Большой Брат бессмертен. «Большой Брат — это облик, в котором партия предстает перед миром. Его функция — служить фокусом для любви, страха и почтения — чувств, которые легче испытывать по отношению к человеку, нежели по отношению к организации» — так комментирует автор запретного сочинения, мнимый лидер оппозиции, роль Большого Брата.

Таким образом, Большой Брат — не человек, не личность, а титул — не столь уж редкое положение и для мифов, в которых жизнеописание людей неотличимо от жизнеописания титулов и символов власти.

Те, кто безоговорочно опознал в Большом Брате вождя всех времен и народов, конечно, правы. Но дело не столько в том, что Оруэлл придал земному богу черты реального политического деятеля, сколько в том, что конкретный политический деятель стремительно приобретал все признаки священного царя, управляющего не только обществом, но и всем мирозданием. Реальность воспринималась через миф

По радио пели:

> Согрел он дыханием сердца
> Полярные ночи седые.
> Раздвинул он горы крутые,
> Пути проложил в облаках.
>
> По слову его молодому
> Сады зашумели густые,
> Забила вода ключевая
> В сыпучих горячих песках.

Конечно, это самая безудержная лесть. Но почему эта лесть принимает именно такие формы?

Уж не раз отмечалось, что традиция славословий Сталину идет от восточных переводов, причем нередко фольклорных. Слово «фольклорность» при этом ставилось в кавычки, красноречиво подчеркивая сомнительную подлинность советских «новин». Между тем, прочитав творения, скажем, акына Джамбула, который, кстати, начал слагать песни о мудром вожде в девяностолетнем возрасте,

нельзя не отметить другое: последовательность, с которой образ солнцеликого вождя, видящего весь мир, вознесшегося разумом выше Памира и звезд, превосходящего мощью Арал, необъятного, как океан, и изливающего блага жизни, вписывается в длинную череду священных царей — от мифического буддийского чакравартина до реального калифа Гарун-аль-Рашида. Ясно видно и то, как непосредственно он вытекает из предпринятой Джамбулом попытки описать новый строй в категориях желанного фольклору мира изобилия.

Конечно, образ Сталина унаследовал не только чисто ритуальные черты священного царя, но и позднейшие атрибуты, приданные ему утопией, а именно: звание мудреца, ученого и справедливого диктатора. Напомню, что уже Кампанелла считал необходимым для правителя города Солнца знание основополагающих научных дисциплин, как-то: метафизики, богословия и астрологии.

Тридесятое царство не стоит без царя. Лишь при полном единстве коллектив может посчитать действительность тождественной идеалу, а один из самых эффективных способов достижения такого единства — идентификация каждого члена коллектива с его лидером.

Там, где есть идеальный царь, появляется идеальное общество, и, обратно же, там, где строят идеальное общество, с железной необходимостью должна появиться фигура идеального диктатора, подобно основателю Икарии или Утопии.

В «оттепель» мы расправились со Сталиным примерно так же, как язычник — с провинившимся идолом. Нет, пожалуй, более яркого доказательства верности обряду, нежели триумфальное низвержение одряхлевшего владыки с должности распорядителя мироздания.

Но сейчас уже, например, А. А. Лебедев в статье «Последняя религия» («Вопросы философии», 1989, № 2) прямо связывает «вопрос о Сталине» с «тенденцией собственно мифологических форм сознания в нашей партии» и с представлениями о социализме как о «последней религии», о чем писал и Н. А. Бердяев.

В отличие от Маркса большинство социалистов решительно приветствовали слово «религия», и, подобно Огюсту Конту, призывали «смело обратиться к тем временам, когда вследствие всеобщего подчинения наших воззрений сверхъестественной философии существовало единство человеческого духа».

Но вот что интересно: слово «религия» при этом никак не исключало слова «наука». Так, сенсимонисты писали о своем учителе как о живом законе, равном Моисею и Иисусу, и об его учении как о «религии будущего», религии «реабилитации материи» и одновременно видели в «религии будущего» единственно научный способ переделки мира.

Так что же такое утопия — продукт религиозного или научного мышления? Каждого из этих двух определений явно недостаточно. Однако есть в истории человечества понятие, в котором сочетается религиозная идея объединения людей и научно-практическая идея переделки природы. Это магия, идеологическая основа ритуала. Магия — поистине самое материалистическое из мировоззрений. Для нее нет ни духа, не отягощенного материей, ни материи, не подчиняющейся ритуалу. Исходя из признания материальности всего сущего, магия не только обещает устроить рай на земле, но и достигает этой цели, однако, увы, лишь в рамках ритуала.

И, может быть, нигде черты сталинизма как магии не проявились так ярко, как в культе Сталина. Ибо пророки приносят с собой новую веру, а священные цари остаются должностными лицами обрядового мироздания.

Ничтожность личности в тоталитарной системе ярче всего доказывается на примерах ее вождей. Персонажам романа Замятина «Мы» отказано в праве на личность. Исключение составляет один — Благодетель, он же глава государства, он же верховный палач. Однако право Благодетеля быть личностью диалектически дополняется обязанностью быть предметом культа оной, а право и обязанность взаимно исключают друг друга. Положение Благодетеля не исключение, а образец для подражания.

Классические утопии изыскивали способы учета души с целью ее облагодетельствования, но не уничтожения. Для Кампанеллы не возникало даже вопроса о противопоставлении интересов личности и государства. Сейчас нам это положение не нравится, из чего мы и делаем вывод, что в нем и заключалась главная ошибка утопистов. Но не честнее ли осознать, что наша неприязнь к регламентированным городам Солнца вызвана не тем, что их устроители ошибались, а тем, что они были правы? Что утопии с девственной мудростью использовали для создания идеального общества те стороны человеческой натуры, которых человек ныне стыдится не меньше Эдипова комплекса?

Осуществление утопических идей начиналось не с отрицания, а с самоотрицания личности. «Хочу потерять свое имя и званье, на нумер, на литер, на кличку сменять»,— писал позже Луговской. «Имя мое — легион»,— восклицал А. Жаров. Метафора рискованная, если учесть, о ком было сказано: «Имя им — легион...»

Культ массы предшествовал культу личности. Но и тот, и другой были не столько постулатом теории, не отличавшей человека от класса, общества или нации, сколько психологической защитой самого человека, который из «единственного» превращался в «единицу»: «Единица! Кому она нужна? Голос единицы тоньше писка» (В. Маяковский).

Антиутопия подчеркивает то обстоятельство, что квалифицированную работу по самоуничтожению за человека, в сущности, не выполнит никто. Сюжет антиутопии — история противостояния личности и государства. Но история эта неизменно кончается не только внешним, но и внутренним поражением человека, потому что оказывается, что «борцы против «дивного нового мира», по существу, разделяют философию этого мира» (Р. Гальцева, И. Роднянская).



Точно так же у Платонова жители Чевенгура не нуждаются в руководящих указаниях отца народов, ибо душа их вполне самостоятельно растворена в революционном энтузиазме.

Утопический мир вполне совпадает с миром ритуала, где человек отождествлен с коллективом и отчужден от самого себя, где нет личности, но есть роль в ритуале, и даже роли палача и жертвы должны получить общественное одобрение. В таком мире число ролей может быть велико, но оно всегда будет ограничено. Границы личности и индивида будут не совпадать. Так, в «Дивном новом мире» (О. Хаксли) личностью обладает не человек, а программа социального поведения (альфа, бета, дельта, гамма, эпсилон). Точно так же число личностей в любой утопической системе может колебаться, но обязательно должно быть ограничено. Про икарийскую нацию Кабе (в «Путешествии в Икарию») утверждает, что она «есть единая моральная личность». Фурье гораздо либеральней. Он насчитывает целых 812 мужских характеров и столько же женских.

Однако, сводя понятие личности к социальной роли, утописты не столько открывают новые горизонты, сколько воспроизводят истоки представления о личности как о роли или месте в ритуале, невольно сближая при этом понятия социального и обрядового начала в человеке.

Характерней всего подобие утопической и архаической концепции личности видно в мотиве одинаковой одежды: как во время ритуала одеяние фиксирует возрастной и социальный статус носящего ее лица, так и в различных утопиях «все индивидуумы одного и того же положения носят одинаковую одежду» (Этьен Кабе, «Путешествие в Икарию»).

Мифологическое мировоззрение основывается на идее тождества одежды и личности, внешнего и внутреннего, собственности и человека. Утопия продолжает считать собственность чем-то вроде вещественного воплощения некоторых человеческих свойств, но свойств дурных. И потому, как, например, писал в конце XVIII в. Мабли, «с тех пор, как мы имели несчастье придумать земельную собственность и неравенство состояний, жадность, тщеславие, честолюбие, зависть и ревность стали разрывать наши сердца».

Уже здесь мы видим, что уничтожение личного имущества рассматривается как средство перестройки человеческого естества. Антиутопия лишь доводит этот принцип до его логического конца, показывая, что отрицание собственности — материализованный способ отрицания личности.

Коллективному началу противостоит не только личность, но и семья. Уничтожить семью, т. е. «очаг верности не партии, а друг другу» (Оруэлл), стремится как антиутопия, так и утопия. Сделать это можно разными способами: отменив ее совсем, как у Кампанеллы, или, наоборот, формализовав, как у Морелли в «Кодексе природы», где законы предписывают, кому, в каком возрасте и на ком жениться.

Томас Мор и Этьен Кабе подчеркивают, что описываемое ими общество составляет «как бы единую семью», современник Кромвеля, Уинстенли, наоборот, называет отца или хозяина «главным должностным лицом в частной семье». Диаметрально, казалось бы, противоположные решения семейного вопроса сходны в одном: в упразднении свободы выбора. (Ср.: на Колыме освобожденным ссыльным жениться запрещали, а в Северном Казахстане, наоборот: в 1950—1952 годах новоприбывший ссыльный в две недели был обязан жениться.)

В числе противоречий океанийского общества герой Оруэлла отмечает следующее: официальная идеология «постоянно подрывает единство семьи, но именует своего лидера титулом («Большим Братом».— **Ю. Л.**), который прямо обращен к чувству семейной верности».

Но с точки зрения логики ритуала тут все вполне логично. Утопия отрицает семью, распространяя ее черты на все общество в целом.

В этом обществе низы получают статус «детей», т. е. людей с еще не сформировавшейся личностью, а глава — статус «Отца» или «Старшего Брата» (термины, эквивалентные во многих классификационных системах родства), позволяющий ему претендовать на то же место в психике «ребенка», на которое с точки зрения психоанализа претендует отец: именно он творит в душе ребенка те непреодолимые конфликты, которые потом оформляются в моральный закон. В обществе, построенном по модели «семьи», государственные законы имеют своим источником лишь волю «отца», но они же составляют единственное содержание личности, идентифицированной с главой государства.

### *Плоды добродетели*

Уинстон Смит, главный герой «1984» Оруэлла, не раз с горечью отмечал, что в Океании нет никаких законов. Подобное положение является для утопистов зримым доказательством совершенности общества (ср. со словами Овидия о Золотом Веке, который «сам соблюдал, без законов, и правду, и верность») — и вместе с тем дает возможность покарать любой неординарный поступок.

В том же романе представитель официальной идеологии, О'Брайан, подчер-

кивая другую черту океанийского общества, произносит: «Мы диктуем природе законы».

Почему ж Океания, не удосужившись поименовать права своих граждан, претендует на управление мирозданием?

Мы не ошибемся, если скажем, что официальная идеология Океании — ангсоц — следует принципам, по которым устроен Золотой Век в фольклоре, а Золотой Век основан на единстве космоса и социума, символизированном фигурой священного царя.

Когда-то священного царя и в самом деле могли порешить в случае неурожая или стихийного бедствия. Причина вполне понятна: обязанностью царя было воплощать благополучие мироздания, и, допустив град или эпидемию, он тем самым обнаруживал свою профессиональную непригодность. Можно сказать, что государство возникло тогда, когда цари, оставив за собой все преимущества подобного положения, отреклись от связанных с ним неудобств и превратили всенародные выборы нового владыки мироздания в торжественное празднование очередной годовщины его счастливого правления. В развитом тоталитарном государстве царю ничего не грозит; тем не менее правительство, по-прежнему исходя из лестного о себе представления как об атланте, вздымающем на плечах всю вселенную, страшно стесняется упоминаний о любых землетрясениях, ураганах, селях и прочих катастрофах.

Какая же сила помогает править мирозданием? Труд? Знание?

Сказка обычно именует эту силу добродетелью. В Золотом Веке праведность приносит плоды в самом буквальном смысле этого слова, и какие плоды! Плоды золотых яблонь с серебряной листвой!

В основе благоденствия утопии странным образом лежит та же идея всеобщей добродетельности и почти магического изобилия. Так, в городе Солнца «землю не удобряют ни навозом, ни илом», а пользуются вместо этого «тайными средствами, которые ускоряют всходы, умножают урожай и предохраняют семена». Столь, казалось бы, рационалистически настроенный Чернышевский описывает в четвертом сне Веры Павловны бывшую пустыню, которая ныне «обращена в благодатнейшую землю, землю такую же, какою была когда-то и стала опять та полоса по морю на север, про которую говорилось в старину, что она «кипит молоком и медом». И хотя в дальнейших объяснениях нетрудно разглядеть первый исторически засвидетельствованный проект поворота северных рек, тут интереснее другое: допущение, что гармония человеческого общества является необходимым и достаточным условием потребных человечеству изменений в природе, выведения антиклопов и антикрокодилов, появление которых столь уверенно предсказывал Фурье.

Когда-то Руссо утверждал, что в обществе развиваются или науки, или добродетели. В Золотом Веке пальма первенства отдана вторым, поскольку именно они — решающий фактор в обеспечении народного благосостояния. У Томаса Мора утопийцы «заботу о науках не считают более важной, чем заботу о нравах и добродетели, ибо они прилагают величайшие старания к тому, чтобы с самого начала еще нежные и податливые детские души впитали мнения добрые и полезные для сохранения утопического государства».

В свете этой чрезвычайной заботы о нравственности не вызывает особого удивления сообщение о том, что жители города Солнца преследуют у себя шутовство и уныние и что они предали бы смертной казни женщину, вздумавшую ходить на высоких каблуках.

С точки зрения утописта, нравственность, сосредоточив в своих руках всю власть, замещает вакантные должности гражданских прав и законов природы.

Но, например, для Канта нравственный поступок полагает свою цель в самом себе. Для утопии же праведность — ни в коем случае не цель, но лишь средство обеспечения благосостояния. Мораль оказывается производной от категорий пользы и целесообразности, которые тоже понимаются бесхитростно: полезно все то, что способствует сохранению и упрочению утопического государства.

Нравственность поведения полагает своим непременным условием свободу выбора между добром и злом. Утопическая этика любезно избавляет несовершенное человеческое естество от колебаний, предписывая добродетель свыше.

Иначе говоря, магические качества, придаваемые добродетели, превращают ее в свою противоположность — в набор ритуальных правил.

Добродетель и в самом деле может обеспечить счастье — если признать главной добродетелью веру в нерушимость этого самого счастья. «Весь секрет счастья и добродетели — люби то, что тебе предначертано»,— простодушно утверждает герой «Дивного нового мира».

Моральный закон действительно может управлять миром — в том случае, если это мир ритуала. «Мы повелеваем природой, так как повелеваем мозгом. Реальность находится внутри черепа»,— утверждает О'Брайан в «1984».

Именно в мире ритуала добродетель понимается как участие в ритуале, даже если речь идет о коллективном побитии камнями или людоедстве.

Гордясь полным отсутствием правовых законов, утопия не может избежать законов-постановлений, напоминающих нам не то регламентированный мир ритуала, не то «Устав о добропорядочном пирогов печении», сочиненный щедринским градоначальником Беневоленским.



Поистине работникам Госплана и во сне не привидятся возможности, ожидающие их в «Икарии» Кабе: ведь там «нет решительно ничего во всем, касающемся пищи, что не было бы регулировано законом... комитет обсудил и указал, сколько раз в день следует принимать пищу, в какие сроки, сколько времени, число блюд, их виды и порядок следования...» Ведь там «нет ни одного экземпляра обуви, который не был бы обсужден и принят согласно плановому образцу» и т. д. и т. п.

Конечно, справедливый диктатор Икар, планируя посадить всех граждан своей страны на диету, вовсе не имел в виду осуществлять это через карточную систему, а инвентаризация всех изобретений была предпринята с самыми человеколюбивыми намерениями.

Но вот что настораживает: а вдруг какой-нибудь малосознательный гражданин, проголодавшись и не учитывая страстной заботы республики о его, гражданина, здоровье, съест яблоко в неположенное время? Или, наоборот, откажется съесть предписанное комитетом? Будет ли ему от государства отпущение грехов как оскоромившемуся во время поста или пропустившему причастие? Ведь он уже не просто грешник, он самый настоящий преступник: не своей душе он вредит, а нарушает законы государства.

Следует отдать должное утопии: подобных случаев она не предусматривает, так же как природа не предусматривает предписаний на случай, если деревья вздумают расти корнями вверх, а коровы нести яйца.

Однако при осуществлении утопий концепцию невольной добродетели потребовалось дополнить концепцией прирожденного греха. Как некогда хромой или слепой не подходили для участия в обряде, так и классово (или национально) ущербный элемент не подлежал интеграции в новое общество.

Невольный грешник превращался в жертву, приносимую во благо будущего, и вновь повторялся мрачный парадокс ритуальной логики: праведность общества начинала зависеть от обилия жертвоприношений. Именно благодаря такому социальному устройству количество преступлений в «1984» Оруэлла стремится к нулю, а количество преступников — к бесконечности...

Эту особенность, идеологически оформленную в закон «возрастания классовой борьбы по мере продвижения к социализму», в сущности, провидел Фрейд. Констатируя, что прочность связей, основанных на любви внутри коллектива, стоит в прямой зависимости от ненависти к не принадлежащим общине, он, в частности, писал: «Попытка создания новой коммунистической культуры в России находит в преследовании буржуев свое психологическое подкрепление. Можно лишь с тревогой задать себе вопрос — что будут делать Советы, когда они уничтожат буржуев?»

### *Бессчетное время вечности*

Размышляя о «беспорядочных, неорганизованных выборах у древних, когда — смешно сказать — даже неизвестен был заранее самый результат выборов», замятинский герой спрашивает: «Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем,— ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может...»

«Мы не хотим перемен!» — утверждает Главноуправитель Мустафа Монд в романе Хаксли. «Всякая перемена — угроза стабильности», а «общность, одинаковость и стабильность» — это девиз прекрасного нового мира.

Стабильность — социальный эквивалент вечности. Именно там, в точках разрыва реального времени, покоится мир иной в фольклоре: пробудет человек на том свете три дня, а на этом — три года пройдет.

Иной мир всегда подобен саду царя феаков в «Одиссее», где «круглый год, и в холодную зиму, и в знойное лето, видимы были на ветвях плоды», и его обитатели существуют, как в платоновском «Чевенгуре», где «население ревзаповедника ничего не сеет, а живет за счет остатков фруктового сада и природного самосева».

Ни одному герою не случалось засомневаться: а не окажутся ли к его приходу молодильные яблоки и всякая иная растительность в саду Гесперид несозревшими?

Правда, у героя есть и другая возможность поспеть к сбору урожая: мгновенное созревание не менее характерно для фольклора, чем постоянное плодоношение. Бывает, герою приходится за одну ночь вспахать, посеять, сжать и обмолотить урожай. Нельзя не вспомнить при этом, что в государствах Кампанеллы и Мора «справляются почти со всем урожаем за один погожий день», так как все горожане выходят на поля во время жатвы. Последнее обстоятельство, бесспорно, можно числить в ряду гениальных прозрений Мора, но сама картина уборки урожая за один день заставляет задуматься: это по постановлению какого ж райкома в один день все и повсюду поспеет?

Впрочем, даже вечнозеленые сады Гесперид ревнителя строгого постоянства могут не устраивать. Камень — вот идеал неподвижности, вот самое вещественное из воплощений вечности. Так вечнозеленый сад становится садом каменным, деревья обрастают изумрудной листвой, а обитатели островов блаженных стремительно обзаводятся золотыми головами и железными руками.

Положительная репутация каменных истуканов, равно как и других вещественных атрибутов вечности, сильно пострадала после того, как было сказано: «Не сотвори себе кумира». Но не случайно она вновь возрождается в антиутопии, и герой Замятина видит в мечтах планеты «немые, синие, где разум-

ные камни объединены в организованные общества,— планеты, достигшие, как наша земля, вершины абсолютного, стопроцентного счастья». И не только в антиутопии. Закат христианской морали нашел свое побочное языковое выражение в обилии положительных ассоциаций, вызываемых «каменностью» и связанным с ней словесным рядом. Возникли псевдонимы типа «Каменев» и «Сталин», прозвища типа «Железный Феликс», а словосочетание «твердокаменный большевик» становится постоянным эпитетом в статьях и речах, воспевающих новое поколение образцовых людей. В названиях книг зазвучали металлические ноты: «Как закалялась сталь», «Железный поток», «Цемент», «Бруски».

«Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди»,— восхищается замятинский нумер «божественным медным ямбом Государственного поэта, поднятого с трибуны величественным чугунным жестом» руки Благодетеля.

Нельзя не задуматься над тем, в какой степени здесь Замятин спародировал, а в какой — угадал стилистическую практику только нарождающегося поколения поэтов, которое будет настаивать на том, что в его жилах льется «новая железная кровь» (А. Гастев, «Мы растем из железа»), что песни оно «кует молотом» (Скиталец, «Кузнец»), что у них вместо сердца «пламенный мотор», не ощущая амбивалентности своих метафор, что, конечно, не мешает уловить его более чуткому уху потомка, вслушивающегося в строки: «Это в железных когтях Землю несет Октябрь» (С. Третьяков, «Молодежи»).

Золотой Век лежал вне изъявительного наклонения, а следовательно, вне различения истинного и ложного, вне времени.

Потомство этой неподвижной временной структуры разнообразно характером и норовом: от вечного блаженства праведников до «тысячелетнего рейха» или до того «бессчетного времени вечности», в котором протекает действие «Осени патриарха» Гарсиа Маркеса — жизнеописания угасающего отпрыска священных царей, который уже не в силах изменить расписания порядка восходов и закатов, но еще в силах сделать так, чтобы все окна в городе покрылись золотыми солнышками из фольги — в знак того, что утро наступает сообразно пробуждению президента.

Утопия либо отрицает изменение вообще, создавая замкнутый островной мир, где «подлинная цивилизация... не допускает постоянного движения то вперед, то назад» (Гракх Бабеф), то, как Сен-Симон и Фурье, лишает время главной его особенности — случайности. Повинуясь халдейской логике новейшего образца, история человечества предстает в виде гигантской астрологической таблицы, где учтен, по выражению Достоевского, каждый кирпич, потребный на постройку хрустального дворца.

Когда же приходит пора осуществлять утопии, оказывается, что история не поддается выравниванию — она поддается лишь фальсификации. «Скоро мы получим старые газеты в новом издании»,— горько шутит герой романа Кестлера, описывающего, в сущности, практику осуществления утопий.

Его предвидение вполне осуществляется в «1984» Оруэлла, где история окончательно становится мифом. Назначение мифа — служить объяснением настоящего порядка вещей, а потому всякое изменение порядка вещей сопровождается изменением мифа. В Океанийском обществе понимание истории вновь возвращается к своим истокам: но на этот раз процесс мифотворчества, бессознательный по существу, формализован и принят на государственную службу.

Лозунг ангсоца (официальной идеологии созданного Оруэллом мира): «Кто правит настоящим, тот правит прошлым» — это каузальность вверх тормашками: событие сначала происходит, а потом его предсказывают.

Состояние — проявление безличного начала, а действие — проявление личности, и поэтому очевидно, что в статичном благополучии Золотого Века как действие рассматривается лишь то, что нарушает ритуал и уничтожает благополучие. В соответствии с общим законом причина действия персонифицируется и предстает в образе злодея.

Речь злодея в сказке неизменна: он пробуждает героя совершить деяния, ведущие к возвеличению героя и уничтожению злодея. Злодеи вдруг оказываются совершенно необходимым звеном в построении идеального общества.

Ту же картину наблюдаем мы в советской литературе 30-х годов: оставаясь наиболее бесплотной фигурой, вредитель берет на себя функции фабульного чернорабочего. Принципы, положенные в основание не только литературы, но и самой реальности, обусловливают изображение строительства светлого будущего как борьбу с противниками этого самого будущего.

При этом вредитель наследует ту характерную законопослушность фольклорных антагонистов, которая заставляет татарского хана рекомендоваться публике: «Я, собака Калин царь», а Мефистофеля в народной книге о докторе Фаусте, заимствуя стиль и образы из воскресной проповеди, восхвалять ученье, законы и заповеди божьи.

Не этой ли обрядовой логикой руководствуется, например, Панферов в «Брусках», заставляя виновника голода на Украине Жаркова характеризовать членов своей организации как «явных проходимцев», а цели ее — как стремление «подорвать устои и авторитет Сталина», а также «занять барские хоромы и жить в них на правах таких же бар»?

Не на эту ли черту коллективной психики, требующей богопослушности даже от дьявола, опиралась методология показательных процессов, где от самих



подсудимых требовали, как требует следователь Глеткин от Рубашова (в романе Кестлера «Слепящая тьма») «всемерно высветлить для масс то, что правильно, зрнмо зачеркнуть то, что неправильно»., а также «пригвоздить оппозицию к позорному столбу истории и показать объективную преступность антипартийных лидеров...»

В мире ритуала законопослушные антагонисты обречены доказывать собственную неполноценность, и антиутопия подчеркнуто отводит им ту же роль: роль вещественного доказательства нерушимости тоталитарных устоев.

В «1984» Оруэлла преступников убивают лишь тогда, когда те полностью утрачивают то, что сделало их преступниками: способность самостоятельно рассуждать. «Везде,— пишут Р. Гальцева и И. Роднянская,— и в реально описанных изоляторах у Домбровского и Гроссмана, и в «1984», и в «Приглашении на казнь» — истязаемый обязан продемонстрировать свое единомыслие с властью и готовность перевоспитаться даже на пороге гибели». Жертва, как и палач, оказывается исполнителем роли в ритуале.

## *Слова-заклинанья и слова-кирпичи*

«Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность... наши поэты уже не витают в эмпиреях: они спустились на Землю; они с нами в ногу идут под строгий механический марш Музыкального завода; их лира — утренний шорох электрических зубных щеток; и грозный треск искр в машине Благодетеля; и величественное эхо гимна Единому Государству» .

Пусть не кажутся злой карикатурой слова бедного замятинского нумера, в порядке свободного вдохновения переписывающего правительственный указ о том, как «составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды и иные сочинения о красоте и величии Единого Государства».

Скорее они экстраполируют некоторые утверждения того направления, которое, уподобляя свое творчество штыку и кнуту, необдуманно желало: «Чтоб над мыслью времен комиссар с приказанием нависал», «Чтоб в конце работы завком запирал мои губы замком», «С чугуном чтоб и с выделкой стали о работе стихов, от Политбюро, чтобы делал доклады Сталин».

Конечно, это только метафоры, но в век, когда сказка становится былью, овеществляется и метафора.

Однако ни принципы ЛЕФа, ни сменившие их способы уподобления поэта мастеровому, несмотря на свои неповторимые социально-исторические черты, в истории мировой литературы не представляли ничего исключительного.

Например, на Древних Гавайях поэты при сочинении ответственных песен, имевших, как считалось, важное народнохозяйственное значение, делали это только целым коллективом. Сочиняя строку за строкой и обсуждая каждую фразу во избежание двусмысленностей и ненужных намеков, они именно благодаря принципу коллективной ответственности значительно повышали кпд своих произведений.

Начиная с Платона, утопические государства разводят художников исключительно с тем, чтобы те упорядочивали городской пейзаж, обклеивая стены «плакатами в рамках, содержащими не картины, а весьма поучительные наставления».

Известно, что в икарийском искусстве не было «ничего бесполезного и в особенности ничего вредного, но все направлено к полезной цели: ничего в угоду деспотизму и аристократии, фанатизму и суеверию, но все в интересах народа и его благодетелей, свободы и ее мучеников, или против старых тиранов и их приспешников».

Да что там искусство! Сочиняют в Икарии не только плакаты и гимны (жанр, в утопии из узкожреческого превращающийся в общенародный), сочиняют, по сути дела, наново все мироздание.

После революции в Икарии изменили почти все: вес и меры, счет времени и деление страны, «граждане даже отказывались от своих имен, чтобы выбрать себе новые. Вся страна также совершенно преобразилась, провинции, города, улицы и реки заменили свои старые имена совершенно другими».

С точки зрения логики, совершенно непонятно, почему страна должна совершенно измениться, если реку или город переименуют. Вспять, что ли, река потечет? Или на месте гор появятся равнины? Однако все, в сущности, закономерно. Хотя Кабе и настаивает на радикальной новизне происходящего, переименования такие не новы. «И нарек имя месту тому: Вефиль; а прежнее имя того города было: Луз». (Бытие, 28; 19).

В утопии будущее назначение искусства точь-в-точь походит на его прошлое. Маяковский призывает поэтов «класть в коммунову стройку слова-кирпичи», а «Калевала» описывает, как прорицатель Вяйнямейнен «строит лодку заклинаньем» Для Калевалы, однако, прорицатель равен творцу. Для Маяковского поэт равен мастеровому.

Реализовать призыв Маяковского не так уж сложно, если сама действительность имеет литературную природу.

Основополагающим произведением социалистического реализма была не «Мать» Горького, а первый пятилетний план. Завершающим — не «Целина» и не «Возрождение», а теория «реального социализма». В промежутке поэтика собраний, выборов и встречных промфинпланов развивала традиции обрядового реализма и щедрой русской колядки, сулящей хозяину куньи шубу, золотой терем и пирог из полузерна. Чудный мир колядки, однако, ограничен ночью

под Рождество. Столь же чудный мир государства ничем не ограничен и, вероятно, вследствие этого усердно занимается ограничением других.

Приписки — закономерный эффект не только затратной экономики, но и поэтического отношения к действительности как к тексту, который можно каждый раз пересочинить заново.

Как в «1984» Оруэлла, становится совершенно необязательно, чтобы в стране существовало изобилие, — достаточно, чтобы существовало министерство изобилия; совершенно необязательно, чтоб люди были обуты и одеты,— достаточно лишь ежедневного сообщения о беспрецедентном росте валового производства обуви. Такая идеология избавляет даже от необходимости делать человека счастливым: необходимо лишь обязать его верить в то, что он счастлив.

Так утопический идеал превращается в свою противоположность: единственный способ отождествить слово с делом — превратить дела в пустые слова. Но законы семантики нарушать так же небезопасно, как законы физики или экологии: слова, став вещами, теряют смысл.

Первое условие уподобления слова предмету — уничтожение его многозначности.

Оруэлловская «новоречь», стремящаяся сузить пределы мысли и даже мыслепреступление сделать невозможным,— лишь дальнейшее развитие идей, положенных в основу икарийского языка, на чью простоту и однозначность не может надивиться каждый благомыслящий путешественник.

В числе благодеяний Икара своему народу значится «изобретение нового языка и перевод лучших старых существующих произведений, так что плохие были таким образом уничтожены».

У Ефремова в «Туманности Андромеды» с гордостью сообщается, что отныне «исчезли совсем столь характерные для эры Мирового Воссоединения словесные тонкости — речевые и письменные ухищрения, считавшиеся некогда признаком большой образованности. Прекратилось совсем писание как музыка слов, столь развитое еще в ЭОТ — эру Общего Труда, исчезло искусное жонглирование словами, так называемое остроумие. Еще раньше отпала надобность в маскировке своих мыслей... Все разговоры стали проще и короче...»

Возможно, такая перспектива развития языка привлекает Ефремова еще и потому, что, не дожидаясь наступления Золотого Века, он руководствуется в своем творчестве именно вышеописанными эстетическими критериями. Но тут возникает парадокс: многозначности утопия избегает с успехом, но от двусмысленности избавиться не в состоянии. Принципы построения утопии напоминают принципы построения оруэлловской новоречи, где именно за счет величайшей семантической нищеты многие слова обретают противоположное значение в зависимости от того, к другу они обращены или к недругу.

Поистине гениальная фраза Кабе «Мы делаем для пользы человечества все то, что тираны творили во вред ему» могла бы стоять эпиграфом к любой антиутопии.

Формулируя суть предложенного им социального устройства, Шигалев в «Бесах» Достоевского восклицает: «Я запутался в собственных данных, и мое заключение находится в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого иного».

Тот же злой рок преследует и утопические идеалы.

Если утопия рисует действительность такой, какой она хочет ее видеть, то антиутопия — идеал таким, каким он воплощен в действительности. И тогда оказывается, что любая абсолютизированная идея обречена на то, чтобы обратиться в свою противоположность. Так, отрицание собственности становится равносильным возведению ее в превосходную степень, когда государство претендует не только на имущество граждан, но и на их мысли и желания, а изобразив труд как магический способ преобразования природы, мы превращаем его в обряд. Это хорошо чувствовали иезуиты, устраивая в Парагвае республики по образу и подобию первых христианских общин: они требовали поголовной занятости населения, но в то же время лишали индейцев собственности и результатов труда. Иезуиты пытались найти выход из этого противоречия, обставляя работу как торжественный ритуал, дабы индейцы черпали моральное утешение в чувстве непосредственной своей сопричастности миросозиданию.

Грандиозный маскарад понятий антиутопия и кладет в основу своего социального устройства. О превращении идей в свою противоположность как об основе, на которой воздвигнуто океанийское общество, пишет автор запретного политического трактата в романе Оруэлла «1984».

«Министерство Мира занимается войной, министерство Правды — ложью, министерство Любви — пытками и министерство Изобилия — голодом. Эти противоречия — не случайны и отнюдь не плод традиционного ханжества: это сознательные упражнения в двоемыслии..., преобладающим состоянием сознания должно быть контролируемое безумие».

Главный парадокс утопической идеологии в том, что это идеология достигнутого и завершенного идеала. Между тем идеала нельзя ни достичь, ни воплотить его без того, чтоб он не перестал быть идеалом, а стал чем-то другим: идолом или догмой, например.

Парадокс этот был известен испокон



веков, и поэтому первые антиутопии появились тогда же, когда и первые утопии: представление об аде ничуть не моложе представления о рае. Уже в фольклоре изобилие, имевшее своей причиной добродетель жителей, было не только предметом мечтаний, но и объектом насмешек. Стремящихся побыстрее добраться до земного рая предупреждали о пошлинах «за мыты, за мосты и за перевозы: з дуги по лошади, с шапки по человеку и со всево обоза по людям».

Чего-чего, а насмешливого отношения к своим идеалам утопия не знает и пошлин, взимаемых за проезд к ним, не пугается. Ирония в ней так же неуместна, как в государственном гимне («Я неспособен на шутки — во всякую шутку неявной функцией входит ложь»,— объясняет причины подобного умонастроения нумер Д-503, главный герой «Мы» Замятина).

Точно так же всегда находились люди, готовые осуществлять инвентаризованные идеалы, и люди, готовые задуматься над парадоксами такого осуществления.

Среди прочих стран Гулливер посетил и страну Бальнибарби, чьи правители-прожектеры обещают жителям в недалеком будущем земной рай: «Не перечтешь их проектов осчастливить человечество. Жаль только, что ни один из этих проектов еще не разработан до конца, а между тем страна в ожидании будущих благ приведена в запустение, дома в развалинах, а население голодает и ходит в лохмотьях. Однако все это не только не охлаждает рвения прожектеров, но еще пуще подогревает его».

Гриммельсгаузен в «Симплиции Симплициссимусе», подробно — от лица параноика — изложил перспективы деятельности будущего «немецкого героя», который осчастливит весь мир чрезвычайно эффективным способом: истребив всех тех, кто не согласен на счастье по его рецептам.

Человек из подполья у Достоевского нервно иронизировал: «Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган...»

Призрак коммунизма еще только начинал бродить по Европе, а Щедрин в «Истории одного города» уже меланхолически откомментировал то обстоятельство, что «каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако же, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего» и изобразил в лице Угрюм-Бурчеева «истинного нивеллятора», вполне доведшего город до всеобщего единообразия (вплоть до планомерного детопроизводства), но потерпевшего-таки в отличие от своих более удачливых икарийских собратьев неудачу при попытке усмирить реку, не желавшую течь сообразно его предписаниям [1].

XX век показал, что считать слово «утопический» синонимом слова «неосуществимый» по крайней мере так же неосторожно, как считать слово «революционный» превосходной степенью от «прогрессивный».

Созерцая свою историю, человеку очень часто хочется сослаться на субъективно- или, на худой конец, объективно-исторические условия: обидно сознавать, что силы, превращающие самые светлые идеалы в их же противоположность, лежат не вне, а внутри нас самих, а внешний мир лишь создает более или менее благоприятные условия для их реализации.

Революции XX века принесли победу своим вождям, мечтавшим создать новую реальность, и поражение своим идеалам — идеалам немедленного создания нового человека. Оказалось, что процесс создания нового человека опирался на самые древние черты его психики.

По-прежнему осознание себя как личности сводилось у коллектива к идентификации с возглавляющим его лидером. По-прежнему коллектив ощущал себя как единое целое лишь в противопоставлении, что неизбежно порождало образ врага. По-прежнему коллектив в своих действиях руководствовался психической, а не физической реальностью.

Для достижения всеобщего согласия государство отнюдь не подавляло архаические и агрессивные инстинкты человека, но укрепляло их и предоставляло им выходы, способствующие упрочению догмы и ослаблению самого человека. Стоит задуматься над тем, что к концу двадцатых годов подлинным и отнюдь не фиктивным способом всенародного участия масс в управлении государством сделались не выборы, а чистки.

При адаптации коллективных представлений для государственных нужд оказывалось, что самые светлые идеалы способны обретать плоть и кровь, но не иначе, как пожирая живых людей.

И, вероятно, подобно тому как развитие личности в человеке состоит в осознании и преодолении в себе раба, так и развитие свободы в обществе состоит в осознании и преодолении в нем утопии.

---

[1] Не один лишь Салтыков-Щедрин находил в действиях устроителя военных поселений нечто сходное с утопией. Побывав на Нью-Ленарке (фабрике, устроенной Оуэном), будущий император Николай I заметил, что нечто похожее в России пытается делать Аракчеев.

## К 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой

Зоя ТОМАШЕВСКАЯ

# «Я — как петербургская тумба»

Любимое речение Ахматовой о себе было: «Я — как петербургская тумба». Только теперь я понимаю весь могучий смысл этой формулы. Они, эти тумбы, гранитные и чугунные, охранявшие наши дома, врастали в землю, в тротуары, в булыжные мостовые, в асфальт... Теперь это называется «культурным слоем». Но редко кому удавалось вынуть такую тумбу из петербургской земли.

Мне часто приходилось слышать подобные сентенции из уст Анны Андревны, ибо с моими родителями, Ириной Николаевной и Борисом Викторовичем Томашевскими, ее связывала большая многолетняя дружба. И дом наш много раз становился ее домом.

Дружба началась очень давно. Борис Викторович познакомился с Анной Андревной еще в годы ее первой славы. Подружился — в годы, когда она, по ее же словам, стала «заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина».

Познакомил их Сергей Аркадьевич Янчевский, подружил — дом Щеголевых.

Сергей Аркадьевич был математик, знаток поэзии, полиглот, остроклов. Борис Викторович был тоже математик, знаток поэзии, полиглот и остроклов. Они говорили между собой по-французски, музицировали в четыре руки, устраивали математические турниры, преподавали высшую математику в Путейском институте, но главным интересом их жизни были литература и Пушкин.

Среди старых фотографий есть одна очень забавная. Три молодых человека хохочут до слез над какой-то книгой. И надпись: «...Смеются все, стихи читая небезызвестной Зинаиды». Это Попов, Томашевский и Янчевский читают стихи Зинаиды Гиппиус. Анна Андревна, не любя Гиппиус, высказывала свои догадки, что́ именно они читают. Впрочем, это было всякий раз что-нибудь новенькое. Память у нее была дьявольская. Но воспитанная — выборочная. Замечать курьезы, едва открыв газету или книжку, было специальностью и Бориса Викторовича, и Анны Андревны. Однажды я радостно принесла домой русское издание Бомарше. Папа долго издевался надо мной. За столом говорил «жалкие слова» о том, что стоило меня учить французскому языку, чтобы я тащила в дом такие книжки, потребовал Бомарше, открыл и буквально захлебнулся от смеха. Не в силах произнести ни слова, он протянул книжку тут же сидевшей Анне Андревне, и они хором пропели, вернее, «прорыдали» припев песни Керубино:

«О, какое страданье...»

Дело в том, что петь песенку нужно было, согласно ремарке, на мотив «Мальбрук в поход собрался». При пении ударение в слове «какое» падало, увы... на первый слог.



Открытый и щедрый дом Павла Елисеевича Щеголева в 20-е годы был средоточием пушкинизма и самых разнообразных литературных интересов.

Борис Викторович начал печататься в 1915 году, в 1925-м вышла его самая известная книга «Теория литературы», выдержавшая в России шесть изданий, переведенная на многие языки, переиздающаяся до сих пор фототипическим способом в разных странах. После разгрома формалистической школы акцент его интересов перешел на Пушкина. Большую часть его библиотеки составляли книги, которые читал или мог читать Пушкин. С Пушкиным были связаны его занятия французской литературой и французской историей. Плодом этих занятий стала книга «Пушкин и Франция». И все-таки главные темы были — ритмика, стилистика, стихосложение. Все это было постоянным предметом блистательных и острых разговоров между ним и Анной Андревной. Впрочем, чаще их разговоры носили почти непонятный или скорее таинственный характер. Они так знали то, о чем говорили, так понимали друг друга, что достаточно было междометий, даже выражения лица. Заглядывая в тексты, они просто обменивались взглядами.

О дружбе этих людей говорят письма, телеграммы, надписи на книгах, записные книжки Ахматовой и, наконец, телеграмма — соболезнование по поводу кончины Бориса Викторовича: «Горько оплакиваю великого ученого, благодарю друга». Оба были суровы и немногословны. Но две «тайные» формулы приходят мне на память всякий раз, как я думаю об их дружбе. Бориса Викторовича — об Ахматовой в письме к моей маме: «Анна Андревна — королева, которая тщательно это скрывает»; и Анны Андревны — о Томашевском в ее записных книжках: «В этом человеке скрывались тонны нежности». Там же есть запись о том, как она обра́щается к Борису Викторовичу по поводу размера каких-то болгарских стихов, которые она переводит и никак не может его определить. В ответ следует ироническая реплика: «Мы, литературоведы, называм это ахматовским дольником».

Так Борис Викторович, хотя бы отчасти, опроверг строчки Ахматовой:

Ахматовской звать не будут
Ни улицу, ни строфу

Как мы знаем, к 100-летию будет и улица.

Адресатом публикуемых ниже писем была Ирина Николаевна Медведева-Томашевская, жена Бориса Викторовича, с которой у Анны Андревны сложились совершенно особые отношения. Ирина Николаевна была филологом и историком. Много работала вместе с Борисом Викторовичем над изданиями русских классиков, написала книгу о русской трагической актрисе Семеновой. Но совершенно особняком стоит книга «Таврида» — плод ее исторических занятий и влюбленности в крымскую землю. Там была ее душа, ее домик, воспетый Заболоцким. Там, «под небом полуденным», в кипарисовом квадрате гурзуфского кладбища, ее могила. И Бориса Викторовича — тоже.

Ирина Николаевна была человеком несокрушимым — с очень сильным характером, очень волевым, властным и умным. К тому же — в высшей степени нравственным и гордым. Было в ее несокрушимости и что-то страшное. Она никогда никому ничего не прощала. И прежде всего — себе самой. У нее все было навсегда. Вероятно, это и ставило ее столь высоко в жизни Анны Андревны. «Умоляю, берегите себя, Вы у меня одна. Ваша Ахматова» — это телеграмма 1964 года в Крым, где мама тяжело заболела. Когда она вернулась, Анна Андревна подарила ей икону «Богородица Целительница», подаренную в свое время Гумилевым в годы, когда Ахматова много болела и думала, что ее постигнет участь сестер (Ирина и Нина умерли от туберкулеза).

Такие драгоценности Анна Андревна дарила Ирине Николаевне не раз. Когда-нибудь я напишу о них отдельно.

А пока — 1941 год.

30 августа замкнулось кольцо блокады. Была взята Мга. Постепенно город стал наполняться беженцами из области. Начались бомбежки. Во двор Фонтанного Дома упали зажигалки, Николай Николаевич Пунин увел свою семью в подвалы Эрмитажа, где многим художникам и музейным работникам Иосиф Абгаро-

вич Орбели предоставил убежище. Анна Андревна осталась одна. Ей было страшно. 31-го она позвонила. Борис Викторович зашел за ней и привел к нам на канал Грибоедова. По дороге произошел знаменательный эпизод, описанный Анной Андреевной в ее «Набросках о городе». На Михайловской площади их застала «тревога». Теперь это площадь Искусств — парадная и красивая. Тогда она больше походила на трамвайный парк. В середине — комочек густой зелени, обмотанный двумя или тремя петлями трамвайных путей и плотной стеной трамваев. Они кинулись в первую попавшуюся подворотню. В третьем дворе спустились в бомбоубежище. Борис Викторович огляделся и лукаво сказал: «Вы знаете, Анна Андревна, куда я Вас завел? В «Бродячую собаку». Анна Андревна невозмутимо ответила: «Со мной — только так».

В «Набросках» — более драматично:

«Мы на Михайловской площади вышли из трамвая. «Тревога». Всех куда-то гонят. Мы где-то. Один двор, второй, третий, крутая лестница. Пришли. С ним одновременно произнесли: «Собака».

Первые дни Анна Андревна, как всегда, жила в маминой комнате. Так бывало и раньше. Но 6 сентября была первая серьезная бомбежка — горели Бадаевские склады. 8-го бомба упала совсем близко — в Мошковом переулке, потом на Дворцовой набережной. Ходить по лестнице в наш пятый этаж стало трудно. Анна Андревна запросилась жить в убежище. А убежищем был широкий подвальный коридор с каменными сводами, со стенами толщиной метр сорок. В него выходили все дворницкие нашего дома (тогда в домах было много дворников). Дворник Моисей Епишкин разрешил поставить тахту в его прихожую. Моисей был рыжий, удивительно молчаливый и добродушный человек, никогда никому ни в чем не отказывавший. Он всегда сидел в будке у наших ворот, а если был свободен, то рядом на лавочке и покуривал. Борис Викторович называл его философом. 17 сентября случилась беда. Анна Андревна попросила Моисея купить ей пачку «Беломора». Он пошел и не вернулся. У табачного ларька на улице Желябова разорвался дальнобойный снаряд.

Всю жизнь Анна Андревна помнила этот день.

28 сентября Анна Андревна улетела в Москву. Пришел вызов, подписанный Фадеевым,— Ахматовой и Зощенко. Так впервые соединились эти два имени. Скоро им предстояло соединиться в чудовищном документе 1946 года.

Весной 1942 года и мы после кромешной блокадной зимы оказались в Москве, где узнали, что Анна Андревна еще в октябре уехала в Чистополь, а оттуда вместе с Лидией Корнеевной Чуковской — в Ташкент.

Мы не поехали никуда и осели в Москве. Туда и приходили редкие и печальные письма Анны Андревны. Большая их часть приходила с оказией и написана была карандашом.

27 мая 42 г.

Дорогая Ирина Николаевна,
сейчас узнала, что Вы остаетесь в Москве и Вам можно написать. Как много и напряженно я думала о Вас и всех Ваших все эти месяцы. Как хочу знать все о Вас. С бесконечной благодарностью вспоминаю, как Вы и Борис Викторович были добры ко мне.

О Гаршине у меня не было вестей пять месяцев и только вчера я получила от него открытку. Напишите мне о нем. Мне очень трудно.

Крепко Вас целую.

Привет Борису Викторовичу и Вашим детям.

Ваша Ахматова

Мой адрес: Ташкент. Ул. Карла Маркса, 7 [1]

[1] Письма публикуются с сохранением орфографии и пунктуации автора.



17 июня [1942 г.]

Дорогая Ирина Николаевна,
сейчас получила Ваше письмо. Благодарю Вас. Это первое подробное сообщение о Владимире Георгиевиче за все время. Как Вы добры ко мне. О себе сказать решительно нечего. Я здорова, живу в хороших условиях, каждый день вижу Л. К. Чуковскую. Владимир Георгиевич мне не пишет. Шлю ему множество телеграмм. Доходят ли они! Передайте мой привет Борису Викторовичу.

Целую Вас. Ваша Ахматова.

Жива ли Л. М. Энгельгар[д]т?

4 апреля [1943 г.]

Дорогая моя,
вот Вам и Б[орису] В[икторовичу] — азийский подарок. Я сегодня получила письмо от моего Левы. Не знала о нем ничего семь месяцев и сходила с ума. Целую Вас. Привет друзьям.

Ахм[атова]

Это письмо передаст Вам В. Берестов. Он очень хороший мальчик и пишет стихи.

Поговорите с Валей.

Дорогая Ирина Николаевна,
по-видимому все мои письма к Вам пропали. Пропали и два Ваших. Это очень печально.

Валерия Сергеевна или Николай Иванович Харджиев покажут Вам мои стихи и поэму, над которой я много работала. Если можно, стихи и поэму надо доставить Владимиру Георгиевичу. Отсюда это очень трудно сделать. Буду Вам безмерно благодарна, если Вы поможете мне в этом.

Желаю Вам всего хорошего, часто Вас вспоминаю. Мы здесь стоим на пороге жары, которую почти нельзя вынести.

Целую Вас.

Ваша Ахматова.

14 апр. 1943 г.

Привет Борису Викторовичу и Вашей милой дочке

Адрес Гаршина
Л—д 22 Часть 053.

2 июня 1943 г. Ташкент.

Мой дорогой друг, так как письма и мои и Ваши — пропадали, мы совсем потеряли друг друга из вида. Теперь Ася расскажет Вам о моей жизни в Ташкенте. Самой мне даже не хочется говорить об этих скучных и пыльных вещах, о тупых и грязных сплетнях, нелепостях и т. д.

Я болела долго и тяжело. В мае мне стало легче, но сейчас начинается жара и значит погибель.

Книга моя маленькая, неполная и странно составленная, но все-таки хорошо, что она вышла. Ее читают уже совсем другие люди и по-другому.

Из Ташкента в Россию двинулась почти вся масса беженцев 1941 г. С Академией Наук уезжает 1000 человек.

Город снова делается провинциальным, сонным и чужим.

Из Ленинграда получаю письма только от Владимира Георгиевича. Он просит меня остаться в Ташкенте до конца.

Теперь без Цявловских я уже никогда ничего не буду знать о Вас. Это очень горько.

Сын мой Левушка поехал в экспедицию в тайгу — очень доволен. Все его сложности кончились 10 марта, но он остался прикрепленным к Норильску до конца войны.

Ничего не знаю о Лозинском, Лидии Яковлевне и тех немногих ленинградцах, с которыми я встречалась перед войной. На днях встретила на улице И. А. Орбели, который зачем-то приехал сюда из Эривана и мы приветствовали друг друга как тени в «Чистилище» Данте.

У меня новый дом, с огромными тополями за решеткой окна, какой-то огромной тихостью и деревянной лесенкой, с которой хорошо смотреть на звезды. Венера в этом году такая, что о ней можно написать поэму. А мою поэму Вы получили? Как Борис Викторович, кончил ли Ваш сын обучаться, что дочка?

Привет Пастернаку, Осмеркиным и всей далекой странной Москве. Отсюда всюду далеко. Целую Вас.

Ваша Анна

27 сент[ября 1943 г.]

Милая Ирина Николаевна,
после очень долгого перерыва мне были особенно приятны вести от Вас. Спасибо, что не забываете.

У нас чудесная тихая и какая-то огромная осень. Я — четвертый день в постели, простужена и стерла ногу.

Из Ташкента все разъехались. Стало очень тихо и пустынно.

Получаю много писем из Ленинграда. Володя спрашивал меня о Вас. Когда мы увидимся? Привет всем вашим. Целую Вас.

Ваша Ахм[атова]

Недавно получила восхитительное письмо от Б. Л. с совершенно изумительным анализом поэмы.

Завтра — вторая годовщина моего вылета из Ленинграда.

Помните этот день?

21 марта [1944 г.]

Дорогая Ирина Николаевна, вот уже два месяца, что я собираюсь выехать из Ташкента. Дело в том, что я каждую неделю получаю от Владимира Георгиевича телеграмму с извещением о высылке мне вызова «на днях». Последняя такая телеграмма подписана и Ольгой Берггольц. Московский вызов у меня давно на руках.

Как Вы, как Борис Викторович?

Очень бы хотела продолжить с ним разговор о строфах Пушкина.

Сейчас в Ташкенте рай. Все цветет буйно и блаженно: красивее всего цветет айва.

Передайте мой привет Зое, Борису Викторовичу, Лозинскому, Пастернаку, Осмеркину.

Все перестали мне писать, уверенные, что я уже в дороге.

Целую Вас.

Ваша Ахматова

Теперь об именах, упоминаемых в письмах. Это был, в сущности, тот же круг людей, которых знали и любили мои родители. Большинство из них постоянно бывали у нас в доме.

Исключение составлял **Владимир Георгиевич Гаршин**. Бывал он только тогда, когда Анна Андреевна жила у нас. Он проходил в ее комнату. Никогда не участвовал ни в каких чаепитиях, обедах, ужинах, хотя дом у нас был всегда очень гостеприимным и хлебосольным. Когда Анна Андреевна переехала в подвал к Моисею Епишкину, он и вовсе перестал появляться у нас. Тем не менее я видела его каждый вечер, когда приносила Анне Андреевне какую-нибудь еду. Потом Анна Андреевна улетела в Москву, и мы переехали вниз, т. к. наша квартира выходила на сторону, наиболее опасную во время обстрелов, и окна в ней были разбиты. Правда, не в подвал, а в нижнюю квартиру с окнами во двор. Там жила моя подруга по Академии художеств — Лена Табакова.



Однажды, в мрачный ноябрьский вечер, раздался стук (в доме электричества уже не было). Вошел Гаршин и попросил разрешения посидеть «на этом диване» (диван, который был отнесен к Епишкину, теперь стоял у дверей в нашем новом жилище). Сидел он молча и молча ушел. С тех пор стал приходить довольно часто. Перед встречей Нового года он принес маме подарок. Это были двенадцать книг в очень красивых кожаных переплетах — «Жития святых», сказав, что в свое время получил их от Анны Андреевны. В конце января он застал всех в очень тяжком состоянии. Были потеряны карточки. Все лежали тихо по своим углам. Было совсем темно и очень холодно. Владимир Георгиевич посидел, как всегда, молча. И вдруг сказал: «Лошадей уже всех съели, по у меня остался овес. Я бы мог дать его вам. Если бы кто-нибудь пошел со мной». Владимир Георгиевич, патологоанатом, в то время был главным прозектором города. В его ведении, очевидно, находились похоронные лошади.

Было страшно. Жил он в Толстовском доме на Фонтанке. Шел уже комендантский час. В городе ходили слухи о том, что едят людей. А пойти могла только я. Мама решительно приказала мне идти. Потом она говорила, что боялась больше всего самого Гаршина. А я нет. Я боялась только одного, что — отнимут. И потом, мне так нравилось, что он приходил посидеть на диване Анны Андреевны, что казался каким-то романтическим героем. Об остальном я не думала. Мы пошли. Он дал мне целый мешок овса, вернее — мерку. Так называли мешок, который подвязывали лошадям. Это было килограмм восемь. Домой я шла одна, стараясь идти быстро, почти зажмурившись,— от страха на кого-нибудь наткнуться. Читала про себя стихи. Тогда все расстояния казались такими далекими и непреодолимыми, что было утешительно думать, что, когда прочтешь главу из «Онегина»,— перейдешь Неву, а «Сон Советника Попова» — дойдешь до Союза писателей. Еще добавить только эпилог «Поэмы без героя». Теперь мне странно, что во всех изданиях пишут, что эпилог написан в Ташкенте. Дописан и переписан — да. Первоначальный эпиграф — «Мне кажется, что с нами случится все самое ужасное» из Хемингуэя — приходился всегда на самое страшное место — косую улицу от Фонтанки до перекрестка улицы Чайковского и Гагаринской. Я ее и сейчас боюсь и до сих пор не знаю ее названия.

Мерка овса спасла нас от верной гибели. Владимир Георгиевич спас, а вернее — Анна Андреевна. В первый раз. Будет и второй. А пока мы мололи овес в кофейных мельницах.

Владимир Георгиевич приходил все реже и реже. Он переехал на Петроградскую, сначала на улицу Рентгена к кому-то из знакомых, а потом просто в свой институт и там жил почти до конца войны. Мы были потрясены, когда он пришел 19 февраля 1942 года и назвал страшную цифру погибших от голода. К этому дню было зарегистрировано 650 тысяч смертей. Только зарегистрировано! А трамваи, превратившиеся в саркофаги, набитые мертвецами, застывшие 4 декабря 1941 года! Сколько же их было всего?! Никаким сюрреалистам не выдумать того, чем был тогда Ленинград.

Больше мы никогда не виделись. Но все просьбы Анны Андреевны — узнать о нем, переслать стихи и поэму — мама неукоснительно выполняла. Стихи и поэму отвезла Мария Вениаминовна Юдина (великий музыкант и бесстрашный человек). Она летала в осажденный и обстреливаемый город, давала концерты и каждый раз посещала Владимира Георгиевича на Петроградской стороне только потому, что это надо было Анне Андреевне.

Дружба Анны Андреевны и Владимира Георгиевича кончилась тяжелым и трагическим разрывом сразу по возвращении Ахматовой в Ленинград в мае

1944 года. В своих стихах Анна Андревна сняла все посвящения ему. Он как бы исчез из ее жизни.

Но вот стихи. В рукописи они называются «Без даты».

> ...А человек, который для меня
> Теперь никто, а был моей заботой
> И утешеньем самых горьких лет,—
> Уже бредет как призрак по окрайнам,
> По закоулкам и задворкам жизни,
> Тяжелый, одурманенный безумьем,
> С оскалом волчьим...
> Боже, боже, боже!
> Как пред тобой я тяжко согрешила!
> Оставь мне жалость хоть...

В начале 1949 года Владимир Георгиевич заболел тяжко и надолго. Скончался он 20 апреля 1956 года, лишь иногда возвращаясь к своим обычным интересам и занятиям.

Недавно Владимир Павлович Михайлов, написавший некролог по поводу смерти Владимира Георгиевича, сделал мне удивительный подарок. Он показал мне однотомник Пушкина, на котором была такая надпись:

Владимиру Георгиевичу ГАРШИНУ —
— **Человеку** и в звериных дебрях
с любовью
От Ирины Николаевны и Бориса Викторовича ТОМАШЕВСКИХ
26 января 1942 г.
Ленинград в осаде.

Книгу эту Владимиру Павловичу подарил Гаршин. Меня второй раз поразило сходство Анны Андревны и Владимира Георгиевича — дарить драгоценное. Подарок маме к Новому году — «Жития святых», полученные из рук Анны Андревны, и подарок Владимиру Павловичу — Пушкин с такой надписью. Анна Андревна тоже дарила маме только драгоценное — крест, подаренный Анрепом [1] и воспетый ею, гребень, привезенный Гумилевым из Персии, «Илиаду» с надписью от Шилейки [2] и т. д. Не просто щедрость. А способ выразить еще очень многое.

К весне 1942 года началась принудительная эвакуация, и мы получили убийственное назначение — Красноярск. В доме не было ни копейки, никаких никогда не бывших драгоценностей. Четыре серебряных ложки... Верная погибель. Тут все вспоминают, что в октябре 41-го года был от Фадеева телеграфный вызов в Москву. Это Анна Андревна в отчаянии, что оставила нас в такой беде, прилетев в Москву, умолила Фадеева дать вызов. Но Борис Викторович решительно отказался: «Без книг — я покойник, предпочитаю быть покойником с книгами». Разве можно было представить себе то, что нас ожидало! Сейчас телеграмма могла бы спасти. Все-таки — Москва. Друзья. Возможная работа. Да и перелет невелик. А до Красноярска в те времена добирались неделями. Но для этого нужно было предъявить телеграмму.

Меня посылают наверх. Потому что пойти опять могу только я. Наверху гуляет ветер, холод, дикий бедлам. Уже несколько месяцев мы ходим туда только за дровами. Точнее, за книжными полками. Какая телеграмма?! Все бумажки давно употреблены на растопку. И я возвращаюсь ни с чем. Три дня мама безжалостно гоняет меня наверх. Я уже не ищу. Я со слезами пытаюсь навести там хоть какой-нибудь порядок. Ставлю на место раскиданные книги... Стоит 20-томный французский Вольтер. Один том лежит сверху. Я машинально ставлю его на место и вижу белый кончик закладки. Вытаскиваю... Она!!! И через несколько дней мы летим в Москву.

20 марта 1942 года. Во второй раз спасены Анной Андревной!

На обложке маленького ташкентского сборника, «странно составленного», Анна Андревна, кроме обычной дарственной надписи моим родителям, написала:

---

[1] Борис Васильевич Анреп — художник, друг Ахматовой. Ему посвящено множество стихотворений. В том числе стихи, связанные с темой эмиграции.

[2] В. К. Шилейко — крупнейший востоковед. Ахматова была его женой с 1918 по 1921 год.



> А вы, мои друзья последнего призыва!
> Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
> Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
> А крикнуть на весь мир все ваши имена!
> Да что там имена!
> Захлопываю святцы!
> И на колени все!
> Багровый хлынул свет!
> Рядами стройными проходят ленинградцы
> Живые с мертвыми — для Бога мертвых нет.

А вслед за этим в письме — «ничего не знаю о Лозинском, Лидии Яковлевне и тех немногих ленинградцах, с которыми я встречалась перед войной». Эти слова относятся и к москвичам. Друзей действительно было немного. Им шлет она свои приветы из «изгнания». Интересно, что эвакуацию Анна Андревна никогда не воспринимала как спасение, а только как страшную беду. Слова этого не произносила, а только «изгнание», «беженцы». Вспомните — в поэме: «Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке, и изгнания воздух горький, как отравленное вино». Или в письме: «Из Ташкента в Россию двинулась почти вся масса беженцев 1941 г.». И здесь слышится голос Анны Андревны: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был».

Какое счастье, что в эти годы около нее оказались такие люди, как Лидия Корнеевна Чуковская, Валерия Сергеевна Срезневская, Николай Иванович Харджиев!

Я называю только тех, кто упомянут в письмах.

О **Лидии Корнеевне Чуковской** знают все. Она была не только другом. Она была прежде всего летописцем жизни Анны Андревны с 1938 года. Единственным человеком из окружения Анны Андревны (кроме, впрочем, Павла Николаевича Лукницкого и, может быть, Харджиева), который вел дневник встреч и бесед с Анной Андревной. В этом Лидия Корнеевна — истинная дочь своего отца. От Лидии Корнеевны я знаю: когда она рассказала отцу, что в тюремной очереди познакомилась с Ахматовой, Корней Иванович ответил: «Надеюсь, ты записываешь каждое ее слово».

**Валерия Сергеевна Срезневская**, друг Анны Андревны с гимназических времен. В день ее смерти 9 сентября 1964 года Анна Андревна написала:

> Почти не может быть, ведь ты была всегда...

И дальше:

> О как менялось все, но ты была всегда,
> И мнится, что души отъяли половину...

Надо ли объяснять, каким человеком была Валерия Сергеевна и кем она была для Анны Андревны!

**Николай Иванович Харджиев**, литератор, крупнейший знаток изобразительного искусства, умнейший, образованнейший человек нашего времени, фанатик, чудак, сохранивший каким-то фантастическим образом несокрушимую страсть к поэзии, детскую душу и язвительность, был верным и преданным другом Анны Андревны всю жизнь. Никогда не забуду, как он зимой 1943 года примчался к нам ночью на Гоголевский бульвар, требуя теплые вещи для Льва Николаевича Гумилева, которого везли из лагеря на фронт. Брошенный из окна теплушки треугольничек письма чудом дошел до Харджиева. Нужны были теплые вещи. Но Николай Иванович их никогда не имел. Он вообще ничего никогда не имел, ходил даже без шапки. И вот кинулся их собирать, потом искать на запасных путях полутюремную теплушку и... нашел!

**Лидия Михайловна Энгельгардт** — жена Бориса Михайловича Энгельгардта, литератора, переводчика, очень образованного и умного человека, друга и собеседника Анны Андревны на протяжении многих, многих лет. Лидия Михайловна была и сама человеком значительным и интересным.

Анну Андревну с Энгельгардтами соединяло и другое — трагические события 1921 года. Энгельгардт был товарищем Гумилева; их арестовали одновре-

мению. Во время ареста Бориса Михайловича его жена (он был женат тогда на родственнице Гаршина), обезумев от горя, бросилась в пролет лестницы и погибла. Борис Михайлович сохранил навсегда дружбу с этой семьей. Он и познакомил Анну Андреевну с Владимиром Георгиевичем.

Они часто посещали Анну Андреевну у нас на канале Грибоедова, сидели в нашем бомбоубежище. 16 ноября 1941 года Борис Михайлович подарил нам «Большие надежды» Диккенса в своем переводе. Книга, казалось, так неуместно вышедшая в самом начале войны, стала любимым чтением в первую блокадную зиму у обитателей подвала на канале Грибоедова.

Судьба Энгельгардтов была трагична. Оба они умерли в блокаду в феврале 1942 года.

**Лидия Яковлевна Гинзбург** — друг и собеседник Анны Андреевны, написавшая самые замечательные мемуарные страницы о своих современниках. Страницы-размышления о русской культуре, о Пушкине и о многом, многом другом.

Лидия Яковлевна была одновременно и другом моих родителей. Однажды я спросила у нее, почему она никогда ничего не написала о Борисе Викторовиче, с которым ее связывало так много. Она задумалась и сказала: «Я много раз пыталась, но никогда не получалось. Потом я поняла почему — в нем не было суетности». Мне кажется, что и эта фраза принадлежит к лучшим мемуарным страницам.

Необыкновенная цельность и верность своему видению русской культуры сделала ее жизнь весьма трудной. Блестящая ученица формалистов, она была вынуждена многие годы зарабатывать свой хлеб мелкими литературными поделками. Живя в Ленинграде — читать лекции в Петрозаводске. И только в 60-х годах стали выходить одна за другой ее замечательные книги: «О лирике», «О литературном герое», «О психологической прозе», «О старом и новом». Книги, снискавшие ей настоящую славу. Кроме того, ею написано повествование в совершенно особом жанре — «Записки блокадного человека». Быть может, самое главное и глубокое, что написано о блокаде.

Сейчас Лидия Яковлевна Гинзбург — лауреат Государственной премии СССР, и на ее выступления собираются толпы людей.

О **Михаиле Леонидовиче Лозинском** мне писать трудно, хотя я знала его со своего детства, испытала на себе его удивительную доброту, изысканное великодушие и обожала его так же, как Анну Андреевну. Я знала, что Михаил Леонидович был другом Анны Андреевны, знала, что даже любимым другом, знала наизусть все стихи, ему посвященные. К нам на Пасху они приходили всегда вдвоем. Мне до сих пор Пасха кажется их праздником. Это был самый большой праздник в нашем доме. Хотя больше никто не приходил, оставалось впечатление чего-то огромного, светлого, элегантного, блистательного и остроумного.

И, конечно, знала, что всю свою жизнь он прожил в коммунальной квартире. В ней же он и «превратился в мемориальную доску».

Все остальное Анна Андреевна написала в «Слове о Лозинском».

**Борис Леонидович Пастернак** — друг Анны Андреевны, с которым в разные годы возникали у нее самые разные отношения — то близкие, то далекие, то абсолютное взаимопонимание, то абсолютное отталкивание. Борис Леонидович очень любил Анну Андреевну, нежно о ней заботился, помогал. Анна Андреевна очень любила рассказывать, как Борис Леонидович, стесняясь, рассовывал в ее комнате деньги, и после его отъезда надо было их разыскивать. Но в поэзии Ахматовой он, по-видимому, принимал не все. Интересно, что его автобиографические записки, вобравшие в себя всех, кто играл в его жизни и творчестве важную роль, вообще не содержат ее имени. Между тем он писал ей восторженные письма-отзывы, отмечая потоком номеров лучшие ее стихи. Анна Андреевна утверждала, что он просто не читал их. В то же время в одном из писем к Ирине Николаевне она сообщает, что получила от Бориса Леонидовича восхитительное письмо с совершенно изумительным анализом поэмы.



25 октября 1958 года Анна Андреевна потребовала меня на Красную Конницу [1]. «Зоя, что-то случилось. Мне уже несколько раз звонили из Москвы и спрашивали, как я себя чувствую». В это время зазвонил телефон. Я взяла трубку. Тревожный голос спросил: «Как себя чувствует Анна Андреевна?» Я ответила, что Анна Андреевна очень встревожена тем, что все об этом спрашивают. Что случилось? Трубку повесили. Мы долго сидели молча. Я думала о том, кому бы позвонить, а Анна Андреевна неожиданно вычислила: «С Борей что-нибудь. Спуститесь, купите газету». Я вернулась с газетой. Не разворачивая ее, Анна Андреевна подала мне листок старинной бумаги и, как это часто бывало, стала диктовать стихи:

> И снова осень валит Тамерланом,
> В московских переулках тишина,
> За перекрестком или за туманом
> Дорога непроезжая видна.
> Так вот она, последняя!..

Своей рукой она написала: 1949—1958. 25 окт. Ленинград.

Это был первый день газетной травли Пастернака (странным образом это стихотворение во всех сборниках датируется 1947 годом и Фонтанным Домом, хотя дописывалось оно уже после смерти Пастернака).

Однажды, рассказывая о том, как Глеб Горбовский читал ей стихи по поводу присуждения Пастернаку Нобелевской премии, она прочла их наизусть:

> В середине двадцатого века
> на костер возвели человека
> И пытали его, и томили,
> Чтоб он стал невесомее пыли.

И тут же воскликнула: «Но костра не было!» Что-то мешало ей, против чего-то в Пастернаке она восставала.

Анна Андреевна не была на похоронах Бориса Леонидовича. Она лежала в больнице. Там она написала знаменитое теперь стихотворение «Умолк вчера неповторимый голос...».

И в конце:

> ...И все цветы, что только есть на свете,
> Навстречу этой смерти расцвели.
> Но сразу стало тихо на планете,
> Носящей имя скромное... Земли.

**Цявловские... Татьяна Григорьевна Зенгер и Мстислав Александрович Цявловский** — пушкинисты. Люди светские и вместе с тем добрые и душевные. Около них всегда невольно возникал какой-то особый климат средоточия интеллектуальной жизни, доброжелательности и бескорыстия. Дружба с ними возникла у Анны Андреевны в годы, когда замечательная ее работа о «Сказке о золотом петушке» принесла ей славу подлинного пушкиниста. С тех пор ею были написаны несколько интересных работ — «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина», «Каменный гость» Пушкина, о 8-й главе «Онегина», «Александрина», заметки и размышления, блистательное «Слово о Пушкине». Пушкинисты чрезвычайно высоко ценили «пушкинизм» Ахматовой. Борис Викторович Томашевский считал работу о «Золотом петушке» настоящим открытием, а саму Анну Андреевну лучшим знатоком Пушкина, что и написал на одной из подаренных ей книг. Анна Андреевна всерьез гордилась этой надписью. Постоянно показывала ее всем, всякий раз приговаривая: «Надо было знать Бориса Викторовича, чтобы оценить эту надпись». Пушкинистские интересы свели Анну Андреевну и с художником Осмеркиным.

**Александр Александрович Осмеркин** — замечательный художник, многие годы профессор Академии художеств и Московского Суриковского института, очаровательный человек, страстный поклонник поэзии и, конечно, пушкинист. «Пушкинизм» этих людей носил какой-то совершенно особенный, личностный характер. Их любовь к Пушкину имела в виду не только поэзию. Пушкин был для них

[1] Улица Красной Конницы — там жила Ахматова после выселения из Фонтанного Дома.

некой основой жизни — культурной, нравственной, эстетической. Верность и преданность ему выражались самым буквальным образом. Одна история с Осмеркиным замечательно это иллюстрирует. У Александра Александровича было несметное множество альбомов, им самим созданных из репродукций, относящихся к Пушкину, к пушкинскому времени. И максимальное расположение к гостю обозначалось тем, что Александр Александрович доверительно показывал эти альбомы, сопровождая рассказами, стихами и своим восхищением. Однажды такой чести удостоилась некая дама, пришедшая в гости к Осмеркиным. Все было прекрасно, пока не дошли до знаменитого портрета Дантеса. Дама сказала: «Все-таки красив! Можно понять Наталью Николаевну». Боже, что тут было с Осмеркиным! Побагровев, он вскочил и гневно сказал: «Мое единственное желание — никогда не видеть вас в моем доме!» И вышел из комнаты.

Я познакомилась с Александром Александровичем почти при таких же обстоятельствах. В 1942 году мне нужно было отнести Осмеркину какую-то академическую повестку. Я безумно обрадовалась, представив себе, что увижу этого ослепительно голубоглазого артиста, каким он помнился мне по Академии. Он ходил в элегантной светло-серой шубе, собольей шапке, носил трость с серебряной ручкой.

Дверь открыл он сам. Серая шуба потеряла всю свою элегантность и была подвязана женским чулком, потертая соболья шапка натянута как чепчик. Не глядя, он сунул повестку в карман и спросил с робкой надеждой: «Вы любите стихи?» «Очень». Он обрадовался и просительно сказал: «Поиграйте с нами, пожалуйста. Мы с Левушкой играем, но вдвоем — неинтересно». И потащил меня в мастерскую. «Левушкой» оказался ни больше ни меньше как Лев Бруни. На нем был тоже «чепчик». Только из черного каракуля. Игра была очень простая. Но от растерянности я все время проигрывала, что их вовсе не огорчало. Наоборот, приводило в восторг, поскольку выигрывали все время они. И вот вышла буква «ж». Оба уныло сказали «пас», а я, покраснев до пят от удовольствия, произнесла: «Жил на свете рыцарь бедный». Александр Александрович был счастлив: «Это же любимые мои стихи! Вы придете завтра?» Потом пришел он сам, и всем в доме казалось, что все знали друг друга всегда.

Перед войной он сделал замечательный портрет Анны Андреевны на окне Фонтанного Дома. В белую ночь. Потом я узнала, что и Бруни сделал ее портрет.

Судьба Осмеркина была печальна. После постановления 1948 года он был изгнан отовсюду — из институтов, из Союза художников, обвинен во всех злодеяниях против советского искусства и умер фактически в нищете, 25 июня 1953 года. Почти в день рождения Ахматовой. Хоронили его несколько человек. В том числе — Анна Андреевна.

Есть одно имя, не упомянутое в письмах, но как бы спрятанное в последнем ташкентском адресе Анны Андреевны — улица Жуковского, 54 — и в самом замечательном из публикуемых писем. Это имя **Елены Сергеевны Булгаковой.**

В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолунья.

Анна Андреевна переселилась в комнату Елены Сергеевны в 1943 году, когда Елена Сергеевна уехала из Ташкента. Это оттуда написано: «У меня новый дом, с огромными тополями за решеткой окна, какой-то огромной тихостью и деревянной лесенкой, с которой хорошо смотреть на звезды. Венера в этом году такая, что о ней можно написать поэму». От этого письма веет покоем и тихой печалью. Даже надеждой.

Елена Сергеевна была удивительной женщиной. Об этом говорили все, кто ее знал. Она дарила людям покой, надежду и силу даже в самые страшные минуты их жизни. И Анне Андреевне пришлось тоже это испытать.

У Рихтеров в Рождество всегда играли в устные игры. В одной из них каждый должен был рассказать о себе самое счастливое. Когда очередь дошла до Елены Сергеевны, она сказала: «Михаил Афанасьевич, Сережа [ее сын] и я сидим за столом. Каждый шепотом меня спрашивает — кого ты больше всех любишь? И я каждому шепотом отвечаю: тебя».



Это была ее профессия — дарить людям свою любовь.

И о самом страшном в жизни Анны Андреевны — о сыне.

**Лев Николаевич Гумилев** — замечательный ученый, профессор Ленинградского университета, блестящий лектор и неотразимый полемист. Личность почти легендарная. Когда-нибудь о нем будет написана книга.

Отсидев в 1943 году свой уже не первый срок, он отправился добровольцем на фронт (из лагерей посылали только в штрафные роты). Брал Берлин. Вернувшись после войны в Ленинград, за полтора года своей свободной жизни умудрился экстерном окончить университет и защитить кандидатскую диссертацию.

В нашем доме он был любим всеми. С каким восторгом Борис Викторович пересказывал ехидные слова Крачковского о том, что весь ученый синклит университета, собранный на экзамен Гумилева, не мог тягаться с ним в знаниях. Бескомпромиссность и бесстрашие Гумилева — тоже предмет легендарных рассказов. Для доказательства какой-то научной гипотезы ему необходимо было спуститься на дно Каспийского моря. Он не умел плавать. Но немедленно сдал экзамен по подводному плаванию и провел экспедицию. Мало кто знает, что Лев Николаевич занимался переводами восточных поэтов и делал это превосходно.

К сожалению, и сейчас мало что изменилось в его жизни. Он по-прежнему живет в коммунальной квартире. По-прежнему трудно проходят его книги. Тут, однако, есть надежда, что теперь они выйдут все сразу.

Мне кажется, лучшее и главное, что сказано об Ахматовой, содержится в письме **Николая Николаевича Пунина** из самаркандской больницы от 14 апреля 1942 года:

> «Мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и совершенна, как Ваша: от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей — и это мне казалось особенно ценным,— а той органичностью, то есть неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит».

Это Пунин при последнем своем аресте произнес то великое прощальное слово, которое любила повторять Ахматова,— «Главное, не теряйте отчаяния».

Своим несколько необычным комментарием к письмам мне хотелось рассказать о тех, кто вольно или невольно помог Анне Андреевне только тем, что вместе с ней не терял отчаяния.

# Большой поэт и большой человек

*Анна Ахматова и Георгий Адамович. Эти два имени закономерно можно поставить рядом: их творческие пути начались почти одновременно, в Петербурге, «на парнасе Серебряного века», как назвал это время один из их современников; до 1923 года, когда Г. Адамович уехал за границу, они вместе участвовали в работе «Цеха поэтов», руководимого Н. С. Гумилевым, выступали на литературных вечерах... Ахматова всегда была для Адамовича примером жизненного и творческого мужества, о глубоком уважении к ее имени писал он и в стихах, и в прозе.*

*Во второй половине шестидесятых годов Г. Адамович неоднократно выступал с радиолекциями (на русском языке), в которых он в надежде, что его голос будет услышан советскими радиослушателями, говорил о новостях литературной жизни в СССР и в эмиграции, о новых книгах, о том самом важном, что хотелось ему донести до советской аудитории. В 1967 году в Париже вышла маленькая, всего в 32 страницы, книжка — «О книгах и авторах. Заметки из литературного дневника», в которой Г. Адамович собрал некоторые из своих очерков, прозвучавших по радио. Книга эта сразу стала библиографической редкостью.*

*Главной задачей своей работы он считал необходимость рассказать о творчестве писателей и мыслителей, «без которых русская литература не была бы тем, что она есть». Темами его очерков стали творческие судьбы Н. Бердяева, Вяч. Иванова, Л. Шестова, В. Розанова; он говорил о месте в русской литературе поэзии И. Бунина в связи с выходом в свет первого тома девятитомного собрания сочинений его, выпущенного издательством «Художественная литература» в Москве в 1965 году. Один из очерков посвящен биографической книге Анри Труайя («настоящая фамилия которого Тарасов») о Льве Толстом, в другом он отзывается на дискуссию о творческой судьбе Маяковского, материалы которой были опубликованы в июльской книжке «Октября» за 1963 год. Этот очерк — «Судьба Маяковского» — особенно примечателен. Г. Адамович писал, что «есть люди, только поэзией и только для поэзии и живущие и все-таки неспособные Маяковского полюбить». Эта формула, думается, характеризует отношение к Маяковскому и самого Адамовича — однако он отдает должное поэту. «А талант, повторяю, был огромный, редкий, и надо иметь «пробку вместо уха» (выражение Ремизова...), «чтобы этого не расслышать». Рассказывает Г. Адамович в книге и о своих беседах с советскими студентами в Англии, где он преподавал русский язык в университете г. Манчестера.*

*Среди других в книгу включен и очерк «Большой поэт и большой человек», посвященный Анне Андреевне Ахматовой. Его мы и предлагаем читателям «Октября» сегодня, в дни, когда мир отмечает столетие со дня рождения великой русской поэтессы.*

*Небольшой объем очерка не дал возможности автору подробно говорить о какой-либо проблеме, связанной с творчеством Ахматовой. И все же тема очерка очень конкретна: Ахматова и европейская поэзия. Но по ходу развития «сюжета» Г. Адамович касается множества проблем общего плана: влияние русской поэзии на западную; пути развития французской поэзии в сравнении с русской; восприятие творчества Ахматовой зарубежным читателем; «иностранные» влияния — литературные и общекультурные,— испытанные Ахматовой; роль поэзии Иннокентия Анненского в творчестве Ахматовой и т. д.*

*К этим темам Г. Адамович возвращался неоднократно, размышляя о творчестве Ахматовой; например, схожие суждения о родственности Ахматовой поэзии Анны де Ноай и Марселины Деборд-Вальмор можно найти в его газетной статье 1935 года. Он писал:*

*«Удивительное дело, как загипнотизировала Ахматова вот уже скоро на целую четверть века чуть ли не всех русских поэтесс своим любовным томлением, своими краткими и блестяще точными формулировками его, самим тоном своих стихов. В поисках объяснения почти беспримерного ее влияния приходишь к мысли, что, очевидно, Ахматова непогрешимым инстинктом нашла как бы общеженские или средне-женские ноты в творчестве,— и когда читаешь других самобытных женщин-поэтов, Марселину Деборд-Вальмор, например, «плаксивую Марселину», к которой Ахматова порой так близка, или назойливо-красноречивую Анну де Ноай, которая на своем веку среди груды полухлама и полумусора написала несколько прелестнейших стихотворений, когда читаешь их книги, убеждаешься, что женщинам часто случается говорить об одном и том же без всякого взаимного воздействия. Подчеркиваю: случается. О том, что сходство девяноста девяти процентов всего числа молодых русских поэтесс с Ахматовой случайно, речи быть не может: тут влияние несомненно. Но Ахматова-то нисколько не подражала Деборд-Вальмор и, насколько мне известно, даже не читала ее, — она естественно и свободно договорилась до тех же слов, — и потому-то у нее оказалось столько последовательниц, что ее путь природно-естествен — как поэтическая индивидуальность она не менее своеобразна и ярка, чем, скажем Зинаида Гиппиус или Марина Цветаева, но в ней как бы растворились десятки тысяч женщин, — в то время как Гиппиус и Цветаева только за себя отвечают, за себя пишут, размышляют и чувствуют» (газета «Последние новости», Париж, 1935, № 5201).*



*По словам авторитетнейшего специалиста по поэзии Ахматовой Р. Д. Тименчика, Анна Андреевна была знакома с этой статьей Адамовича, так как она упомянута ею в материалах к автобиографии.*

*Тонкий и наблюдательный критик, Г. Адамович в небольшом по объему очерке сумел наметить, как видим, темы и пути дальнейших исследований, которые еще предстоит сделать. Но его задача была иной. Влиявший на литературу, по словам Ю. П. Иваска, «напоминанием о заветах», обращавшийся к вершинам русской культуры, Г. Адамович своим высоким авторитетом как бы подтверждал: «Русский духовный мир богат, своеобразен, противоречив и сложен, и... рано или поздно новые русские поколения должны будут это драгоценное наследие принять, как именно им завещанное».*

Имя Анны Ахматовой стало известно и широко популярно в России больше полувека тому назад. На Западе слава Ахматовой утвердилась много позднее, но в настоящее время стихи ее переведены на большинство европейских языков и написано о ней немало статей. Творчество Ахматовой изучается в университетах. В последние два года о ней настойчиво говорили как об одном из кандидатов на Нобелевскую премию.

Известность Ахматовой можно, следовательно, без натяжки назвать мировой. Гораздо более спорен вопрос о ее влиянии на современную мировую поэзию, и надо сразу подчеркнуть, что спорность эта относится не столько лично к Ахматовой, сколько ко всем русским стихотворцам без исключения. Даже величайшие наши поэты — Пушкин, Лермонтов, Тютчев — оказали на западную поэзию влияние сравнительно слабое, несоизмеримое с их значением и гениальным дарованием. Объясняется это до крайности просто: малой распространенностью русского языка и тем, что по-настоящему оценить поэта можно, только читая его в подлиннике.

Мериме в присутствии Виктора Гюго — и к великому его изумлению — назвал Пушкина первым поэтом девятнадцатого века. Но Мериме знал русский язык и лишь благодаря этому проявил редкую по тем временам прозорливость. Разумеется, влияние русской литературы сейчас на Западе огромно, но это — влияние прозаиков, главным образом Толстого и Достоевского. Влияние поэтов очень ограничено, и отрицать это можно лишь при склонности к заведомому искажению фактов. Ахматова или Блок, Пастернак или Маяковский имеют, конечно, отдельных последователей, учеников, исключительных, страстных почитателей, но именно в порядке исключения.

С Ахматовой дело осложняется еще и тем, что она особенно строго соблюдает логическое развитие стихотворной речи. Профессор парижской Сорбонны Софи Лаффитт[1] в предисловии к сборнику ахматовских стихов пишет, что каждое из этих стихотворений — «маленькая, сжатая, реалистическая драма». Совершенно верно! Верно и то, что Ахматова следует пушкинской традиции, обновляя ее и по-своему ее модернизируя. Но на Западе, у западных поэтов логика сейчас не в почете, и началось это наступление на нее очень давно, чуть ли не сто лет тому назад. Маллармэ строил большинство своих стихотворений как ребусы; Верлен призывал «свернуть красноречию шею». Мне вспоминается в связи с этим появившаяся года полтора тому назад заметка Клода Мориака об Ахматовой. Клод Мориак (сын знаменитого романиста Франсуа Мориака) — критик, специализировавшийся на такого рода новизне, как «новый роман», пропагандируемый Аленом Робб-Грийе и Натали Саррот[2], или поэзии, основным свойством которой является то, что при малейшей попытке передать ее своими словами, без поддержки ритма, она превращается в совершенный абсурд.

Мориак писал об Ахматовой с подчеркнутым уважением, как о большом, общепризнанном поэте, однако и со сквозившей между строками растерянностью, будто от бессилия перешагнуть через пропасть, отделяющую ахматовские «маленькие, сжатые драмы» от привычной для него лирики, ускользающей от рассудочного анализа и неизменно украшенной пышными образами. Кстати, достойно внимания, что у Ахматовой образов и метафор крайне мало, в чем

с особой очевидностью обнаруживается ее верность Пушкину, его сдержанности и его непогрешимому вкусу.

Было бы интересно коснуться вопроса, так сказать, обратного, противоположного — об иностранных влияниях, испытанных Ахматовой, а заодно и о ее месте в современной поэзии, взятой как нечто единое, независимо от различия языков, школ и направлений. Но это потребовало бы много времени. Вся новая русская лирика, та, которую принято теперь называть поэзией «Серебряного века», выросла и сложилась под влиянием французской послебодлеровской поэзии. Франция в этом смысле взяла реванш над Англией и Германией, владевшими умами наших поэтов в век «золотой» — пушкинский. Ахматова не осталась в стороне от общего увлечения. Да и могло ли быть иначе, если вспомнить, что она долго жила в Париже[3] и, будучи совсем юной, вышла замуж за Гумилева[4], видевшего во французской новой поэзии высшее достояние современной культуры? Могло ли быть иначе, если она была страстной поклонницей, а отчасти и ученицей Иннокентия Анненского[5] и,— как сама недавно призналась,— «забыла все на свете», читая в гранках посмертный сборник Анненского «Кипарисовый ларец»?[6]

Анненский из всех поэтов «Серебряного века» ведь тот, кто французов особенно тонко и верно понял и с неподражаемым своеобразием переложил на свой, глубоко русский лад. Ахматова читала французов с не меньшим, чем он, усердием. Не раз ее сравнивали с Анной де Ноай[7], самой крупной французской поэтессой последнего времени. Сравнение едва ли основательное. Анна де Ноай гораздо велеречивее, напыщеннее, театральнее Ахматовой и отдаленно схожа с ней, пожалуй, лишь в разработке типично женских напевов и тем. Но и в этом отношении Анна Ахматова ближе другой французской поэтессе, давно скончавшейся, однако до сих пор не забытой — Марселине Деборд-Вальмор[8], любимице Верлена. Здесь скорее родство, чем влияние: тот же горестный тон, то же отталкивание от внешних эффектов и порой та же острота выражений.

Думаю, не может быть сомнений, что Ахматова — самое крупное женское имя в истории русской поэзии. Замечательно в ее творчестве, однако, то, что, оставшись женщиной, она оказалась способной стать прежде всего человеком, Человеком с прописной буквы, отчего в отношении к ней и неуместно слово «поэтесса». Ахматова — не поэтесса, а поэт, всегда, во всем, о чем бы стихи ее ни говорили. В наше время она — поэт национальный, выразитель своей эпохи, каким был в начале столетия Александр Блок.

Мы, русские, это знаем. Иностранцы об этом догадываются и, догадываясь, все тверже этому верят.

### ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Софи Бонио-Лаффитт издала в Париже в 1959 г. сборник стихотворений А. А. Ахматовой (Achmatowa A. Poesies. Tradiction et Prèface de S. Laffitte. Paris, 1959). Сама Ахматова, говоря о переводах своих стихов на Западе, в лекции «Ахматова и борьба с ней» оценивала их очень низко: «Там (за границей.— **И. В.**) мое положение было еще более безнадежным, потому что моя единственная защита, т<о> е<сть> сами стихи — отсутствовали, а на их месте были чудовищные переводы-подстрочники с перепутанным смыслом».— Анна Ахматова. Автобиографическая проза. Публикация Р. Д. Тименчика. «Литературное обозрение», 1989, № 5.

[2] Ален Робб-Грийе (1922 г. р.) и Натали Саррот (урожденная Черняк, 1900 г. р.)— основоположники течения «нового романа» во французской литературе.

[3] А. А. Ахматова была в Париже с Н. С. Гумилевым весной 1910-го и весной 1911 гг.

[4] Н. С. Гумилев был мужем А. А. Ахматовой в 1910—1918 гг.

[5] «Я веду свое «начало» от стихов Анненского»,— писала Ахматова — Анна Ахматова. Сочинения в 2 т. М., «Художественная литература», 1986. Т. 2, с. 203. Этот текст опубликован уже после смерти Г. В. Адамовича.

[6] «Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете».— Анна Ахматова. «Коротко о себе». Сочинения в 2 т. М., «Художественная литература», 1988. Том 2, с. 237. Таких признаний в автобиографической прозе Ахматовой несколько.

[7] Анна Элизабет, принцесса Бранкован, графиня Матье де Ноай (1878—1933) — французская поэтесса, автор нескольких романов и эссе. Член Королевской академии Бельгии (1922).

[8] Марселина Фелисите. Жозефина Деборд, жена Ф. П. Ланшантена, прозванного Вальмор (1786—1859) — французская поэтесса, представительница романтизма, автор романов, стихотворных и прозаических сказок и повестей. Ее дарование высоко ценили Бодлер, Верлен, другие литераторы. Наиболее полно поднятая Г. Адамовичем тема рассмотрена в книге Андрея Левинсона «Пересечения. Двадцать восемь этюдов о современных писателях». Предисловие Поля Валери. Париж. 1928. Вошедшая в книгу статья «Анна Ахматова — русская Марселина» в переводе с французского опубликована в «Литературном обозрении», 1989, № 5 (публикация Р. Д. Тименчика).

*Публикация, вступительная статья и примечания Игоря ВАСИЛЬЕВА.*

# *По страницам книг и журналов*

## Иллюзии и дорога

•

**А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Град обреченный.** Роман. «Нева», 1988, №№ 9, 10; 1989, №№ 2, 3.

•

«...Мир, если глядеть на него отсюда, явственно делится на две равные половины. К западу — неоглядная сине-зеленая пустота — не море, не небо даже — именно пустота синевато-зеленоватого цвета. Сине-зеленое Ничто. К востоку — неоглядная, вертикально вздымающаяся желтая твердь с узкой полоской уступа, по которому тянулся Город... Бесконечная Пустота к западу и бесконечная Твердь к востоку. Понять эти две бесконечности не представлялось никакой возможности. Можно было только привыкнуть».

Таков пейзаж, в котором разворачивается действие романа братьев Стругацких «Град обреченный». Исходные данные здесь задаются, как это принято у Стругацких, с избыточной, захватывающей воображение неопределенностью. Город населен людьми из разных стран и времен, поддавшихся уговорам неких загадочных Наставников принять участие в не менее загадочном Эксперименте. От понимания смысла и целей последнего жители Города отделены емкой формулой: Эксперимент есть Эксперимент. Ведь проникновение в его суть повлияет на поведение участников и тем самым нарушит чистоту Эксперимента. Впрочем, это отнюдь не мешает городским властям вкупе с Наставниками призывать население к правильному пониманию задач Эксперимента, к жертвам во имя его.

А в «феноменологии» Эксперимента, то бишь в повседневной жизни Города, действительно ко многому надо привыкать, не претендуя на понимание. Чуть ли не каждый день на жителей обрушиваются новые напасти: превращение воды в желчь, эрозия построек, нашествие павианов, «тьма египетская». К ним добавляются странности принятого социального порядка. Например, все горожане обязаны периодически менять профессии. Сегодня ты водитель мусоровоза, завтра — товарищ министра, а послезавтра — директор театра. Словом, обстановка, по степени напряженности и непредсказуемости приближенная к фронтовой.

Так что же перед нами — еще одна злая сатира на «негативные явления» нашей жизни, нашего общественного уклада? Напомню, что роман был закончен в 1972 году, и подлинная сатира в ту пору была «штучным товаром» — к ней можно отнести, пожалуй, некоторые произведения Ф. Искандера, В. Войновича да еще блистательную «Сказку о Тройке» самих Стругацких. Что ж, сатирические аллюзии, гиперболическое, доводящее до абсурда изображение всяческих нелепиц и несуразностей есть в этом романе. Но не это здесь главное.

Рукопашные схватки с оппонентами, обскурантами и консерваторами, реформистский пыл, надежды на лечение социальных язв смехом — это все, если сравнивать, атрибуты духовной жизни наших шестидесятых годов. Начало следующего десятилетия радикально изменило общественную и духовную ситуацию. Растаяли упования на демократизацию политической жизни страны, на обновление социального и государственного устройства в духе возвращения к «истокам», к идеалам творческого марксизма. Застой только вступал в свои права, но его удушливые испарения уже вытесняли «свободные умы» в стратосферные слои, откуда лучше просматривались общие очертания исторического процесса последних десятилетий, его бытийная конфигурация. Время располагало не к поиску быстродействующих лекарств, а к углубленному осмыслению истории болезни.

«Град обреченный» при внимательном прочтении тоже оборачивается книгой итогов, опытом серьезного переосмысления многих парадигм, десятки лет господствовавших в нашем общественном сознании. Ну а литературная форма, в которую этот опыт отлился,— привычное для Стругацких остросюжетное повествование, в котором проклятые вопросы общественного бытия, духовно-нравственной ориентации человека в мире рассматриваются сквозь укрупняющую и обобщающую призму исходного фантастического допущения.

Главный герой романа — Андрей Воронин, ленинградец, комсомолец, выпускник университета по специальности «звездный астроном», попавший в Город из 1951 года с целью добровольно содействовать Эксперименту. В первой части романа — «Мусорщик» — это простой, симпатичный парень, энтузиаст, непоколебимо убежденный в высоких и благородных целях Эксперимента, главная из которых, по его мнению,— «установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами». Он с восторгом принимает условие Наставников: «верить в идею до конца, без оглядки». И его очень печалит, что не все из окружающих его людей разделяют эту веру.

Сцена дружеской пирушки на квартире Андрея венчает первую часть романа и запечатлевает атмосферу «героического периода» истории Города. За одним столом сидят, попивая самогон и отчаянно споря, фермер дядя Юра, пуще всего на свете ценящий волю, и незаметный, невозмутимый китаец Ван, и бывший унтер-офицер вермахта Фридрих Гейгер, одержимый скрываемой до поры волей к власти, и настороженно-вдумчивый японец Кэнси Убуката, и ехидно-любознательный, во всем сомневающийся Изя Кацман, прибывший в Город из того же Ленинграда, но в 1968 году. Ах, как умиляется этому застольному братству и верит в его нерушимость наивный, искренний Андрей Воронин!

Но уже следующая часть романа выявляет сомнительные, опасные стороны прекраснодушия героя, его готовности беззаветно и слепо служить общественному благу. Андрей сменил профессию мусорщика на должность следователя. В его руках судьбы людей. Он хочет честно заниматься своим делом — ловить жуликов, уголовников. Но звучат из уст шефа сакраментальные слова: внешняя опасность... угроза нашествия... шпионаж, попытки саботажа, диверсии... Сознание Андрея, выплавленное в тигле сталинистской бдительности, послушно, рефлекторно реагирует на эти сигналы. И в новом свете предстает перед ним казавшееся мифическим дело о Красном Здании, возникающем в разных точках города и «проглатывающем» людей. Теперь оно видится Воронину воплощением злокозненной деятельности внутренних и внешних врагов.

И — вот они, привилегии фантастической вседозволенности — Красное Здание внезапно является самому герою. Он вступает под его своды и становится участником Игры, вершащейся в мраморном, пышно изукрашенном зале. А партнером Андрея по шахматной партии становится «пожилой человек в полувоенной форме» — вождь, великий стратег, кумир юности героя.

Что означает в смысловой партитуре романа эта причудливая партия, в которой с каждой фигурой и пешкой сопоставлена человеческая жизнь? Изя Кацман, отгадчик, Вергилий, сопровождающий Андрея по кругам этого фантасмагорического мира, обронит о Красном Здании: «Бред взбудораженной совести». Вот именно. У каждого — свое Красное Здание, в нем материализуются подсознательные психологические комплексы, призраки страха и вины. Внутренний конфликт между естественными склонностями натуры Андрея и его сталинистской идеологической закваской претворяется в кошмар шахматного поединка, по ходу которого гибнут то его лучшие друзья, то сподвижники и конкуренты великого стратега.

Ощущая свою неспособность участвовать в смертоносной Игре, Андрей покидает Красное Здание. Но бредовая реальность Города заявляет свои права. На допросе у следователя Воронина оказывается Изя Кацман, находящийся под подозрением в связи с делом о Красном Здании. Кацман, насмешник и скептик, во все сующий свой любопытный нос, был замечен выходящим из Здания. Кому же, как не ему, быть агентом враждебных Городу внешних сил? И эта примитивная, извне навязываемая логика заставляет Андрея забыть его собственные суждения об Изе: «...бессребреник, добряк, совершенно, до глупости бескорыстный...»

Логика мышления воплощается в логику поступков. И вот Андрей, будучи не в силах «расколоть» подследственного психологическими методами, передает Изю в руки старшего следователя Гейгера и его помощника, садиста Румера.

Но совесть-то героя томится, алчет анестезии, и на выручку, как всегда в подобных случаях, является Наставник с его успокоительными подсказками. Все, что делается,— в том числе и самое позорное — делается ради Эксперимента, во имя большинства, «темного, забитого, ни в чем не виноватого, невежественного большинства». И мысль Андрея, с готовностью заглотнув приманку, устремляется дальше: «Что такое личность? Общественная единица! Ноль без палочки. Не о единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы обязаны принять на свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писаные и неписаные законы. У нас один закон — общественное благо».

Как это перекликается с рассуждениями Николая Рубашова, героя романа А. Кёстлера «Слепящая тьма», печатавшегося в «Неве» как раз перед «Градом обреченным»! И решение Рубашова отказаться от своих убеждений, оклеветать себя, и капитуляция совести Андрея, отдавшего невиновного в руки палачей, произрастают из одного мировоззренческого корня: убежденности в том, что какой-то ограниченной группе людей принадлежит монополия на истину, на единственно верное понимание общественного блага. Такая убежденность естественно разделяет человечество на пастырей и стадо, причем первые — о, разумеется, во имя всеобщего счастья — обретают право на сколь угодно рискованные эксперименты над остальной частью рода людского.

Но Стругацкие не ограничивают свою задачу демонстрацией пагубности догматизма, опасностей, которые несут с собой религиозно-утопические мировоззренческие миражи. «Град обреченный» — попытка построить динамическую модель идеологизированного сознания, типичного для самых широких слоев нашего общества, проследить его судьбу на фоне меняющейся социальной реальности, исследовать различные фазы его «жизненного цикла». Задача, безусловно, благодарная, если всерьез задуматься о драматических процессах, происходивших за последние полвека в умах наших



мыслящих сограждан под влиянием катаклизмов отечественной истории, аналогов которым не подобрало бы самое раскованное воображение. А исходная фантастическая посылка, столь богатая возможностями, острая фабула, перенасыщенная событиями и коллизиями, обеспечивают авторской мысли «пространство полета», помогают Стругацким исследовать парадоксальные метаморфозы мировоззренческой системы, складывавшейся в 30—40-е годы.

Ситуация в Городе резко меняется. В результате переворота к власти приходит группировка Фридриха Гейгера. И еще дальше расходятся пути людей, сидевших когда-то за одним столом в квартире мусорщика Воронина. Сам он, теперь редактор одной из городских газет, как-то неожиданно для самого себя принимает новый режим — при том, что по методам захвата власти переворот вполне можно квалифицировать как фашистский,— примиряется с ним. Конформистское поклонение «объективным данностям», глубоко укорененное в его сознании, заставляет вчерашнего твердокаменного комсомольца принять к практическому руководству змеино-гибкую формулу: «Всякая власть от бога». А в это время сотрудник редакции Кэнси, исповедующий идеалы демократии и законности, восстает против произвола новых властей и получает пулю в живот.

Но мотив фашизации лишь тенью мелькает на сюжетном фоне повествования. И тут же — новая перемена декораций. Под водительством президента Гейгера Город превращается в «благоустроенное общество». Жители сыты и по преимуществу довольны. Пастыри — а к ним принадлежит и Андрей, советник президента по науке,— неустанно трудятся на благо своего стада. Но благо это теперь понимается совсем не так, как прежде. Место энтузиастических лозунгов, туманно-возвышенных обетований заняли четко формулируемые, практические, «достижимые» задачи и цели. Нынешние руководители Города — честные и компетентные администраторы, уверенно владеющие технологией управления, шаг за шагом удовлетворяющие одну материальную потребность населения за другой. Перед нами наглядное воплощение теории и практики «просвещенного менеджеризма», ожившая мечта технократа.

Разумеется, не следует искать точных соответствий между сюжетными перипетиями романа и конкретными периодами нашей истории. В фантастическом пространстве повествования притчевые обозначения реального переплетаются с моделями возможного, с умопостигаемыми вариантами социального развития. «Общество потребления», эскизно обрисованное в этой части романа, очень мало напоминает реалии нашей жизни семидесятых годов. Большинству тогдашних наших управленцев не хватало либо честности, либо компетентности, либо того и другого вместе, а обществу в целом было далеко до сытости и всеобщего довольства. Однако смена вех в господствующей идеологии Города совпадает по вектору с мировоззренческими сдвигами в нашем общественном сознании послесталинской эпохи: от абстрактного теоретизирования — к прагматизму, от пафоса самозаклания на алтаре будущего — к трезвому эгоцентризму жизнеустроения.

Андрей Воронин — «господин советник» — вполне приспособился к новому образу жизни и мышления. Он повзрослел, вырос из детских одежек аскетическо-бескорыстного служения идеалам. Горячее народолюбие сменилось снисходительно-презрительным пониманием психологии массы, стремящейся якобы лишь к материальному насыщению. Сам Андрей принимает теперь как должное свою принадлежность к высшему обществу, свой богатый дом, свою коллекцию огнестрельного оружия...

Контрастная параллель с первой частью романа: в доме Андрея снова дружеская пирушка. Но на этот раз в ней участвуют только люди нужные, высокопоставленные. В самый разгар вечера герой, выглянув в окно, обнаруживает в своем саду Красное Здание. Но теперь — темное, обветшалое, пахнущее запустением. Перед нами символ упадка воинствующей государственности, насильственно утверждающей «общественное благо», знак ее перерождения в структуры власти менее репрессивные, но по-прежнему порождающие отчуждение. Красное Здание этой части романа — одновременно образ полуразложившегося трупа сталинизма, еще пребывающего среди нас, и пародийное обозначение полупарализованного социального организма брежневской поры.

Но «приключения ценностей» еще не окончены. В пятой части романа — «Разрыв непрерывности» — герою предстоит заново произвести счисление своего жизненного курса. Теперь он возглавляет экспедицию, посланную Гейгером на поиски источников воды и Антигорода. Ни того, ни другого обнаружить не удается. По мере углубления экспедиции в загадочные, опасные пространства непознанного Андрею приходится все более крутыми мерами подавлять ропот своих подчиненных, тех самых простых людей, интересам которых он служил и с юношеской горячностью, и со снисходительной умудренностью зрелости. Теперь герой знает только одно — любой ценой заставить отряд продолжать путь, кажущийся все более бессмысленным. В этих экстремальных условиях с его жизненной позиции облетают последние листки самооправдательных фикций: заботы об интересах ближних, морального долга. В момент истины Андрею открывается суть ситуации: в его руках оказалась власть, и он должен осуществлять ее ради нее самой, во имя функционирования системы власти, в механизм которой он входит одним из рычагов.

Спасаются только двое — сам Андрей

и Изя Кацман. Путь назад, в Город, отрезан, и им остается лишь идти дальше и дальше на север, сквозь пыль и зной откровенно враждебного мира, по дороге, лежащей между отвесной стеной и обрывом. Однако не один лишь биологический инстинкт выживания толкает их вперед. В последней части романа повествование, раздвигая социально-критические рамки, явно обретает экзистенциальную тональность. Можно ли существовать в идеологической невесомости, без привычного груза объяснительных схем, иллюзий, верований, предрассудков? Неуютно, трудно, страшно остаться вдруг без твердой почвы под ногами. Рука героя даже тянется к спусковому крючку револьвера. Но соблазн самоубийства преодолен. Двигаясь путем, не сулящим ни награды, ни даже цели, Андрей начинает постепенно ощущать своеобразное достоинство этого жестокого удела — безыллюзорного противостояния «миру без трансценденции», стремящемуся сломить человека своей видимой бессмысленностью.

Андрей Воронин, при всей своей психологической достоверности, «фактурности» — фигура, безусловно, символическая. Он сродни — пусть это сближение не покажется странным — таким литературным героям, как Ганс Касторп из «Волшебной горы» Томаса Манна или Гарри Галлер из «Степного волка» Гессе. Как и они, Андрей проходит в романе сложный путь духовного преображения, в зеркале которого отражаются идейные знамения и поветрия эпохи, ее кризисные черты. Умонастроение героя в конце романа — и надо иметь мужество признать это — очень характерно для сегодняшней духовной ситуации нашего общества. В «сумерках кумиров», среди обломков былых иллюзий и догм многие с тоской и недоумением всматриваются в прошлое, с тревогой и скепсисом заглядывают в будущее, отнюдь не уверенные, что оттуда донесется благая весть.

Впрочем, итогом авторских размышлений вовсе не является беспросветный пессимизм, отказ от поиска смыслообразующих начал. Финал романа подчеркнуто открыт, разомкнут. Добравшись до некоего конечного пункта своего странствования, Андрей вдруг оказывается в исходной точке, в своей ленинградской квартире, и узнает, что позади лишь первый из многочисленных кругов познания. «Свободы от» герой достиг. Но насколько труднее предстоящий ему путь к обретению новых общезначимых ценностей, «свободы для».

Так чем же актуален сегодня роман? Пожалуй, не радикальностью отрицания изживших себя форм мироосмысления. Важнее другое. Признаемся: наше интеллектуальное мужество прогрессирует сегодня черепашьими темпами, не поспевая зачастую за событиями. Стругацкие призывают нас видеть насущные духовные проблемы сразу во всей их остроте, задаваться эпережающими» вопросами. И не только задаваться вопросами, но и не шарахаться от самых непривычных, неудобных ответов, не вычеркивать их заранее из «веера вариантов». А еще роман напоминает нам о том, что мы находимся «в круге первом» самопознания и самоочищения.

**Марк АМУСИН**

*г. Ленинград.*

---

# На печальном мужском острове

•

**Юрий Стефанович. Натуральная школа.** Повесть и рассказы. М., «Советский писатель», 1988.

•

Братья читатели, никогда не читайте издательских аннотаций! Особенно на книги неизвестных вам авторов. Чтение произведений этого кратчайшего жанра только отвратит вас от сочинений, к которым они прилагаются.

Аннотация к книге Ю. Стефановича такова:

«В своей первой книге Юрий Стефанович предстает зрелым самобытным прозаиком, умеющим изображать картины жизни — трудные будни, внутренние переживания героев — так, что читатель невольно оказывается участником происходящих событий. Свою позицию Ю. Стефанович не декларирует, но она выражена четко. Писатель убежденно отстаивает правду жизни».

Уф! Хоть и называется издательство «Советский писатель», аннотация явно подкачала... Не говорю уж о «внутренних переживаниях» (бывают ли внешние?), о «картинах жизни» (прозаик, не умеющий их изображать,— прозаик ли?). Прочитав «Натуральную школу», я задумался: почему же этот сборник — первая книга Ю. Стефановича — появился только теперь? Повесть «Снега» датируется 1973—1974 годами. Рассказ «Голос» — 1969-м. «Последние дни бича Плецкого» — 1968-м. Вот бы издательству рассказать в предуведомлении, почему книга шла к читателю 20 лет... Конечно, рукописи не горят. Но бывает, что они стареют. Ведь время изменяет и сам мир, и наши воззрения на него.

Детали времени, отраженные в повести «Снега», претерпели изменения. Кто, например, сейчас помнит песню А. Пахмутовой «ЛЭП-пятьсот»? А в «Снегах» она звучит. Герои напевают ее как модный шлягер, пародируют ее... Отталкивание от этого «марша энтузиастов» шестидесятых годов важно и для автора, и для героев. «Хороводят березки





с соснами»,— пели двадцать лет назад хорошо поставленные голоса по радио, намекая на широкую душу песенных персонажей. Ю. Стефанович, подхватывая прилипчивый мотив, хронометрирует будни. У него-то строительство линии электропередач дается без героики, без патетики, без «душевного» лиризма. Характерно, что в повести практически нет женских образов. Нет скупых мужских слез над письмами любимых. Ничего лишнего нет. Есть трасса, и все крутится вокруг нее, причем и нам, читателям, и героям ни начало ее, ни конец не видны. Пикет, анкер, теодолит — слова эти то и дело мелькают в повести. Вместе с действующими лицами (далеко не ангелами) мы идем от опоры к опоре...

«Снега» — довольно типичное произведение для тех лет, когда было написано. Повесть эта, конечно,— уже после «исповедальной прозы», но явно одновременно с пьесами и романами на сугубо производственные темы, где технология переплетается с нравственностью, определяя ее. Может быть, на нашего писателя оказал влияние даже А. Хейли, для героев которого конвейер и есть судьба. Но это влияние, надо сказать, преодолевается автором «Снегов». Здесь производственный цикл — все-таки цикл жизни каждого персонажа... Стефанович прекрасно знает, как строятся ЛЭП, и описывает эту работу столь точно, что можно даже попробовать по этой книге возводить линии электропередач. Но дело не в технологии. Настоящая мужская жизнь — день за днем, без изъятий. В самом начале — сцена утренней опохмелки в поселковой столовой, в конце — вертолет уносит гроб с телом парня, по нелепой случайности погибшего на трассе...

Как было бы хорошо, появись «Снега» в печати сразу после того, как Ю. Стефанович их написал, сколько бы «героических» стереотипов это произведение разрушило!.. Теперь же рушить почти нечего — мыльные пузыри лопнули сами. Но оттого, что мина, заложенная Ю. Стефановичем пятнадцать лет назад, не взрывается, конфуза не происходит. Сегодняшняя ценность этой опоздавшей к читателям повести — в своеобразии персонажей.

Строится повесть из монологов. И тут подчас совершенно неважно, говорит ли автор «я» о том, чей голос звучит, или «он». Жимков, например, «я». Работяга, талант, дело свое знает. Голубев — «он». «Мастерок» (то есть мастер), новичок на трассе, ни с начальством, ни с подчиненными общего языка найти не может. Предполагаю, что это нужно Стефановичу для большей объективности или для ее видимости. Жимков, он же Жимок, изъясняющийся коряво, грубо, почти на «фене», и — слишком городской, слишком правильный и оттого слишком схематичный Голубев.

Однообразная жизнь строителей трассы — от зарплаты до зарплаты, от одной пьянки до другой (Стефанович в общем и целом пьянства не осуждает, не его манера — осуждать, он беду эту всего лишь показывает, показывает тупиковость такой попытки сломать монотонность существования) — к концу повести как бы отодвигается в сторону. Потерянным, заброшенным в мир снегов героям повести не свойственны рефлексия, самоанализ (кроме разве что Голубева, недодумывающего ни одну мысль до конца). Тем не менее поездка на вездеходе с умирающим из-за нелепой случайности приятелем Русским — это для Жимкова не только акт совершенно естественного милосердия, но и — по результату — способ понять суетность бытия на трассе. Большая, необходимая ЛЭП — не значит большая жизнь... Поездка выстраивает в один ряд и честных работяг, и подлецов. Сравнивает их между собой и в какой-то степени баллы им расставляет. Такое выстраивание есть (и всегда, и в данном конкретном случае) насилие над жизненным материалом. Правда факта, если автор шел от него, подрывает правду искусства.

С того момента, как Руссков обгорел, повесть перестает быть описанием производственной деятельности (и, стало быть, производственных отношений) на фоне снежных пейзажей и становится как бы магнитофонной лентой из «черного ящика» погибшего самолета. Ю. Стефанович старательно объективен. События фиксируются автором так, словно бы и происходили они лишь для того, чтобы быть зафиксированными. Словно бы из действительности кусок вырубили и, ничего в нем не изменив, назвали литературой. Натуральная школа!

В рассказе «Голос» (он, по-моему, лучший в книге) эта «отстраненность» наиболее органична. Немой Генка уже в силу своего безголосия — в стороне от всех плавает по реке в шлюпке, все видит, все слышит, но сказать не может. Он — как бы кинокамера, которая снимает все, что попадается ей на глаза, то есть в объектив. Снимает так, что это не нуждается в монтаже и не поддается монтажу. Все-таки это — большое искусство,— вот так, с одной точки, смотреть на мир и так много в нем видеть. Страсти черно-белого и серо-буро-малинового и еще какого угодно бытия переполняют Генку. Что он в этом мире, где так много трудного, пугающего, противостоящего отдельной личности? Что он, маленький, слабый немтырь, может противопоставить враждебной силе, хотя бы силе шпаны? Страх превращает Генку в ничто, и он же возвращает его к жизни, возвращая ему голос!

«Натуральный» подход к действительности — плюс и минус Юрия Стефановича. «Упрощать, и тогда обнажится сложное»,— сказано в «Листах для гербария», которыми отделяются друг от друга рассказы цикла «Натуральная школа». Мир, изображаемый этим писателем, мозаичен. Камешки — поступки отдельных людей, их движения, жесты, обстоятельные описания почти что

рядовых событий. По его рассказам можно повторять жизнь. Самый бездарный актер справится. Но всегда ли осмысления (имеется в виду смысл художественный) такая имитация? Увы, не всегда. «Последние дни бича Плецкого», дающие историю гибели (потом эта фамилия мелькнет в «Натуральной школе» — и мы убедимся: да, гибели) талантливого как будто человека из-за расхождений с самим собой. Писатель Плецкий идет в жизнь за материалом и — становится бичом. Не может вернуться к себе прежнему потому, что уже не понимает себя нынешнего. Жутковато, однако, допускаю, правдоподобно. Но что дальше? Ах, как красочно описал Ю. Стефанович, как Плецкий добывает женьшень! Это — гимн силе и добру. Может быть, цель бытия (именно бытия — бича Плецкого и бытия вообще) в том, чтобы найти золотой корень? Другой рассказ из этой книги — «Женьшень» (какой интересный в этом рассказе образ — Солянов, наивный, чистый, но, увы, чистота и наивность его — извините, до глуповатости) словно бы говорит: да, возможно, цель такова. Дело не в том, что в «Последних днях...» открытый финал, а в «Женьшене» — счастливый конец. Были когда-то лишние люди, а Плецкий — человек не то чтобы лишний или там потерянный — ненужный. Тут хотя бы та разница, что слово «лишний» традиционно применяется к Онегину или Печорину и означает: лишний для общества. Стефанович доводит в Плецком до завершения, до абсурда мотив потерянности. Герои «Снегов» заняты — при всем при том — общественно полезным делом. Есть надежда, что через него потерянный смысл существования будет обнаружен. Плецкий находит женьшень (цель бытия?) и — пропивает его... Какая-то исчерпанность человеческой самореализации. Именно «само», потому что рассказ не дает оснований для разговора об обществе, отторгнувшем эту личность. Эту аннулировавшую самое себя личность.

В общем и целом герои Юрия Стефановича очень похожи один на другого. Даже идеалисты на подлецов похожи. Слабостью своей похожи и тем, что живут одной жизнью. Что это — неотличимость добра от зла, их относительность? А может быть, добро не в том, в чем ищут его существующие на печальном мужском острове (это я про всегдашнюю отделенность мира героев этого писателя от остальной реальности — отделенность физическую или мысленно воображаемую)? Плецкий гибнет вскоре после того, как находит женьшень, Солянов же — начинает новую жизнь. Отношение Солянова к миру — в значительной степени ожидание каких-то событий, в которых он в будущем себя проявит. Ожидание чуда, которое и происходит. «Натуральная школа» заканчивается сказкой.

**Александр КАСЫМОВ**

*г. Уфа.*



Сдано в набор 05.05.89. Подписано к печати 29.05.89. А 07824. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Уч.-изд. л. 22,24.
Тираж 390 000 экз. Заказ № 606. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.